

Николай Иванович Греч

Черная женщина

Греч Николай Иванович
Черная женщина

Николай ГРЕЧ ЧЕРНАЯ ЖЕНЩИНА

Любовь и дружба! вот чем должно
Себя под солнцем утешать.
Искать блаженства нам не можно,
Но можно - менее страдать.
А кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, свято чтимым,
Тот в мире сем не даром жил,
Не даром землю бременил!

Карамзин

ГРЕЧ, Николай Иванович

(1787-1867)

Русский прозаик, ученый-филолог, переводчик, публицист, журналист, издатель.

Родился в СПб, являлся редактором журнала "Сын Отечества" (1812-39; с 1826 г. - совместно с Ф.Булгариным), газеты "Северная пчела" (1831-59 - совместно с Ф.Булгариным). После 1825 г. эволюционировал от либерализма к консерватизму.

Единственное произведение Греча, имеющее опосредованное отношение к НФ, роман "Черная женщина" (1834), в котором соединены нравственно-сатирический и авантюрный

планы, а в центре внимания автора - обсуждение "чудесного", загадок человеческой психики.

Из "Энциклопедии фантастики"
под ред. В.Гакова

Греч, Николай Иванович - журналист, филолог и педагог (1787-1867), сын обруселого немца, учился в педагогическом институте.

Дед его Johann-Ernst Gretsch (Иван Михайлович, 1709-60) при Бироне прибыл в Россию из Пруссии и определен учителем в сухопутный шляхетский корпус. Он, между прочим, составил "Политическую географию" (СПб., 1758). Отец Н.И., тоже Johann-Ernst (Иван Иванович, 1754-1803), дослужился до обер-секретаря Сената.

Выступил на литературное поприще в 1805г., сотрудничая в "Журнале для пользы и удовольствия" и "Журнале российской словесности". Служа в 1806-15 годах в цензурном комитете, Греч преподавал русский язык в училище при евангелической церкви святого Петра (1809-13) и во 2-й гимназии (1813-17). В 1807-09 годах Греч издавал вместе с Шредером

"Тений времен", в 1809-10 годах "Журнал новейших путешествий". С 1812г. стал издавать "Сын Отечества". А 1818г. был назначен в комиссию по составлению учебников для кантонистов, основал общество образования по методу взаимного обучения, выпустил в 1819г. соответствующее руководство (2-е изд., 1830). В том же году ввел ланкастерскую систему в петербургском воспитательном доме и учредил училище для солдат гвардейского корпуса. В 1819-22 годах издал в 4 частях "Учебную книгу российской словесности" (2-е изд., 1830, 3-е в 1844), в 1822г. - "Опыт краткой истории русской литературы". В 1825г. Греч присоединил "Сына Отечества" к "Северной Пчеле" Булгарина. Начав с этого времени принимать близкое участие в "Северной Пчеле", Греч с 1831г. стал редактировать ее совместно с Булгариным. В 1827г. Греч выпустил "Пространную русскую грамматику" (2-е изд., 1830) и "Практическую русскую грамматику" (2-е изд., 1837), в 1828г. - "Начальные правила русской грамматики", выдержавшие множество изданий и называемые с 10-го изд. - "Краткой русской грамматикой". В 1829-36 годах слу-

жил в министерстве внутренних дел, редактируя с 1829 по 1831г. "Журнал" этого министерства. В 1832г. вышли "Практические уроки русской грамматики", в 1834г. - "Черная женщина", роман. Редактировал в 1835-40 годах литературный отдел в "Энциклопедическом Лексиконе" Плюшара, с 1836г. перешел на службу в министерство финансов, получил командировку за границу. В 1836г. издал "Поездку в Германию", в 1837г. - "28 дней за границей", в 1838г. - "Сочинения" (2-е изд., 1855; 3-е изд. 1858), в 1838-44 годах - "Учебную всеобщую географию", в 1839г. - "Путевые письма из Англии, Германии и Франции", в 1840г. - "Чтения о русском языке", в 1843г. - перевод "Всемирной истории" Беккера, в 1843г. - "Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии". В этом году Греч покинул службу в министерстве финансов. Дальнейшие труды его были посвящены, главным образом, учебной литературе: "Русская Азбука" (1846), "Учебная русская грамматика" (1851-52), "Руководство к преподаванию по учебной русской грамматике" (1851), "Задачи учебной русской грамматики" (1852), "Русская граммати-

ка первого возраста" (1860-65). После смерти Греча были изданы его "Записки о моей жизни" (1886).

Не обладая ни литературным чутьем, ни способностью понимать выдвигаемые жизнью запросы, Греч, тем не менее, играл видную роль в русской журналистике второй четверти XIX в., являясь одним из членов знаменитого журнального "триумvirата", состоявшего из его "Сына Отечества", "Северной Пчелы" Булгарина и "Библиотеки для чтения" Сенковского и действовавшего очень отрицательно на общественное сознание и литературное развитие. С этой сплоченной журнальной коалицией боролась вся сколько-нибудь идейная печать того времени, особенно Пушкин и Белинский, положивший конец влиянию триумvirата на общество. Греч так же, как Булгарин и Сенковский, не пользовался симпатиями литературных кругов. Даже снисходительный вообще к людям Никитенко считал репутацию Греча "двусмысленной", замечая, что "дружба его с Булгариным не делает ему чести и не возбуждает к нему доверия". Но все-таки современники относились к

Гречу лучше, чем к его соратнику Булгарину, считали его в нравственном отношении выше, отделяли одного от другого. В то время, как с Булгариным многие прервали всякие сношения, знакомство с Гречем поддерживали, он был принят в тех тогдашних литературных кружках, в которые Булгарину был закрыт доступ. Даже наиболее энергичный и непримиримый противник триумvirата, Пушкин, не питал к Гречу как человеку той ненависти, как к Булгарину и Сенковскому. Греч был гораздо образованнее Булгарина, гораздо более серьезным литературным работником, чем он, и, как писатель, не может быть поставлен рядом с ним, но в нравственном отношении если и был выше Булгарина, то очень не на много. Но Греч был более осторожен, уравновешен и уживчив, чем Булгарин, избегал резких открытых выступлений и, сводя личные счёты с литераторами, прятался за спину Булгарина. Его связывала с Булгариным не личная дружба и расположение, а исключительно материальные соображения, он ненавидел Булгарина и публично поносил его. В конце жизни Булгарина Греч

разошелся с ним на денежной почве и после смерти в "Записках" не пожалел темных красок для обрисовки своего соратника. Но все это не мешало Гречу много лет идти рука об руку с Булгариным, принимать участие в его травле ненавистных ему лиц, как, например, Пушкина, в его многочисленных неблагоприятных поступках, бесстыдно рекламировать и расхваливать в печати Булгарина, пользоваться всевозможными услугами этого человека с самой отвратительной репутацией доносчика и предателя.

Многочисленные труды Греча по русской грамматике и языку вызывали постоянные нападки и насмешки Белинского, который, по отзыву С.К. Булича, был вполне компетентным судьей в данной области. Но если во многом Белинский был прав, труды Греча все-таки должны быть признаны известным вкладом в бедную тогда учебную литературу. В научном отношении работы Греча по русской грамматике и языку ценности не представляли; к ним отрицательно относился Я.К. Грот. Из работ Греча историко-литературного характера нужно отметить "Опыт краткой ис-

тории русской литературы". Хотя это простое собрание биографий, а не история литературы, тем не менее, книга для своего времени была не лишена значения как первая попытка в данной области.

Дополнительную информацию можно посмотреть в книгах: Кс. Полевой. "Юбилей 50-летней литературной деятельности Греча" ("Библиотека для чтения", 1855, кн. II и отд., СПб., 1855); "Голос" (1867, № 14 и 17); "Журнал Министерства Народного Просвещения" (1867, ч. 133); литература о Грече указана в "Источниках словаря русских писателей" С. Венгерова (т. II, СПб., 1910).

А.Г. Фомин

Из сайта "Библиография русских писателей"

Василью Аполлоновичу Ушакову

Наконец могу заплатить вам долг свой! За два тома, приписанные мне вашею дружескою благосклонностью, подношу вам четыре. Примите количеством по неимению качества; удовольствуйтесь рассказами о делах обыкновенного, прозаического быта - за свежую, оригинальную, поэтическую повесть

сына степей киргиз-кайсацких; за произведение привольного московского досуга возьмите книгу, составленную посреди непрерывных развлечений, забот, хлопот самых мелких, ничтожных, убийственных для чувства и воображения! Не знаю, понравится ли вам моя Черная Женщина; не знаю, как примет ее публика; знаю только, что я употребил все старание, все зависевшие от меня средства, чтоб этот роман был сколько-нибудь достоин внимания любителей русского чтения. Неудачу в целом припишу отсутствию во мне авторского таланта, недостатки и промахи в частности - неотвратимым моим обстоятельствам. Журналисту труднее, нежели всякому другому, заниматься сочинением книг: от ценителя чужих трудов читатели требуют гораздо более, нежели от иного, и все хотят быть судьями того, кто принял на себя звание судьи всех других.

Все кажется в других ошибкой нам,

А примешься за дело сам,

Так напроказишь вдвое хуже.

Теперь несколько слов о содержании или собственной повести романа. Но если вы не

хотите разочаровываться до времени, советую вам пробежать это объяснение уже по прочтении отградного для писателя и читателей слова - конец!

Лет за двадцать пред сим слышал я в одном приятельском кругу невымышленный рассказ о жизни человека, который в младенчестве своем был испуган одним страшным явлением во время московской чумы. Это явление сделалось ему неразлучным спутником, предвещало ему счастье и беду, радость и печаль, успех в деле - и неудачу и исчезло только с того времени, как повторилось пред глазами мечтателя в действительности. Главное содержание моего романа основано на этом предании.

Рассказы о видениях, предчувствиях, предвещаниях, помещенные в этом романе эпизодами, равномерно не вымышлены мною. Они основаны, большею частью, на изустных преданиях. Известие об огненном змее, пролетевшем чрез Петербург в сентябре 1796 года, найдете в книге П.И. Сумарокова о жизни Екатерины Великой. О странном видении шествия из Адмиралтейства в Зимний Дворец расска-

зывает одному моему приятелю очевидец этого случая, корреспондент Академии Наук господин Шретер, астроном и метеоролог, умерший в 1810 году в глубокой старости. Рассказ о видении Карла XI заимствован из шведского акта, сообщенного мне П.Г. Бутковым. Анекдот о Густаве III слышал я от И.И. Козлова, которому он был сообщен графом Армфельдтом. Вещий сон артиллериста приснился действительно и сбылся в 1821 году, на походе гвардии чрез Витебскую губернию. Предсказание Казотта напечатано в его сочинениях. Мне казалось, что эти и подобные рассказы не могут быть неуместными в романе, где главную роль играют вымыслы и причуды воображения.

Николай Греч

С.-Петербург, 25-го мая 1834

Книга первая

С.-Петербург, 1796

I

В первых числах сентября два молодые человека во фраках, но, как заметно было по всем их приемам, военные, сидели на скамье в большой аллее Летнего сада. Немногие го-

родские жители пользовались ясностью приятного осеннего дня. Один из молодых людей всматривался в прохожих, перемигивался с приятелями, кланялся знакомым; другой сидел тихо, смотрел в землю и чертил что-то тросточкою на песке.

- Что ты опять задумался, князь? - спросил первый у своего товарища. Князь не отвечал и, по-видимому, не слышал вопроса. - Полно размышлять! - повторил первый громче. - Опять ты в своих воздушных чертогах! Очнись. Вспомни хоть о товарище, которого ты оставил на земле.

Князь взглянул на него, как будто припоминая, где он и что с ним делается, и после минутного молчания сказал:

- Виноват, друг мой! Я не знаю... Что бишь такое?

- Ничего! - отвечал друг. - Только пора обедать. Ведь у сестрицы твоей ждать не будут, а если застанем ее за столом, то придется выслушать длинную рацею твоей мачехи о разврате рода человеческого, обедающего ныне после полудня.

- Ты прав! - сказал князь, вставая. - Поедем.

Молодые люди, взяв друг друга под руки, вышли из сада и сели в карету.

- К сестрице! - сказал князь.

- К Алевтине Михайловне! - закричал лакей, вскочил на запятки, и карета помчалась к Таврическому саду.

Князь в карете молчал по-прежнему. Приятелю это вскоре наскучило.

- Если б я не знал тебя с младенчества, если б не бил свидетелем твоей задумчивости в корпусе, то подумал бы, что ты влюблен, милый князь! Брось, сделай дружбу, этот обычай. Ты часто приводишь в смущение всех друзей и знакомых. Посреди шумного общества, в кругу веселых товарищей ты вдруг умолкнешь, задумаешься, не видишь, не слышишь ничего. В корпусе думали мы, что ты размышляешь о дифференциалах и интегралах. Но вот я воротился после пятилетней разлуки и опять нахожу тебя букою и философом, как прозвали тебя в детстве товарищи.

- Что делать, Хвалынский, - отвечал князь, - никто не волен в своем нраве, когда нрав этот получил направление с первых дней его жизни. Ты знаешь, что младенчество

мое протекло среди ужасных происшествий, что я в детстве был очевидцем таких явлений, каких иной во всю жизнь не встретит, потом осиротел, остался одинок и изныл бы душою, если б не сохранила меня дружба. Она вспыхнула в наших сердцах в одну секунду, когда нас привезли в корпус, к генералу Пурпуру, тебя - изо Пскова, меня - из Симбирска. Помнишь ли? Мы оба вдруг очутились на чужбине, среди людей неизвестных, и, когда удалились наши проводники, мы бросились друг к другу в объятия и залились горькими слезами.

- Помню, помню! - сказал Хвалынский с чувством. - Как усладительны эти воспоминания! Течением времени они во мне отчасти изгладились, но ты, вижу, памятьливее меня. Когда ты говоришь о времени нашего детства, прошедшее воскресает в душе моей, и мне кажется, что я, как прежде, хожу с тобою по корпусному саду в кофейном камзольчике, потом в голубом, а наконец и в мундире. Продолжай, продолжай, любезный князь!

- И мне эти воспоминания несказанно приятны. Ты один привязывал меня к жизни. Ка-

залось бы, что пылкий, ветреный, шумливый Хвалынский не может быть другом угрюмому, молчаливому, подчас и несносному Кемскому, но не так было на деле: ты был резов, но чувствителен, смел и неугомонен с другими товарищами со мною уступчив, тих и нежен. Кровати наши стояли рядом. Помнишь ли, как я однажды в испуге от сновидения вскочил с постели и, конечно, больно бы ушибся, если б ты не схватил и не удержал меня?

- Помню! Помню! Ты был бледен, дрожал и, глядя ужасными глазами в угол комнаты, кричал: вот она! Вот черная женщина! Страшно, как вспомню!

- И мне страшно: в эту самую ночь скончался батюшка.

- Что ты? Вот этого я не помню! Странно! И в эту ночь тебе так причудилось? Поди же, толкуй с философами! А право, я думаю, в человеке есть что-то такое, чего не разгадали мудрецы, да вряд ли и впредь разгадают.

- Точно, - сказал князь Кемский, сжав руку своего друга, - есть, наверное есть; только не все это видят, не все этому верят.

- А ты веришь? - спросил Хвалынский с любопытством.

- Уверен! - отвечал князь. - Причин не знаю, самых явлений растолковать не умею, но они существуют. Мысль ли это, облеченная воображением в видимые формы, затаившееся ли в душе воспоминание бывшего случая, которое в памяти рассудка исчезло, только есть видения, представляющиеся не внешнему, а внутреннему нашему зрению в виде существ действительных. Есть! Есть!

- И ты говоришь об этом так утвердительно? - сказал Хвалынский в недоумении. - Я почитаю это одною догадкою.

- Догадкою! - отвечал князь, улыбнувшись. - Догадкою! Когда я говорю тебе, что такие видения бывают, что мне представляются они часто, и не без причины!

- Да отчего же именно тебе, и тебе одному? Я, например, никогда не видал ничего подобного; разве, бывало, иногда на походе, в Польше, после хорошего обеда, причудится какая-нибудь глупость.

- Понимаю, - сказал князь, - эти призраки дымок виноградного жару. Я говорю о другом:

случаются видения наяву, когда человек обладает всем рассудком и всеми чувствами. И эти явления имеют связь с его душевными движениями, прошедшими, настоящими и будущими. Ты говоришь: отчего не всем видятся эти призраки? А я спрошу: отчего не всем нравятся, не всем понятны музыка, живопись и другие выражения наших внутренних ощущений? Образование, обучение для этого не нужны: надобно особенное устройство души и ее органов. Одного учат музыке весь век, а он ничего в ней не слышит и не чувствует, в другом при первом звуке мелодии, родной с его душою, возникают ощущения, дотоле неведомые. Так и с голосом духовного мира: он внятен только тому, кто одарен способностью его слышать.

Князь умолк и задумался по-прежнему. Лицо его пылало; глаза сверкали. Хвалынский смотрел на него с изумлением: он никогда не видал своего друга в таком исступленном положении, хотел просить подробнейшего объяснения, но в это время карета остановилась у подъезда, отворились дверцы, и оба друга вышли.

II

Мы знаем, что молодые друзья приехали к сестре одного из них.

Алевтина Михайловна, не родная сестра князя Кемского, была дочь храброго генерала Астионова, убитого в первую турецкую войну. Матушка ее, Прасковья Андреевна, сочеталась вторым браком с вдовцом, князем Кемским, у которого был один сын, герой нашей повести, и вскоре, как говорится, схоронила и второго мужа. Дочь ее Алевтина воспитывалась у ней в доме; пасынок, князь Алексей Кемский, - в кадетском корпусе. Он был моложе сведенной сестры двумя годами, и, когда он едва выходил из отрочества, Алевтина блистала уже на всех балах и праздниках. Генерал Астионов прожил почти все свое имение на службе, но князь Кемский оставил четыре тысячи душ, назначив попечительницею своему сыну его мачеху и объявив падчерицу свою наследницею имения и фамилии князей Кемских, если б сын его умер бездетным. Почему князь нежно любил вторую жену свою? Нельзя сказать; разве если примем правило: кого боишься, того и любишь. Она

умела овладеть умом и волею слабого старика и заставила его написать завещание в пользу дочери, уверив, что из любви к нему отказала в руке своей миллионщику, который хотел, женись на ней, записать все имение Алевтине. Между тем, молодые лета, цветущее здоровье и крепкое сложение Алексея Кемского тревожили мачеху.

- Бедное дитя! - говорила она, вздыхая. - Все мир да мир; выйдет в службу, а отличиться нет случая. Я обещала покойнику, князь Федору, непременно заставить сына пойти в военную службу, а теперь не знаю, в прок ли это ему будет. Ну, что за военная служба в мирное время? Бедный мальчик! А он так и рвется, как бы положить живот за государыню и отечество. Подойдет к портрету моего покойника, Михаила Федосеича, да по часам глаз не сводит с георгиевского креста - такая военная натура!

Княгиня Прасковья Андреевна, которой в то время было уже за шестьдесят лет, могла служить живым примером тому, что для проложения себе тропинки в мире не нужно иметь ни блистательного ума, ни отличного

воспитания и что эти качества очень хорошо могут быть заменены постоянством в преследовании своей цели, сметливостью, хитростью и лицемерием. Она воспитана была по старине, грамоте знала плохо, ничего в жизни не читала, по-французски говорила только: бон-жур и бон-суар, ан-шанте и дезеспуар, а между тем умела найти себе двух хороших мужей, воспользоваться в свете блистательным именем одного, княжеством и богатством другого. Видя очень хорошо, чего недостает ей самой, она старалась заменить эти недостатки воспитанием своей любезной Алевтины, единственной наследницы ее умственных и нравственных качеств. Алевтина получила образование светское: говорила по-французски и по-италиански, как уроженка Орлеана или Флоренции, танцевала как четвертая грация, играла на фортепиано и на арфе, пела как соловей, рисовала без помощи и поправок учителя. Природа украсила ее всеми своими дарами. Дочь маленькой, сухой, горбатой Прасковьи Андреевны была высока ростом, статна, грациозна, можно сказать, величественна. Большие черные глаза беспре-

кословно повиновались ее расчетам и, как храбрые воины, в нападении на врага исполняли долг свои. Руки нежные, но не малые; ножки - их никто не видал: Алевтина не любила короткого платья, и хотя во время ее служения в светском легионе мода ровно семнадцать раз выставляла любопытным взглядам ножки милых жриц своих, но Алевтина в этом пункте была непреклонна. Во все продолжение моды, которую называла неприличною, она приметно тосковала и даже спадала с лица, но лишь только, бывало, заметит в модном журнале, что платья начали опускаться, вдруг развеселится и похорошеет. Лицо у ней было правильное, овальное: рот не ротик, но зато зубы белые, ровные, блестящие. Неприятнее всего у ней был голос, звонкий, грубый, повелительный. Ум и нрав, как уже сказано, заимствовала она у своей родительницы, но образовала их по требованиям века и новых обстоятельств. Столь же постоянная, хитрая и пронырливая в достижении того, что она почитала целью жизни, Алевтина отринула кроткое лицемерие своей матери: начитавшись романов и рассуждений о

добродетели и пороке, она составила свою собственную систему нравственности, облекла ее в громкие фразы и всенародно проповедовала. Добродетель, вечность, ничтожество благ земных, святость дружбы и родства, великодушие, забвение самой себя - были у ней беспрерывно на языке. И - странное дело! - люди, ее окружавшие, даже те, которые имели с нею отношения независимые, не близкие, были как будто заколдованы этим тоном, повелительным и не допускающим противоречий; знали, что на сердце у ней совсем не то, что на языке; видели ее поступки, нисколько не сходные с словами - и молчали, покорялись ей, изредка только позволяя себе заметить кое-что об этом страшилище добродетели. Под руководством хитрой матери, пользуясь и действуя своими дарами, природными и приобретенными, Алевтина, холодная и бессердная, не могла не сделать хорошей партией. К тому же должно прибавить, что княгиня управляла в звании опекуны всем имением своего пасынка и пользовалась его доходами, как собственными, называла его деревни и дома своими и провозглашала дочь

свою наследницею четырех тысяч душ. Эти прелести, эти добродетели, эти души пленили сердца многих. Алевтина могла выбрать любого. Она долго колебалась, рассчитывала и наконец подала руку пятидесятидвухлетнему генерал-поручику Элимову. Все изумились: девятнадцатилетняя, блистательная, светская девица выходит замуж за старика! Но она знала, что делает. Муж чиновный, в александровской ленте, кандидат в генерал-губернаторы, представлял великолепную перспективу ее властолюбию. Элимов же, с своей стороны, рассчитывал, что ей достанется великолепное имение, которым пользуется ее мать. Красота, ум, таланты Алевтины не умножали ее достоинств в глазах жениха; нрав крутой, повелительный их не уменьшал. Элимов был выведен в люди слепым случаем, прожил небольшое свое имение и решил поправить состояние браком. Оба ошиблись в своих расчетах: Алевтина, вскоре по вступлении в замужество, увидела, что муж ее человек ничтожный и по уму и в свете. Его принимали в домах, приглашали на обеды и вечера, но он везде играл роль самую

посредственную, и не было никакой надежды, чтоб он когда-либо мог возвыситься службою. Это открытие привело было молодую жену в отчаяние, но она утешилась мыслию, что нет такой вещи в свете, которой нельзя было бы поправить терпением, постоянством и умом, и решилась пользоваться настоящим. Элимов, с своей стороны, узнал, также после свадьбы, что только малая часть имения князя Кемского достается жене его и что истинный наследник жив и воспитывается в корпусе. Не трудно понять, что последовало за этими открытиями: объяснения, ссоры, упреки, остуда. Высокопарные фразы Алевтины, возгласы о добродетели и бескорыстии не действовали на жесткую душу Элимова: он насмеялся над ее нравоучением и красноречием, ездил в английский клуб, играл до глубокой ночи в вист - и проигрывал, сколько было возможно. Одно должно сказать в похвалу ему: узнав, что у Алевтины есть брат, сирота, он поспешил навестить его в корпусе и, нисколько не помышляя о том, что этот молодой человек препятствует ему поправить свое состояние, приласкал его, впоследствии полюбил

искренно и всегда защищал бесприютного сироту от явных и скрытных нападений своей жены и тещи. Элимов был человек необразованный и не слишком нежный, но в военной службе напитался праводушием и доброжелательством к ближнему: он женился по расчету, но никогда, по расчету, не обидел бы своего шурина. Шесть лет протекло в этом браке. Элимов получил приказание ехать к армии, стоявшей тогда в Польше. Он охотно поскакал под пули, чтоб отдохнуть от непрерывной домашней перепалки, и чрез месяц пришло известие, что он убит в сражении. Алевтина увидела себя вдовою на двадцать шестом году, с тремя детьми. Все церемонии, обычные при таких случаях, исполнены были во всей точности: при получении письма, в котором адъютант покойного, капитан фон Драк, с достодолжным чинопочтанием извещал ее превосходительство о постигшей ее и отечество потере, она упала в обморок; очнулась, при помощи домашнего доктора, чрез четверть часа; велела пустить себе кровь и слегла в постелью. Чрез три дня, когда поспел глубокий траур, вышла она из спальни и на-

чала велеречиво толковать о бренности жизни человеческой, о бессмертии души, о награде на том свете, об отечестве, о сладости умереть на поле брани и так далее. Печаль ее прошла скорее траурного года. Она очутилась вновь на свободе еще молодою и красавицею. Многие из прежних вздыхателей бросились искать руки ее. Она слушала их рассказы о сердечных страданиях, глядела на небо и утирала слезу.

- Кто возьмет за себя бедную вдову с тремя сиротами? Не те нынче времена! - говорила она.

III

В то время, с которого мы начали рассказ, исполнился год по кончине генерала Элимова.

Когда князь Кемский вышел из кареты, очутилось у подъезда несколько человек слуг. Все они с искренним усердием, без низкого раболепства, приветствовали своего доброго барина: они видели в нем истинного наследника господ своих; чувствовали, что, поступив под его законную власть, отдохнут от попечительства добродетельных барынь. Князь

Алексей, поздоровавшись с добрыми людьми, порасспросив кое о чем стариков, взошел на лестницу. Хвалынский, поискав лорнетом, нет ли в этой толпе представительниц прекрасного пола, последовал за своим другом.

Молодые люди вошли в гостиную. На софе, перед круглым столиком, сидела княгиня Прасковья Андреевна, маленькая, сухощавая старушка в простом белом платье, в старушечьем чепчике с крыльями, и взяла сетку на палочке. Подле нее, на вышитых подушках, лежали две гнусные моськи. Над софою висели два портрета: Михаила Федоровича Астионова, в армейском мундире, и супруги его, в высокой прическе семидесятых годов: на портрете она сохранила свою умильную улыбку; в руке у ней был пестрый тюльпан. Вокруг портретов висело около двадцати фамильных силуэтов. Комната убрана была в старинном вкусе: в бортах стенной живописи извивались арабески, в которых гнездились небывалые в природе птицы. Посреди комнаты висела большая люстра с гранеными стеклышками. Мебели простого дерева, выкрашенные белою краскою с синими каемками,

на спинках стульев нарисованы цветы. Окна украшены белыми миткалевыми занавесками. Под зеркалами, в золотых рамах, стояли белые мраморные столики на деревянных вызолоченных ножках, на столиках фарфоровые вазы с душистыми травами. На уступе изразчатого камина представлялась в лицах эклога Александра Сумарокова: фарфоровый пастушок млея у ног фарфоровой пастушки. На аркадскую сцену смотрели сбоку два китайские урода.

У одного окна сидела, в креслах, Алевтина Михайловна в модном утреннем negligé и, думая о чем-то крепкую думу, играла в рулетку. Перед нею стоял, в покорном молчании, капитан Иван Егорович фон Драк, в мундире, при шпаге, держа пальцы по квартирам, смотрел ей в глаза и готовился сказать: "Да, да! Точно так, ваше превосходительство!"

Как очутился здесь адъютант? Предав земле тело своего генерала и не чувствуя в себе охоты последовать его примеру, он выпросился в Петербург, под предлогом необходимости его присутствия для сдачи дел генерала по начальству. Главнокомандующий не поколебал-

ся уволить его и, когда фон Драк пришел к нему, чтоб поблагодарить за отпуск и откланяться, сказал вслух при многих офицерах: "С богом, батюшка, с богом! Помилуй бог, сколько было дел у покойника! Вам не справиться до окончания кампании. Оставайтесь же в Петербурге сколько угодно: мы и без вас как-нибудь сладим". Все присутствующие засмеялись. Фон Драк низко поклонился, вышел из палатки и на вопрос одного товарища, как его принял генерал, отвечал с восторгом: "Как сына родного! Этакой милости я не ожидал. Шел было к нему, как на батарею, ан нет: обласкал и осчастливил! Истинно великий человек!" И вот он приехал в Петербург и поступил в прежнюю должность, не догадываясь, какие великие судьбы его ожидали.

- Ах, милый друг Алеша, - вскрикнула княгиня, приподнимаясь с канапе. Князь Алексей подошел к ней и с учтивостью и ласковым взглядом поцеловал ей руку.

- Каковы вы в своем здоровье, маменька?

Между тем Хвалынский, готовясь в свою очередь подойти к руке, исподтишка модным остроносым сапогом толкнул спавшую мось-

ку. Она завизжала, а другая залаяла.

- Тише, проклятые! - закричала княгиня, замахнувшись на них табакеркою. Слава богу, душенька! Вчера дурнота прошла от капель Христиана Карловича; я сегодня у Всех Скорбящих всю раннюю обедню отстояла, так теперь что-то устала. Да это пройдет. А ты, голубчик, здоров ли, ангел мой?

Князь Алексей поклонился и повернулся к сестре. Хвалынский, в свою очередь, поздоровался с княгинею. Зоркая старуха, заметив, что он был виною страданий и вопля бедных мосек, отвечала ему на вопросы с явною досадою.

- Bon jour, mon frere! - сказала, встав с своего места, Алевтина, как будто пробужденная из какого-то глубокого размышления. Князь поцеловал ее.

- Qu'avez vous, ma chere? - спросил он. - Vous etes pensive?

- Ce n'est rien, mon cher! - отвечала она, стараясь скрыть волнение душевное.

- Послушай, душа моя, Алешенька, - начала княгиня, - я скажу тебе новость! - Алевтина покраснела, топнула ногою и взглянула на

мать свою грозным оком. Княгиня отвечала дочери взглядом же, чтоб она не боялась, и продолжала начатое: - Княгиня Пелагея Васильевна женит сынка на купеческой дочке и берет полтора миллиона чистогану. Вот умная женщина! Покойник-от князь все спустил в карты, а она, матушка, видишь, как поправляется.

- Знаю, ваше сиятельство! - возразил, смеючись, Хвалынский. - Я собираюсь поднести новой княгине самого лучшего парижского порошку, чтоб вычистить зубы. Румян и белил у ней довольно.

Княгиня с возрастающею злобою глядела на Хвалынского и искала в уме ответа. В это время фон Драк, не замечая, что поднимается буря, подошел к князю Алексею, и сказал с низким поклоном:

- Все ли вы в добром здоровье, ваше сиятельство, князь Алексей Федорович?

- Здоров, а вы, Иван Егорович? - спросил князь приветливо.

- Да-с, не могу не быть здоровым! - отвечал он, раболепно посматривая на Алевтину. - Ее превосходительство... (Алевтина взглянула на

него значительно и гневно.) Да, да, да! - про-
бормотал дробью фон Драк, смешавшись.

Молодые люди замечали, что в доме про-
исходит нечто необыкновенное, что все в ка-
ком-то смущении: видно, скрывают и, кажет-
ся, хотят открыть. Не знаем, что последовало
бы за этим, если б не вошел в комнату ни-
зенький, толстый дворецкий в сером фраке с
объявлением: "Кушанье поставлено!". Княги-
ня поднялась. Алексей подал руку мачехе и
повел ее. Хвалынский хотел повести Алевти-
ну, но она, представясь, будто не замечает его
движения, подала руку Ивану Егоровичу, ко-
торый до принятия этой чести низко покло-
нился. Молодой ветреник вскоре утешился: в
столовой подошел он к миловидной гувер-
нантке, которая привела к обеду детей, и за-
был обеих барынь.

За столом господствовало молчание. Хва-
лынскому казалось, что обе хозяйки задумы-
ваются и размышляют о чем-то важном.
Князь Алексей был молчалив и задумчив по
обыкновенно. Фон Драк, занимая всегдашнее
свое адъютантское место, насупротив коман-
дира, разливал суп, но не с обыкновенными

своими форменными приемами: он был также в каком-то смущении. Это безмолвие наскучило Хвалынскому, и он начал экзаменовать заслуженного адъютанта.

- Что, почтеннейший Иван Егорович, сколько сегодня градусов тепла?

- Тринадцать с половиною в тени, - отвечал фон Драк.

- А барометр каков?

- Поднялся на три линии со вчерашнего вечера.

- Какой сегодня ветер?

- Юго-восточный тихий.

- Что вода в Неве?

- Убыла против вчерашней на полтора дюйма.

- Исправно! - сказал Хвалынский и, заметив, что этот разговор досаден Алевтине, прибавил: - Удивительно! Как лексикон! Такой адъютант, чудо! Скажите, почтеннейший Иван Егорович, сколько вы клали померанца на бутылку в этот бишоф - прекрасный!

Алевтина вышла из терпения:

- Иван Егорович, - отвечала она в сердцах, - этим не занимается. Он истинный мне друг и

руководитель детей моих. Не его вина, что скромные добродетели не находят ценителей в нынешнем мишурном свете. Дети мои...

- Ах, точно, Алевтина Михайловна! Я знаю, как достойный капитан печется о ваших детях. Скажите, почтеннейший Иван Егорович, как спала эту ночь Катенька? Она зубы делает, так, я думаю, вам отдыху не дала!

- А почему же так? Да... с? - спросил фон Драк в замешательстве. - Не могу-с этого знать, да...с.

- Так вы уж перестали ее укачивать?

Алевтина вспыхнула:

- Помилуйте, Александр Петрович, с чего вы взяли, что Иван Егорович укачивает моих детей?

Хвалынский смеялся, не отвечая ни слова.

- Это-с оттого-с, ваше превосходительство, - сказал фон Драк, - они-с, то есть Александр Петрович-с... однажды-с видели-с, как я укладывал спать Платона Сергеевича, так они-с и заключили-с, будто-с...

- Истинный друг мой, благодетель моих сирот! - сказала Алевтина торжественным голосом. - Пусть порочный свет судит о тебе по

своим превратным понятиям. Я тебя понимаю! - С этими словами протянула она чрез стол руку свою к фон Драку, который схватил ее и с почтительным жаром поцеловал. Князь Алексей смотрел на сестру с изумлением.

- Это что? - спросил Хвалынский в недоумении.

- А это то, - отвечала ему с злобою Алевтина, - что вы своими неуместными шутками заставляете меня при вас, при чужом человеке, открыть тайну, которую я хотела объявить в тесном кругу своего семейства. Знайте же, сударь...

Князь, видя возрастающий гнев сестры своей, прервал ее с кротостью:

- Полно, сестрица! Не сердись на моего Александра. Он любит посмеяться, но, право, никого обижать не станет. И вы, Иван Егорович, конечно понимаете дружеские шутки?

- Как не понимать, ваше сиятельство, да-с, точно-с, они шутить изволят-с.

- А я этого не терплю! - сказала Алевтина, вставая из-за стола. - На все есть время и место! - Она перекрестилась, обратясь к образам, поспешно подала руку адъютанту и пошла в

гостиную впереди всех. Прочие последовали за нею в безмолвии. Князь, посматривая на Хвалынского, качал с упреком головою, Хвалынский отнекивался взглядами, с трудом удерживаясь от смеху, а княгиня шла с па-сынком, бормоча что-то сквозь зубы. В гостин-ной все по заведенному этикету подошли к ручке, сначала к княгине, потом к Алевтине Михайловне. После этого уселись на софе и на близстоящих креслах. Фон Драк также занял место по нетерпеливому приглашению Алев-тины. Минут десять продолжалось прежнее молчание. Наконец Алевтина откашлялась громко, по своему обыкновению потерла ру-ки, как будто умываясь, и начала следующую речь:

- Любезный братец! Я хотела было наедине сообщить тебе о предмете весьма для меня важном, но теперь решилась говорить при всех (взглянув значительно на Хвалынского). Подкрепляемая правилами религии и добро-детели, я не боюсь толков, но, уважая в себе достоинство женщины и матери, должна ста-раться избегать их. Итак, объявляю тебе, что я решилась вступить в брак. (При этих словах

фон Драк встал и почтительно поклонился всей компании.) Пусть свет судит по наружному блеску и минутной славе: я насладилась всеми его благами и не нашла в них удовлетворения истинным моим чувствам и мыслям. Есть достоинства, которыми затмеваются все фальшивые блески развратного и недостойного света. Есть люди, которые под скромною наружностью скрывают необыкновенные достоинства и одними добродетелями своими заставляют молчать злобу, клевету и зависть. Есть наслаждения душевные, которые превыше всех тщетных удовольствий в вихре светской жизни. Я нашла себе друга, нашла отца моим детям и решилась соединить с ним навеки судьбу свою. Вот мой жених!

Она произнесла последние слова с напряжением всех сил своих, указала на фон Драка, залилась слезами и закрыла глаза платком.

Все остолбенели. Князь не знал, что делать. Хвалынский тоже. Фон Драк глядел на всех с вопросительною миною. Старушка княгиня нюхала табак и смотрела на моську.

Князь прервал утомительное молчание:

- Не могу не одобрить вашего выбора, сестрица, - сказал он в величайшем замешательстве. - Я сам всегда уважал Ивана Егоровича за его честность, исправность по службе, уважение к старшим, за его... - Князь остановился, не зная, чем кончить. - Но маменька, - сказал он, - как маменька думает? Скажите, маменька, что вы думаете?

- Никто как бог! - отвечала княгиня со вздохом и умильным взглядом в передний угол комнаты.

- А сам Иван Егорович? - спросил князь, более и более смущавшийся.

- Он! - вскричала Алевтина. - Он, эта добродетельная душа, он открыл мне свои чувства, он уже давно... - При этих словах фон Драк бросился пред нею на колени и, подняв руки, вскричал: "Владычица души моей!"

Алевтина, видно боясь дальнейшего объяснения, сильно притиснула его ртом к корсету, то есть прижала к сердцу нежной невесты, но Хвалынский довершил начатое и прошептал на ухо изумленному князю:

- Познай, колико я тобою страстен!
Познай, колико я несчастен,

Став пленник красоты твоей!

Засим пошли, как водится, поздравления, лобзания, слезы. Хвалынский восхищался комической сценою, но князь был очень огорчен странным поступком Алевтины: не знал, чему приписать мгновенное воспаление пламенной страсти в умной женщине к деревянному капитану, и поспешил с другом своим выбраться из дому. Карета еще не приезжала, и они пошли пешком.

IV

Дорогою Хвалынский дал полную волю смеху, который так долго удерживал в границах.

- Ай да жених! Ай да супруг! И гордая генерал-поручица, покоренная любовною страстью, выходит замуж за капитана! Превосходительство и благородие! О любовь! Любовь! Какие штуки ты творишь на свете!

- Тебе смешно, - сказал князь, - а мне так очень больно! Алевтина, умная, расчетливая, гордая Алевтина, выбрала этого болвана! И так скоро, так неожиданно! Непонятно и крайне обидно!

- А тебе что до этого за дело? - спросил Хва-

лынский. - Ведь она тебе почти совершенно чужая. Твой отец женился на ее матери - что это за родство?

- Конечно, не близкое, - сказал князь, - но у меня другой родни нет. К тому же я свято чту волю покойника батюшки: он назначил Алевтину и детей ее наследниками моего имения, если б я не имел своих. Это утверждено законным порядком. Но я и без его завещания поступил бы не иначе. Покойника ее мужа уважал я искренно. Сергей Борисович был человек простой, необразованный, можно сказать, дикий, но имел доброе сердце, был честен и любил меня, как родного. Я обязан воздать тем же его детям. И поверишь ли, иногда закрадывается в душу мою странная мысль, что я отнюдь не должен жениться - для исполнения воли моего отца?

- Вот это вздор! - сказал Хвальинский. - Покойный Элимов никогда не решился бы на такую жертву для чужих детей.

- А почему знать? Тебе известен поступок его с сыном бывшего его начальника, Ветлина. Узнав о смерти благодетеля своей юности, убитого под Измаилом, он поспешил к его

вдове и нашел ее на столе: она умерла в родах. Добрый Элимов взял новорожденного сына, привез к себе в дом и объявил жене, что намерен воспитать сироту наравне с своими детьми. Жена и теща напали на него, называя мотом, врагом своего племени и так далее. Но он устоял, как храбрый воин. Ребенка окрестили. Сам Элимов был его восприемником. По совершении обряда, поцеловав крест, Элимов сказал мне строгим голосом: "Знаешь ли ты, князь Алексей, что значит это крестное целование? Я присягнул пред богом и людьми быть отцом, наставником и защитником этого несчастного младенца. Но мне не долго остается жить на свете. Вряд ли я дождусь того, чтоб мой крестник вырос. Меня не станет, так ты заплатишь за меня долг моему доброму командиру и благодетелю". При этих словах на грубом, диком лице Элимова проглянуло какое-то необыкновенное чувство; слеза выкатилась из-под густых бровей по израненной щеке. Тогда в первый и в последний раз я видел его плачущего. И я оставлю детей человека, который так благородно пекся о чужих детях? Нет! Я не даю монаше-

ского обета, не отказываюсь вовсе от возможности жениться, но дети Элимова всегда будут близки моему сердцу. Правда, что сестрица Алевтина...

- Сделай милость, перестань называть эту несносную женщину своею сестрою, а хитрую лицемерку, княгиню, матерью. Меня это всякий раз как ножом в сердце ударит! - вскричал Хвалынский. - Пусть будут дети твоими питомцами - это так. Впрочем, и они не пропадут: старший, Григорий, крестник покойного князя Потемкина; младший, Платон...

- Полно, полно, Хвалынский, судить о детях! Никто не знает, что из них будет.

- Конечно, - сказал Хвалынский насмешливым тоном, - под опекою и руководством Ивана Егоровича фон Драка они сделаются великими людьми. Но твоего Сережу надобно куда-нибудь пристроить. Его там заколотят. Он мальчик острый, резвый, ум и способности его быстро развиваются.

- Да, благодаря доброй Наталье Васильевне! Почтенная девица! В таких молодых летах исполняет она свои обязанности с примерным усердием. Я и четверти часа не вы-

держал бы в этом Содоме.

- Вот умно, князь, что ты обратился к этому предмету! Эта Наташа, признаюсь в слабости, одна и привлекает в скучный дом княгинин. Я терпеливо слушаю бесконечные рассказы княгини о старине и длинные речи Алевтины Михайловны о добродетели и бескорыстии в ожидании той счастливой минуты, когда это благородное, миловидное, прелестное существо войдет в комнату. Я никогда в жизни порядочно не влюблялся, но, смотря на черные глаза Наташи, следя за ее очаровательною улыбкою, частехонько хватаясь за сердце, тут ли еще оно. И при этом какой ум, какое образование!

- Правда, - отвечал Алексей, - она премилая девица, каких я мало встречал в свете. Но мне кажется, что ум и красота даны ей природою за счет сердца. Она холодна, нечувствительна, горда. В первые дни пребывания ее в доме сестры мне казалось, что мы с нею подружимся: она разговаривала со мною свободно, непринужденно, доверчиво, но вдруг все переменилось. Я сделал глупость, подарил ей в именины пару бриллиантовых серег. Если б

ты знал, какую беду я на себя накликать! Во-первых, матушка и сестрица прогневались на меня и на нее: у них у самих не было таких серег. Во-вторых, сама Наташа переменяла обращение со мною: она не могла отказаться от подарка, но приняла его как горькую обиду, заплакала и с тех пор перестала говорить со мною. Нестерпимая гордость! Ей стыдно было принять подарок от чужого человека, а я дарил ее за старание о воспитаннике моем, которого она своими попечениями избавила от смерти в кори. Женщина нечувствительная, гордая, по моему мнению, не загладит своих недостатков умом и красотою. Сердце, сердце! Вот источник наших добродетелей, вот причина страданий и наслаждений наших!

- Нет, князь! Ошибаешься! - промолвил Хвалынский с едва приметным вздохом. - Сердце есть и у Наташи, да, видно, не нам с тобою оно весть подает.

- А, в самом деле, жаль, - продолжал князь, - что она такая гордая! Никогда не встречал я женщины милевиднее. Иногда, при рассказе о чем-нибудь интересном, о ка-

ком-либо подвиге добра, о пожертвовании самим собою, о страданиях человечества, у ней появляется в глазах и на лице такое выражение, что поклялся бы в ее чувствительности, и даже излишней! И все это маска, жаль! Всякий человек есть ложь, говорят в свете.

- Да, когда он представляется добрым, - сказал Хвалынский, - зато фурии являются во всем своем блеске. Об Алевтине Михайловне не скажут, что она притворяется, когда вспылит на кого-нибудь.

- А я так скажу, что и у Алевтины есть хорошие стороны. Меня она наверное любит, правда, по-своему. И любовь ее нередко доходит до непростительного баловства. Мне, например, давали в ребячестве совершенную волю: денег было у меня довольно, слугам приказано было слушаться меня беспрекословно. Начальников и учителей моих дарили, ласкали, просили их не обходиться со мною слишком строго, не принуждать к ученью, боясь, чтоб это не повредило моему здоровью. И я сделался бы, может быть, величайшим негодяем, если б не... Князь умолк и задумался.

- И ты это называешь любовью, - вскричал Хвалынский. - Да это хуже всякой ненависти! Хорошо, что у тебя такая добрая натура, а не то - был бы я без друга. Но, видно, детством баловство и кончилось. Теперь нередко поглядывает она на тебя как гремучая змея.

- Перестань меня мучить, Александр! Мы не вольны выбирать себе родню. Провидение лучше нас знает, что каждому нужно и полезно. И заметь, что гораздо меньше бывает раздоров между братьями и сестрами, нежели между супругами. Это оттого, что братьев и сестер дает нам бог, а жен выбираем мы сами. Что делать, если у сестры моей нрав не самый кроткий? Я знаю и вижу, что она властолюбива, вспыльчива, иногда показывает непомерную жадность и зависть, но кто без пороков? Она терпит мои слабости, и я должен снисходить к ней. К тому же, как и не быть ей бережливою, как не стараться о приобретении? У ней именье небольшое и трое детей.

- Агнец непорочный! - шептал про себя Хвалынский. - Его стригут без жалости, а он радуется, что ему будет легче!

- Напрасно ты говоришь, - продолжал

князь, - что она баловала меня только в детстве. И впоследствии не худо было бы, если б она не давала мне лишней воли. Чтение военных книг, рассказы покойного зятя, беседы с заслуженными корпусными офицерами - все это вселило в меня страсть к военной службе действительной, против неприятеля. Я богат, хорошей фамилии, следственно, мог поступить офицером в гвардию, и все советовали мне это сделать, даже покойник Элимов. Только Алевтина и Прасковья Андреевна хвалили мое намерение и советовали пойти по армии. Я так и сделал. Потом, когда судьба заставила меня, армейского офицера, оставаться в Петербурге при черчении планов, между тем как гвардия пошла под шведа, обе они крайне совестились и жалели, что позволили мне поставить на своем. Что мне до их слабостей и недостатков? Они мне свои, они меня любят, а впрочем, судья им бог!

- Но теперь у тебя еще свой человек, зять нумер второй, Иван Егорович фон Драк. Поздравляю!

- Это непостижимо! - сказал с досадою князь. - Гордая, властолюбивая Алевтина вы-

ходит за самого ничтожного человека. Впрочем, он человек строгой честности, аккуратен до педантизма, услужлив, вежлив, не спорщик; может стать, будет и хорошим мужем; только что он обещает в будущем для Алевтины и детей ее? Неужели она влюбилась в этого флигельмана?

- И я не могу понять, - сказал Хвалынский, - что она в нем нашла. Только о будущей судьбе его я не беспокоюсь: он протрется далеко - то бочком, то ничком, иногда и ползком. Такие люди сделаны для мест по службе, а места для них. Он будет исполнять беспрекословно и исправно все приказания командира, и самые глупые, не смея думать, что командир может ошибиться; умничать не станет: для умничанья нужен какой-нибудь ум; секретов не перескажет: у него лексикон начинается словом "да" и оканчивается словами: "точно так-с, слушаю-с". Увидишь, как он пойдет в гору при помощи своей супруги и тещи!

- Дай бог ему хоть этого! - сказал князь со вздохом.

Странные приключения того дня, неожиданный поступок Алевтины, догадки о будущем - все это расстроило князя. Хвалынский, нежно любивший своего товарища, который всегда был для него идеалом благородства, ума и образованности, не мог найти средств, чтоб рассеять его задумчивость. Князь никогда не был словоохотен, а в случае какой-нибудь неприятности становился еще молчаливее обыкновенного. Менее всего желал Хвалынский навести его в это время на любимый предмет размышлений и бесед князя: на сверхъестественные влияния и на видения духов бесплотных. Ему, правда, странно было, что человек такого ума и воспитания, как князь Кемский, может верить вещам, представленным здравою философиею в удел суеверным старухам и людям непросвещенным, но именно это обстоятельство и подстрекало его любопытство. "В этих предметах должно же быть что-нибудь существенное, - говорил он сам себе, - если мой умный, начитанный, знакомый с историею и физиологиею князь Кемский верит в их действительность! Дам ему поотдохнуть от волнения нынешней до-

сады и потом найду случай напомнить об этом любопытном деле".

Случай этот вскоре представился. Через несколько дней после того друзья наши узнали, что один из корпусных товарищей их, капитан Вышатин, на пути из Финляндии лежит больной близ Выборгской дороги. Неуклюжий чухонский ямщик в двух станциях от Петербурга сбился в темную, бурную ночь с дороги, проехал верст двенадцать в сторону и опрокинул повозку в глубокий овраг. Вышатин, спавший в это время, проснулся от испугу и от жестокой боли в правой ноге. Денщик вытащил его из-под повозки. Вышатин ступил несколько шагов и упал на землю: нога его была смята и вывихнута. Что было делать? Кое-как подняли коляску; оказалось, что задняя ось переломилась; подперли коляску оглоблею и положили Вышатина на подушки. Часа через два рассвело. Вышатин увидел себя в самой живописной долине финляндской Швейцарии. Шагах стах в трех лежала на возвышении чухонская деревня Сярки, под нею простиралась прекрасная долина, орошаемая быстрым ручьем. Но страдальцу

было не до картинных видов. Узнав, что в этой деревушке нет никого кроме крестьян и что верстах в осьми находится пасторат, он решил туда отправиться. Досужий денщик изготовил носилки. Вышатины уложили, и четыре дюжие чухонца, в надежде щедрой платы, понесли его в пасторат, или село Токсово, известное петербургским любителям загородных прогулок. Там отвели ему на дворе пономаря просторную залу в большом деревянном доме, где обыкновенно останавливаются приезжие из Петербурга. Тотчас по приглашению Вышатины явился финский пастор, человек учтивый и образованный, и привел с собою старика лекаря, который проводил у него лето. Повреждение ноги оказалось неопасным, но надлежало в течение нескольких недель соблюдать величайшее спокойствие, не двигаться с места и в точности исполнять предписания хирургии. День, два Вышатины пролежал смирно, но, когда боль стала утихать, когда прекратилось у него головокружение, причиненное быстрым летом в глубокую яму и нечаянным испугом, он почувствовал смертельную скуку. "Нет ли у вас каких-нибудь

книг?" - спросил он у пастора. "Как не быть, - отвечал пастор, улыбаясь, - только все финские и шведские. Впрочем, у жены моей есть и немецкие". - "Ради бога, дайте хоть немецких!" - жалобно сказал Вышатин, впрочем, не большой охотник до немецкой литературы. Приносят книги, и что ж это? "Всеобщая повариха", "Безысходный комплиментер и корреспондент", и Балтазара Грациана "Придворный человек". Вышатин чуть не заплакал с досады. Потерпев еще денек, он вздумал пригласить к себе товарищей и послал своего денщика, на чухонской тележке, в Петербург с циркуляром: "Вышатин вывихнул дорогою ногу и лежит в Токсово. Кому из кадет досужно, тот приедет навестить товарища, умирающего от скуки среди чухонских лиц, немецких книг и латинских мазей". Денщик тотчас отыскал князя Кемского и Хвалынского, рассказал им путевые приключения своего барина и отправился с отметкою их на циркуляре: "Читали; едем сами и поведем по всей роте".

Князь Кемский обрадовался случаю отвести душу после горьких и досадных сцен у Алевтины. Хвалынский уже заранее влюблял-

ся в рыженьких и беловолосых чухончек. Взяли позволение командира поехать на неделю за город и поскакали в Токсово. Дорога туда идет сначала по болотному грунту, поросшему низким кустарником: это дно большого водоема, простиравшегося в старые незапамятные времена между нынешними берегами Финского залива, Дудергофом, Пулковом и возвышениями парголовскими и токсовскими. Верстах в двенадцати от Петербурга земля возвышается, показываются пригорки, появляются и леса, между возвышениями дремлют озера.

Печальный вид этой страны в осеннее время склонял обоих друзей к задумчивости, каждого различным образом: Хвалынский, смотря на желтеющие листья, на блеклую траву, на серое небо, с сожалением вспоминал о промелькнувшем с быстротою молнии красном лете и считал, сколько времени остается до зимних вечеров, когда искусственный свет заменит долгоденственное сияние летнего солнца, когда беседы и увеселения общественные заставят забыть наслаждения природою. Кемский же глядел на померкающую

красу природы, как на умирающего друга, пробегал мыслию время, прошедшее с минувшей зимы, исчислял свои наслаждения, успехи, надежды сбывшиеся и несбывшиеся, воображал, как все это, и окружающий его видимый мир, и мир, наполняющий его душу, покроется белым саваном смерти, и как по истечении урочного времени красное солнце опять оживит природу, и она воскреснет вновь в блеске лучей весенних.

Мысли эти настроили душу Кемского в мечтательном, возвышенном тоне.

- Грустно смотреть на осеннюю природу, - сказал Хвальнский, - точно умирающий человек, в котором жизнь борется еще с холодом смерти. Это зрелище всегда наводит на меня тоску.

- В этом я счастливее тебя, - сказал Кемский, - явления природы, и тихие и грозные, и приятные и ужасные, действуют на меня равно, возбуждая мысль о вечности, о неизменной силе творческой природы, о благодати Провидения, о бесконечной и непостижимой мудрости, с какою устроена вселенная. Не умирают эти поблекшие листья, эти увядшие

травы: они преобразуются в начало, из которого возникает новая жизнь! Эта мысль утешает меня при взгляде на унылую осенью землю, у одра умирающего друга и при помышлении о собственной моей тленности.

- Рано, братец, нам думать об этом, да и страшно. Я не боюсь смерти в сражении, даже в военном лазарете, а трепещу при мысли о том, что какая-нибудь глупая простудная горячка может ни за что, ни про что положить меня в могилу. Всячески удаляю от себя мысль о возможности этого случая и, благодаря бога, привык выгонять из головы грустные помыслы, как докучливых мух.

- Напрасно, - сказал Кемский, - нам должно заранее знакомиться со смертью в разных ее видах, должно привыкать смотреть на нее не только равнодушно, но и с каким-то утешением душевным. Когда я вижу вокруг себя страждущих и печальных, когда помышляю о трудах, бедствиях и мучениях, приветствующих в каждом человеке свою добычу при утреннем его просыплении, когда сам иногда изнемогаю под бременем томительных мыслей - тогда утешаюсь одною мыслию: ведь это

не вечно, все это сон и мечтание, придет час пробуждения, называющийся у слепых людей часом смерти, и весь этот мир, с своими страданиями и телесными и душевными, исчезнет как тяжелое сновидение, и душа моя, освобожденная от тяжких оков тела земного, очутится опять посреди своих истинных друзей.

- Так ты уверен, Кемский, что увидишь на том свете друзей, умерших прежде тебя? Да как это возможно?

- Я уверен, что со мною будет то, что быть должно, то, чего лучше я не могу придумать, то, чего слабый мой разум, действующий органами телесными, постигнуть не может, то, о чем иногда в темных видениях только грезит душа моя!

Хвалынский ждал именно этого оборота речи.

- Не постигаю, - сказал он, - как ты дошел до этих видений. Ты, помнится, обещал мне рассказать, что возбудило в тебе эту удивительную уверенность в действии духовного мира еще в здешней жизни.

- Готов, - отвечал Кемский, - но так как это

убеждение не может назваться последствием каких-нибудь внешних внушений, чтения или минутного исступления, а есть плод впечатлений, действовавших на меня с самого почти рождения, плод наблюдений и размышлений всей моей жизни, то и должно мне начать рассказ свой издалека. Имей терпение выслушать историю всей моей жизни.

VI

- Я родился в Москве. Об отце моем ты, конечно, слышал: он был человек умный, образованный, благородный и притом чрезвычайно тихий, можно сказать, слабый. Служил не долго, потом поселился в Москве и раз в год объезжал свои поместья в низовых губерниях. Матушка моя - я едва ее помню - была ангел красоты и добродетели: скромная, милая, умная, добродушная. Она страстно любила доброго мужа и детей своих, не желая ничего в жизни, кроме продолжения своего тихого семейственного счастья, но не долго им наслаждалась. Я был первый сын ее, предмет всех ее помыслов и стараний. Она не могла кормить меня грудью, но сама хотела учить всему, и даже наняла себе учителей, чтоб

приготовиться к будущему воспитанию сына. Слабая телосложением, чувствительная, раздражительная женщина расстроила свое здоровье беспрестанными заботами и трудами, но в материнском сердце почерпала силы и средства исполнять то, что почитала своим долгом. Я вижу ее будто сквозь сон, как она, бывало, посадив меня на диване подле себя, учит говорить, поправляет ошибки и, когда достигнет цели своей, радуется как дитя. Первое детство мое протекло среди игр, забав и уроков милой матери.

Вдруг все вокруг меня покрылось мглою. Батюшка в то время уезжал в Симбирскую губернию, матушка оставалась в Москве одна со мною. Мне было тогда года три от роду. Веселые игры и шутки маменьки прекратились: она беспрерывно плакала и, прижимая меня к сердцу, говорила с чувством: "Бедное дитя! Какая участь тебя ожидает!" Дом наш опустел; остались только человека три слуг; сперва заколотили ворота, потом заперли и ставни: свет проходил сквозь небольшие в них отверстия. Каретный стук умолк на улицах, не слышно было ни гулу народного, ни

голосу продавцов; иногда только раздавались дикие, жалобные крики посреди общего безмолвия, и какие-то грузные повозки медленно стучали по мостовой. Когда, бывало, застучат эти колеса, матушка побледнеет, заплачет, посадит меня к себе на колени и с трепетом обнимает.

Не постигая того, что происходит вокруг меня, я однажды спросил маменьку, отчего мы теперь непрерывно одни и сидим в потемках, отчего она грустит и плачет. "Это чума, друг мой! - отвечала матушка. - Множество людей умирает: кто только дотронется до больного, тот сам занеможет и непременно умрет. Вот мы и заперлись, чтоб никто к нам не зашел с чумою. Она ходит по всей Москве, и уж много таких детей, как ты, плачут по отце или по матери. Ведь ты не хочешь, чтоб я умерла!" - "Нет, нет, маменька! - закричал я, обняв ее. - Не умирай, не умирай, а если умрешь, то возьми и меня с собою!"

Слезы матери были ответом на этот привет невинной души младенческой. Повторяю, что все это я помню как сквозь сон, может быть, и вовсе не помню, а только составил в

воображении своем эту картину, по словам доброй моей няни.

Но вдруг случилось происшествие, которое и теперь так живо в моей памяти, как будто бы я видел его вчера. Детское мое любопытство было возбуждено рассказами о чуме: я воображал, что это злая волшебница, что она разъезжает по городу в колеснице и убивает людей. "Мы живем во втором ярусе дома, - думал я, - меня она не достанет, хотя б я и выглянул в окошко. Дай посмотрю, что это за чума". Однажды вечером я сидел один в комнате; вдруг слышу на улице знакомый мне стук колес, казалось, повозка остановилась у нашего дома; взглянув на окна, сквозь щели ставень, вижу необыкновенный свет. Непреодолимое любопытство победило во мне боязнь. Осмотревшись в комнате и удостоверясь, что в ней нет никого, я подошел к окну, вынул засов из железного прута, которым запиралась ставня, и она с шумом отлетела. И что я увидел на улице! У ворот дома, насупротив нашего, стояла большая фура, нагроможденная мертвыми телами. Люди страшного вида, в разодранной одежде, толпились вокруг по-

возки при свете факелов. Растворилось окно во втором ярусе, и оттуда выбросили мертвое тело, закутанное в простыни; оно упало поперек повозки; страшные люди дико захохотали и длинными баграми поворотили тело вдоль повозки; голова повисла назад. В это самое время вновь отворилось окно, и в нем показалась молодая женщина в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, покрытая смертною бледностью. И теперь вижу эти черты, в которых изображались тоска и отчаяние. Она глядела вниз на повозку, на лежавшее сверх других тело. Повозка двинулась, и в это самое мгновение женщина с диким, пронзительным воплем, который поныне раздаётся в моем слухе, кинулась из окна... После этого я уже ничего не помнил; очнулся в своей постеле. Матушка терла мне виски и горько плакала. Няня лежала у ней в ногах, прося прощения, что оставила меня одного. Опамятование мое произвело общую радость. "Ничего, ничего, нянюшка! Бог простит! - закричала матушка. - Алеша очнулся".

Я пролежал несколько недель в сильной горячке и с полгода не мог оправиться. Нако-

нец телесное здоровье мое возвратилось, но в глубине души затаилась какая-то грустная мысль, какое-то страшное ощущение, облеченное в наружный вид женщины в черном платье, устранившей меня падением из окна. Я не говорил никому, что видел в тот вечер; все думали, что одно зрелище фуры, нагруженной мертвыми телами, меня испугало. Когда, бывало, мне угрожала болезнь, эта женщина являлась мне во сне и смотрела на меня угрюмо. После такого сновидения я ожидал болезни и никогда не ошибался. Не думай, чтоб болезни эти были последствием испуга, произведенного во мне сновидением, нет! Я привык к этому видению, как к старому другу, и впоследствии научился предугадывать по выражению лица женщины, что предстоит мне вскоре. Иногда являлась она печальною и смотрела на меня, опустив руки; в другое время манила к себе с приятною на устах улыбкою; случалось, что она была и угрюма: показывала вид недовольный и как будто грозила мне. Воображение мое приравнивало к этим видениям все следовавшие затем случаи жизни, и я мало-помалу привык

считать это обстоятельство принадлежностью моей природы.

- То есть эта женщина являлась тебе во сне? - спросил Хвалынский.

- Не всегда во сне, - отвечал Кемский, - в необыкновенных случаях, когда от волнений душевных придет в трепет мое тело, когда настоящая минута ужасным своим потрясением сольет в себе и прошедшее и будущее, она является мне и наяву. Расскажу тебе одно из самых грозных происшествий моего младенчества. Но постой! Уже смеркается, становится холодно. Позволь мне посадить Мишу к нам в карету. Бедный мальчик продрогнет на козлах.

- Помилуй, делай что тебе угодно, но позволь заметить, что ты крепко балуешь своего Мишку. Я думаю, если б карета наша была не четвероместная, ты сам бы в состоянии был сесть на козлы, а камердинера посадить на свое место.

- Может быть, - сказал князь со вздохом, - но этот человек мне дорог по многим отношениям. Он сын моей кормилицы; его мать и поныне грустит о гибели другого вскорм-

ленника своего, моего брата, да и Миша малый предобрый, могу сказать, благородный. Он любит меня, как...

- Вот еще, не любить такого баловщика! Да я, вышедши в отставку, сам пойду к тебе в камердинеры. Зови же его! - Князь остановил карету и велел Мишке сесть в нее. Мальчик уверял было, что ему не холодно на козлах, но, по настоянию барина, повиновался.

Друзья продолжали прежний разговор по-французски.

- Страшное время чумы, - сказал Кемский, - вскоре миновало. Ставни окон нашего дома раскрылись, на улицах по-прежнему застучали экипажи, раздался шум народный, комнаты наполнялись проходящими. Только я, как уже сказал, не мог воротить своей детской беспечности: сказывают, что я пугался всякой безделицы, плакал при малейшем поводе, при радости и при печали. И взрослый, я не мог бы спокойно смотреть на несчастные происшествия того времени в нашем семействе. Здоровье матушки ослабевало, и через два года она скончалась после трудных родов. Батюшка, потерявший в ней все, что ему бы-

ло дорого в мире, возненавидел Москву, полагая, что ужасные явления тамошней чумы были причиною преждевременной смерти его единственного друга, и отправился со мною и младшим братом моим в симбирскую свою деревню. Там рос я на свежем сельском воздухе, на совершенной свободе, и вскоре, говорят, сделались видимы следы этого переселения: я окреп телом и душою; сделался весел и игрив по летам, и в самом деле я не помню, чтоб в то время грозные видения мучили меня, как прежде. Но это спокойствие было непродолжительно. Возгорелся бунт Пугачева. Запылали села, полилась невинная кровь в счастливых до того низовых странах. Страшная лава мятежа и кровопролития направила разрушительный путь свой к нашему уезду.

Батюшка как самый почетный в округе помещик, по приглашению чиновника, присланного из Петербурга, отправился в город на совет, не воображая, какой опасности подвергает бедных своих детей. Вдруг одна из злодейских шаяк вторглась в наше село, окружила господский дом и с диким воплем тре-

бовала помещика. На ответ, что он уехал в город, разбойники возразили, что в доме, конечно, остался кто-нибудь из его кровных, и требовали у крестьян выдачи жены и детей барских. Добрые наши служители, любившие барина своего, как отца, отвечали, что барыня скончалась за полгода, а дети увезены отцом. Кровожадные изверги не поверили этому и кинулись в дом. Старушка, моя няня, видя беду неминуемую, вдруг раздела меня донага и вместо тонкой сорочки и платица надела запачканную крестьянскую рубашонку и опоясала ветхою тесьмою. Я это сносил терпеливо, но когда она вздумала сажею марать мне лицо и руки, я закричал: "Нянюшка! Нянюшка! Что ты это меня пачкаешь? Я тятеньке пожалуюсь!" Она старалась меня успокоить, умоляла, чтоб я молчал, но я не переставал плакать, срывал с себя грязную одежду и кричал: "Отдайте мне мое платье!" Комната наполнилась женщинами и детьми, которые вздумали в господском доме искать себе спасения и приюта. Все со слезами просили меня замолчать, но напрасно. Уже слышались шаги буйной толпы, уже раздавались яростные

голоса извергов, алкавших господской крови, уже растворилась настезь дверь в переднюю, - вдруг в ней появилась черная женщина, как я привык называть ее про себя: бледная, с распущенными волосами, в том же платье, как я видел ее во время чумы; она остановилась в дверях, вперила в меня укоряющий взор и погрозила пальцем. Я в то же мгновение умолк и, оборотясь к няне, прижался к ней лицом. Необычайный шум вскоре заставил меня оглянуться: комната наполнилась неистовыми, пьяными разбойниками. "Где щенята проклятые? - вопили они. - Али утаили их, что ли! Всех перебьем!" Бабы с детьми бросились в ноги злодеям, и я припал подле няни. "Ей же ей, их нет здесь, - кричали они, верьте богу, отцы родные!" - "Смотрите! - ревели разбойники, рассыпаясь по комнатам. - Если хоть одного найдем, всем вам конец! Признайтесь скорее, до беды!" Испуганные женщины повторили свои клятвы. Шумная толпа кинулась в другие комнаты, а старушка няня, схватив меня на руки, выбежала из господского дому в село, принесла меня в дом своего сына и посадила на печь. Она смертельно бо-

ялась, чтоб я не вздумал кричать, упрямитесь и требовать своего платья, но я был тих и нем, к крайнему ее изумлению и удовольствию. Смятение продолжалось во весь день, к вечеру утихло на улицах, но меня не выпускали из избы, не снимали с печи, я заснул от испуга и усталости.

На другой день вступила в село какая-то команда, и бунтовщики по приближении ее разбежались. Вскоре воротился батюшка, и моя спасительница принесла меня домой. Увидев отца моего, она бросилась ему в ноги, восклицая: "Батюшка-князь Федор Петрович! Вот сынок твой, князь Алексей! Прости, отец родной, что мы одели его как крестьянского мальчишку, да, вишь, злодеи грозились всех баричей перебить, так мы и догадались: бог помог нам, а ты, батюшка, не взыщи!" Отец с радостными слезами обнял меня и усердно благодарил няню, но не одни слезы радости пришлось ему проливать в этот день. Няня, уstraшенная мыслию об опасности своего питомца, не подумала о младшем брате моем, которому было десять месяцев от роду. Кормилица его, услышав шум, в испуге схвати-

ла ребенка, бросилась из дому в село, из села - в лес. На другой день нашли ее в беспомощности, верстах в десяти от дому, на дне глубокого оврага, покрытую ранами и ушибами, в застывшей крови. Очнувшись, она объявила, что бежала без памяти сама не зная куда. Вдруг раздались вокруг нее крики. В недоумении и испуге бросила она дитя в кусты, а сама кинулась в сторону. Ударом в голову ее оглушило; она лишилась чувств и покатилась в овраг.

По ее показанию, стали искать в кустах и нашли под одним детскую шапочку более ничего. Все разыскания, все исследования были напрасны. Бедный младенец пропал. Не скажу: погиб, и вот почему. Батюшка, сильно пораженный этим бедствием, часто ходил со мною на то место, где пропал брат мой; потом выложил туда дорогу и на краю дикого оврага построил домик. Это место было позорищем забав, игр, мечтаний моего детства. Через два года после того ужасного происшествия батюшка повез меня в Петербург для отдачи в кадетский корпус. Накануне отъезда нашего мы пошли проститься с нашим домиком. Это

было в августе месяце, после обеда. Батюшка в безмолвном унынии, ведя меня за руку, обошел всю ту сторону, как будто ища своей невозвратимой потери, и, когда начало смеркаться, вошел в домик, где ожидала его няня с чаем, а я остался на краю оврага. Мысль о том, что я оставляю места, где жила матушка, где погиб брат мой, наполнила грустью мое младенческое сердце. Я пошел к роковому кусту и, глядя на густую зелень его, думал: "Так ты умер, друг мой?" В это время что-то темное приподнялось из-за густой зелени: всматриваюсь - и вижу знакомую мне черную женщину, но не страшную, не грозящую, как бывало, а с какою-то милою, утешительною улыбкою. Она покачала головою, как будто желая сказать: "Нет, он не умер!", указала на тропинку и разлилась туманом в вечернем сумраке.

Князь замолчал, выглянул с странным выражением испуга и удовольствия из окошка, смотрел несколько секунд на густые сосны, черневшиеся недалеко от дороги, потом улыбнулся со вздохом.

Хвалынский пристально всматривался в ту сторону, ничего не видел и наконец спро-

сил:

- Не причудилось ли тебе опять чего-нибудь?

- Нет, - сказал князь, - что-то налетело на душу странное. Я вот уже несколько дней не могу освободиться от видения, но оно не с того света. - При этих словах он покраснел.

- А, догадываюсь! - вскричал Хвалынский. - Сердце подстрелено. Пора, друг мой, пора! Нельзя ли сделать меня твоим поверенным?

- Как можно? - сказал князь с усмешкою. - Ты мне в этом почти соперник. Но нет! Это пустое, вздор! Это игра воображения.

- Тем легче тебе открыться! - продолжал любопытный Хвалынский.

- Скажу тебе правду, - отвечал князь, как будто принуждая себя, - не знаю отчего, только Наташа беспрерывно мерещится у меня в глазах. Ты знаешь, что я ее уважаю, можно сказать, люблю за благородство ее нрава, за ум, образование, но никогда не думал я чувствовать к ней чего-нибудь более, и помнится, не далее недели откровенно говорил тебе, до какой степени ее гордая холодность меня оскорбляет. Вот дня четыре тому назад я сижу

у сестрицы в гостиной. Матушка рассказывала что-то о своих женихах елисаветинских времен. Я нечаянно посмотрел в зеркало и увидел, что Наташа, сидевшая тогда в другой комнате, устремила на меня глаза свои с каким-то необыкновенно томным выражением. Когда взоры наши встретились в зеркале, глаза ее засверкали, лицо подернулось бледностью, и мне показалось, что в нем было выражение лица моей мечты. Я глядел на нее несколько секунд с неизъяснимым наслаждением. Вдруг она, как будто догадавшись, что и я вижу ее, когда она на меня смотрит, отворотилась от зеркала, встала и поспешно удалилась в другую комнату. Через час увидел я ее в гостиной. Лицо ее было нежное, прекрасное, миловидное, правильное, но то небесное выражение исчезло. Она глядела на меня учтиво, строго и холодно, как всегда, а я и малейшим движением лица боялся дать ей почувствовать, что помню, как наши глаза менялись взглядами в зеркале. С тех пор изображение ее в зеркале меня не покидает. Я вижу ее, пью восторг из глаз ее, забываюсь, но эта мечта скорее всего проходит при появлении

ее самой: вижу, что это не та!

- Вот друзья! - вскричал Хвалынский с комическим выражением отчаяния. - И эту у меня отбивают! Ну, мог ли я думать, чтоб ты когда-нибудь сделался моим соперником? Впрочем, это, может статься, к лучшему. Влюбиться нашему брату в бедную девицу: любовь да любовь, нуль да нуль - нуль! Только в одном отношении мне не так накладно было влюбиться в Наташу, как тебе. Ты князь, старинной капитальной фамилии, человек богатый, цель взглядов и вздохов многих знатных барышень, а она дочь бедного штаб-лекаря, внучка какого-нибудь пономаря, много что сельского священника - что это за пара! Я, бедняк, более к ней под ряд. Род Хвалынских не блещит в бархатных книгах, и, если б покойный мой отец не служил сорока лет верою и правдою, не бывать бы мне товарищем князей и графов.

- Счастливец, - сказал князь Алексей, - тебя не тяготит полученное от родителей титул, налагающее на человека тьму цепей и обязанностей в свете. Впрочем, ты более похож на князя, нежели я, задумчивый, угрюмый,

неуклюжий. Дочь штаб-лекаря, следственно, человека благородного во всех отношениях, человека полезного, почтенного, почему бы ей не быть княгинею Кемскою! Нет, нет! Не потому! Нет, она меня ненавидит! И я хоть влекусь к ней чем-то непонятным, но любить ее, так просто, по-человечески, не могу. Еще раз скажу: не знаю, есть ли у нее сердце!

- И все это к лучшему, поверь мне, - возразил Хвалынский, - твоя так называемая матушка и сестрица хорошо бы приняли такую родственницу. Боже упаси!

В течение этого разговора смерклоось. Вдруг влево от дороги блеснул огонек.

- Это Токсово! - сказал Мишка, отпер дверцы, выскочил из кареты и пошел вперед, искать дома пономаря.

VII

Через несколько минут Мишка закричал кучеру: "Здесь! Стой!", и друзья, оставив карету, вошли в большой деревянный дом, уже довольно ветхий, но еще не обшитый досками.

- Не здесь ли остановился больной офицер? - спросил Хвалынский.

- Десь, посалуйте! - отвечала рыженькая

чухончка с кроличьими глазками и ввела приезжих чрез сени в большую комнату.

В камине пылал огонь и колеблющимся блеском освещал бревенчатые, не оклеенные обоями стены, на которых в исполинском размере рисовались тени собеседников, расположившихся вокруг приятного в осеннее время домовитого огня. Вышатин, молодой, прекрасный собою, в щегольском халате, лежал на черной кожаной софе; подле него сидел человек средних лет, степенного вида, белокурый, в черном однобортном сюртуке, с трубою во рту; в нем не трудно было узнать сельского пастора. Подле пастора, в ветхих креслах, развалился молодой человек, одетый с великою небрежностью, приятной наружности, с выражением добродушия и детской беспечности на лице, которое по временам озарялось отблесками внутреннего вдохновения: он пристально глядел в камин и, казалось, следил за постепенным разрушением дров, наблюдал каждую вспышку огня. С другой стороны камина облокотился на столик почтенный старец лет семидесяти - исполинского роста, сухощавый и статный. Густыми чер-

ными бровями приосенялись глаза, пылавшие пламенем глубокого чувства. Черные с проседью волосы едва покрывали высокое, величественно округленное чело; нос правильный, греческий, на щеках следы румянца юных лет, уста с улыбкою спокойствия, выдавшийся подбородок - все это составляло физиономию необыкновенную, поражающую всякого невольным почтением при первом на нее взгляде. Одет он был просто: в старомодном коричневом сюртуке и в темном камзоле, но все на нем было как-то порядочно, как-то согласно с его лицом, умным и спокойным. Когда приезжие наши вошли в комнату, прервался, как им казалось, интересный разговор. Кемский одним взглядом окинул эту живописную группу и в первую секунду нашел в ней нечто похожее на те нечаянные сборища, которые попадаются в гостиницах романов.

- Друзья! - с восторгом закричал Вышатин, увидев входящих, - спасибо вам! Спасибо, философ, и тебе, стрекоза, вы, чай, не забыли еще ваших кадетских прозвищ, что посетили своего бедного однокашника. Эй, люди, чаю,

поскорее!

После первых расспросов о здоровье Вышати́н познакомил князя и Хвалы́нского с тремя своими собеседниками. Один точно был тамошний пастор; другого он назвал Андреем Федоровичем Берилы́вым, прибавив, что он художник; при взгляде на третьего произнес с почтением: "А это Петр Антонович Алимари, облегчитель моих страданий; может быть, и спаситель моей жизни. Эти господа разогнали скуку моего одиночества своею беседою; если вы любите меня, братцы, по-прежнему, по-корпусному, поблагодарите их за ласку и за дружбу к незнакомцу. Этому же почтенному человеку обязаны будете сохранением вашего друга!" Он протянул руку с выражением искреннего чувства; старик, встав с своего места, подошел к нему и отвечал на его пожатие руки приятною улыбкою, выразившею, что он ценит внимание и благодарность, но ни во что ставит свою услугу.

После обыкновенных приветствий Кемский сказал больному:

- Кажется, что мы приездом своим прервали вашу беседу: нельзя ли продолжать?

- Да, - отвечал Вышатин, смеючись, - мы рассуждали, толковали и спорили о предмете очень занимательном, без которого редко обойдется дружеская беседа, несколько продолжительная. Мы говорили о видениях, о предчувствиях, о предсказаниях и тому подобном. Я, признаюсь, отнюдь не верю ничему в этом роде и никогда не перемену своего образа мыслей.

- Не верите, - возразил старик тихим, но крайне приятным голосом, - не верите? Отчего же происходит, что вы с любопытством слушаете рассказы о необыкновенных случаях? Отчего сами сообщили нам несколько анекдотов? Вера в чудесное, сверхъестественное основывается не на расчетах и заключениях рассудка, а на каком-то неизъяснимом внутреннем чувстве.

- Так должно верить, почтенный Алимари, - сказал с жаром Вышатин, - всем сказкам и бредням старых баб? Так вы им верите?

- Отнюдь нет! Мало ли ходит по свету вымыслов, заверенных не только людьми простыми, суеверными, но и учеными; между тем это вымыслы, и только. Но неоснователь-

ность одного частного случая не может заставить нас думать, будто общее чувство, сродное всем людям, нас обманывает. Притом, заметьте, что вера в сверхъестественные случаи и видения опровергается только отрицательно. Говорят: "Это не может быть", да и только. Доктор Джонсон утверждает, что люди, отвергающие действительность привидений устами, признаются в ней своею боязнию. Не должно верить безусловно всем рассказам, но должно исследовать самые дела и по исследовании отличить истинное от ложного.

Алимари говорил твердо и положительно. Выражения его были чистые русские, но часто сбивались на книжный язык. Произношение его было не иностранное, но и не обыкновенное у нас в разговоре. Выразительное движение уст, пламенное чувство, блиставшее в глазах его, голос гармонический и самая эта необычайность языка придавали речам его неизъяснимую силу и прелесть. Кемский, можно сказать, глазами и слухом прилип к устам его; сердце его невольно влеклось к незнакомцу, который, с своей стороны, при-

метив это внимание милovidного, кроткого, умного человека, в речах своих обращался преимущественно к нему.

- Воля ваша! - вскричал Вышатин. - А я никак не соглашусь с вами! Слушаю рассказы о духах и привидениях со вниманием, с любопытством и, могу сказать, с удовольствием, но верить им - нет! Не могу. И вы, Алимари, натуралист, испытатель таинств природы, можете утверждать это? Не постигаю!

- Именно потому, что я натуралист, эти явления меня и занимают. В природе ничего не делается даром. Каждая травка, каждая песчинка имеет свою причину, свою цель: так и движения, действия и стремления нашей души. Мы не видим причин и целей того, что в нас происходит, но происходящее ощущаем и признаем.

- И никогда не увидим! - прервал Вышатин.

- Почему же так? - спокойно возразил Алимари. - Явления электричества, магнетизма и другие в течение тысячелетий изумляли народ и казались сверхъестественными самым умным и просвещенным людям тех времен. Ныне эти явления разгаданы. Так может, так

должно быть и со многими другими явлениями физического и нравственного мира. Повторяю: мы видим действия, но силы, которыми эти действия производятся, еще от нас сокрыты. Пройдут века, совершатся новые открытия в науке естества, в единственной всеобщей, истинной науке, и то, что казалось неизъяснимым чудом, покажется нам в виде явления или действия природы, понятного и даже в естестве вещей необходимого!

- Так вы не верите чудесам? - с торжеством спросил Вышатин.

- Верю и не верю - смотря по тому, как вы принимаете это слово. Я не верю, чтоб порядок вещей, единожды установленный премудрым промыслом, мог без особенной воли Всевышнего когда-либо или от чего-нибудь измениться. Но чудеса, то есть действия и явления, непостижимые человеку, неистолкуемые по размеру его ума, временного и слабого, совершаются ежедневно. И самое устроение, самое бытие человека есть чудо, непонятное, недостижимое. Никогда не чувствовал я в такой степени удивления и благоговения пред неисповедимым промыслом, как в то

время, когда разлагал на части тело человеческое, эту ветхую храмину, из которой излетела его жительница. Каждая жилка, каждый нерв есть чудо в глазах и уме человека. И тут ум человеческий догадался о причинах и цели многого, но столь же многое, может быть, и более, является только телесному его взору, а от умственного сокрыто. Так в органе слуха, например, цель и польза многих частей истолкована и, по возможности, доказана сравнением, но сколько частей сего самого органа нам непонятны! И притом они необходимы, они имеют и причину и цель, ибо находятся в каждом подобном органе. Отсутствие их, может быть, показало бы, к чему они нужны, а этого отсутствия еще не замечено с самого начала мира или, может быть, с начала науки. И после этого, когда мы не можем растолковать и доказать пользы и действия видимых, осязаемых вещей, оставленных скрывшимся хозяином в прежнем его жилище, мы станем спорить о свойствах и деяниях самого хозяина! Смиримся пред Провидением и признаемся с Шекспиром, что под солнцем много таких вещей, какие философии нашей и во сне не

грезились!

- Вот уж и философия! - воскликнул Хвалынский. - Нельзя ли уволить от нее! Да и как вы заговорили об этих предметах? Нельзя ли избрать чего-нибудь попроще, поближе к нашему армейскому разумению?

- И я так думаю-с, - сказал художник, - а то в самом деле, начали о домовых-с - вот это дело известное-с, то есть домовые-с - кто их не видал-с?.. а потом занеслися бог знает куда-с... то есть... впрочем и не с домовых начали-с, а с огненного змея-с.

- С какого змея? - спросил Хвалынский.

Бериллов хотел отвечать, но Вышатиин предупредил его:

- Андрей Федорович рассказывал нам, что в Петербурге случилось необычайное происшествие. Ты знаешь, что вчера граф Самойлов давал праздник в честь гостя нашего, молодого короля шведского. В то самое время, как государыня подъехала к крыльцу его дома, огненный шар или, как говорят в народе, змей пролетел чрез этот дом, потом чрез Зимний дворец за Неву и упал за крепостью. Мы стали рассуждать о подобных явлениях и от это-

го мало-помалу дошли до толков о привидениях, о предчувствиях и тому подобном. Но помнится, вы, Петр Антонович, хотели рассказать нам одно такое происшествие, случившееся в молодые ваши лета? Не угодно ли теперь?

- Охотно, - сказал Алимари. - Это было в тысяча семьсот сороковом году, последнем году царствования императрицы Анны Ивановны. Мне был тогда семнадцатый год от роду. Я жил у датского резидента, в доме, где теперь трактир "Париж" на Дворцовой площади, на углу Ледокольного переулка. Это было в августе месяце. Ночь была темная, но чрезвычайно теплая. Резидент, по обыкновению своему, занимался музыкою, играл весь вечер на клавикордах, а я пел на память лучшие тогдашние италианские арии. Било десять часов; я простился с ним и пошел к себе вверх. Вдруг вижу я: освещаются средние ворота Адмиралтейства, идущие к Гороховой улице. Из ворот выходит какая-то процессия с множеством факелов и поворачивает налево, к Дворцовой площади. Дома, лежащие насупротив Адмиралтейства, озаряются ярким светом. И свет

этот, наравне с невидимою процессиею, движется ближе и ближе ко дворцу. Смотрю и недоумеваю. Резидент присылает за мною человека. Схожу к нему и вижу, что он со всеми домашними стоит у окна и смотрит на непонятное явление - что за процессия может идти из Адмиралтейства в ночное время? Посылаем смышленного слугу, чтоб посмотреть вблизи и порасспросить. Между тем процессия, обогнув угол адмиралтейского вала, направилась к средним воротам дворца и вошла в них; факелы, по мере вступления в ворота, исчезали, и чрез несколько минут во дворилась прежняя темнота. Слуга воротился и объявил, что он пробежал до угла Адмиралтейства, но по приближении его уже ничего не было видно; между тем поднялся сильный ветер, сорвал с него шляпу и унес ее к набережной. Он побежал за нею, поймал уже близ берега Невы и пошел ко дворцу. Все было тихо. Часовые расхаживали у ворот. Слуга спросил у них, что это было за шествие с факелами и куда оно прошло. Часовые отвечали, что он бредит, что никакого шествия не было и чтоб он убирался поздорову. Тем это и кончи-

лось. Все, жившие в нашем доме, видели это странное явление, но никто не умел растолковать его. Разумеется, что впоследствии, когда случались необыкновенные политические происшествия, люди вздумали утверждать, что это видение было их предзнаменованием. Этому я не могу верить, но верю, что иногда являются нам призраки и видения наяву, как во сне.

- И точно вы это видели? - спросил Вышатин в недоумении.

- Точно! - отвечал Алимари. - Помню даже, что резидент описал это явление и заставил всех бывших в доме подписаться.

- Вот то-то и беда, - сказал Вышатин, - что эти письменные свидетельства обыкновенно пропадают, а остаются одни изустные предания, искажаемые в течение времени. Назовите мне чудесное происшествие, которое было бы подтверждено достоверным письменным свидетельством. Так нет!

- Извините, - прервал речь его пастор, - я могу служить вам подобным происшествием, которого действительность подтверждена формальным актом. Если угодно, я теперь

расскажу происшествие, а завтра покажу акт, хранящийся у меня в верной копии. Угодно ли послушать!

- Сделайте одолжение! - закричали все в один голос.

- Только мне трудно объясняться по-русски: позвольте прибегнуть к французскому языку, - сказал пастор, - да и тут извините в ошибках. Если б я мог говорить с вами по-шведски, то рассказ мой был бы живее и естественнее. Слушайте же!

Все придвинулись к рассказчику. Выштин усмехнулся и снял со свечи, чтоб лучше видеть физиономию повествующего.

VIII

- Карл XI, отец знаменитого Карла XII, был один из самых умных королей шведских. Он определил права и обязанности разных сословий шведского народа и дал государству своему многие полезные законы. Притом он был человек просвещенный, храбрый, набожный, твердый, хладнокровный и воображения отнюдь не пылкого. Он лишился супруги своей, Ульрики Элеоноры, и хотя при жизни обращался с нею сурово, но грустил о ее кончине,

более нежели как можно б было ожидать. С той поры сделался он еще угрюмее и молчаливее прежнего и искал развлечения своей скорби в непрерывных занятиях делами государственными. В один осенний вечер сидел он в халате и туфлях пред камином в кабинете стокгольмского дворца. При нем были камергер граф Браге, пользовавшийся особенною его милостию, и лейб-медик Баумгартен, человек умный, представлявшийся вольнодумцем: он хотел, чтоб люди не верили ничему, кроме медицины. Король сидел в этот вечер у камина доле обыкновенного и, склонив голову, смотрел в безмолвии на потухающие уголья. Граф Браге несколько раз напоминал королю, что пора ему успокоиться, но король движением руки заставлял его молчать. Врач, в свою очередь, стал было толковать, как вредно для здоровья сидеть за полночь. Король сказал ему вполголоса: "Не уходите; мне еще спать не хочется". Придворные начинали говорить о том, о другом, но разговор не завязывался. Граф Браге, полагая, что король грустит, вспоминая о своей супруге, посмотрел на портрет ее, висевший в кабинете-

те, и сказал:

- Какое сходство! И величие и кротость души ее видны в этом портрете.

- Вздор! - возразил король с досадою. - Живописец польстил ей: королева отнюдь не была так хороша собою! - Потом, как будто устыдясь своей горячности, он встал и начал прохаживаться по комнате, чтоб скрыть свое смущение. Вдруг остановился он у окна, идущего на двор. Ночь была самая темная. Луна не показывалась.

Нынешний королевский дворец в то время еще не был кончен, и Карл XI, начавший строение его, жил в старом дворце, на оконечности Риттергольма, вдающейся в Мелар. Огромное это здание расположено в виде подковы. Кабинет короля был в конце одного из флигелей, и почти насупротив его находилась большая зала, в которой собирались государственные чины для принятия предложений королевских.

В это время казалось, что окна этой залы освещены очень ярко. Король изумился и сначала полагал, что там ходит кто-либо из придворных служителей со свечою. Но как он

очутился в зале, которой давно уже не отпирали? Притом по необыкновенной яркости света нельзя было заключить, чтоб он происходил от одной свечи. Может быть, это пожар? Но не видно было дыму, окна не были выбиты; все было тихо; казалось, зала иллюминирована как для торжества. Карл несколько минут смотрел на освещенные окна, не говоря ни слова. Граф Браге протянул руку к колокольчику, чтоб позвать пажа и чрез него узнать о причине этого странного освещения, но король остановил его: "Я хочу сам пойти в залу", - сказал он. При этих словах он побледнел, и на лице его изобразился ужас, смешанный с благоговением. Между тем он твердым шагом вышел из кабинета. Камергер и врач последовали за ним, неся в руке по зажженной свече.

Смотритель дворца, у которого хранились ключи, уже спал в то время. Баумгартен разбудил его и приказал, именем короля, отпереть двери в залу государственных чинов. Изумленный смотритель оделся поспешно и явился к королю с связкой ключей. Сначала отпер он галерею, служившую переднею ком-

натою, или аванзалюю. Король вступил туда и с изумлением увидел, что все стены комнаты покрыты черным.

- Кто приказал обить таким образом эту залу? - спросил он гневным голосом.

- Не могу доложить, - отвечал испуганный смотритель, - в последний раз, когда я приказал вынести галерею, она, как и всегда, обита была дубом. Эти обои взяты, конечно, не из гардеробной вашего величества.

Король быстрыми шагами миновал уже большую часть залы. Граф и смотритель следовали за ним. Баумгартен поотстал: он боялся остаться один, боялся и следовать за другими.

- Не ходите далее, государь! - закричал смотритель. - Клянусь богом, тут водятся нечистые духи. В это время... со времени кончины ее величества королевы... Говорят, что она прохаживается по этой галерее. Помилуй нас, господи!

- Остановитесь, государь! - сказал граф. - Разве вы не слышите странного шума в этой зале? Кто знает, каким опасностям вы подвергаетесь!

- Всемиловитивейший государь! - прошептал Баумгартен, у которого ветром задуло свечу. - Позвольте мне по крайней мере привести сюда человек двадцать ваших трабантов.

- Войдем! - сказал король твердым голосом, остановившись у дверей большой залы. - Смотритель, отоприте поскорее эту дверь. - Он толкнул в нее ногою, и отголосок, повторенный эхом сводов, раздался в галерее как пушечный выстрел.

Смотритель дрожал и не мог ключом найти отверстие в замке.

- Старый солдат, а трусишь! - сказал король, пожав плечами. - Ну хоть вы, граф, отоприте эту дверь.

- Государь! - отвечал граф, отступив от двери. - Прикажите мне броситься на пушку датскую или немецкую, я буду повиноваться без замедления, но здесь действуют силы адские.

Король вырвал ключ из рук смотрителя.

- Вижу, - сказал он с презрением, - что дело касается меня одного!

И прежде, нежели приближенные могли удержать его, он отпер толстую дубовую дверь и вошел в большую залу с словами: "Да

поможет мне бог!" Спутники его, подстрекаемые любопытством, которое превозмогло в них боязнь, а может быть, и стыдясь оставить короля, вошли с ним вместе.

Большая зала освещена была очень ярко. На стенах старинные обои в лицах заменены были черным сукном. Вдоль по стенам стояли, как и прежде, добытые Густавом Адольфом трофеи, знамена врагов Швеции. Посреди их видны были и шведские штандарты, покрытые траурным крепом.

На скамьях сидело многочисленное собрание, четыре сословия государственные: дворяне, духовные, граждане и крестьяне - занимали свои места. Все были в черном одеянии; лица их светились при блеске, но король и его спутники не могли различить в этой толпе ни одного знакомого лица.

На возвышенном троне, с которого король произносит речи к собранию, лежал окровавленный труп в царском одеянии. По правую сторону стоял отрок с короною на голове, по левую - опирался на кресла трона другой человек или призрак в торжественной мантии, какую носили древние правители Швеции до

возведения ее Вазою на степень королевства. Перед тронем, за столом, покрытым большими книгами и пергаменными хартиями, сидели несколько человек важного и строгого вида в длинных черных мантиях; они казались судьями. Между тронем и этим столом находилась плаха, покрытая черным сукном; подле нее лежала секира.

Казалось, что никто из собрания не замечал Карла и троих его спутников. При входе в залу слышали они один смешанный шепот, в котором не могли различить ни одного явственного слова. Вдруг самый старший из судей, по-видимому, председатель, встал с своего места и трижды ударил рукою по большой открытой книге, пред ним лежавшей. В то мгновение водворилась глубокая тишина. Растворились двери, противоположные тем, в которые вошел Карл, и несколько молодых людей, в богатой одежде, вступили в залу. Они шли, подняв голову и гордо озираясь. Руки их связаны были назад; концы веревок нес дюжий человек в лосинном полукафтани. Пленник, шедший впереди, как казалось, важнейший из всех, остановился посреди за-

лы перед плахою и посмотрел на нее с выражением гордости и презрения. В это мгновение затрепетал труп, и из раны его полилась светлая багровая кровь. Молодой человек стал на колени и протянул голову на плаху. Секира сверкнула в воздухе и со стуком упала. Кровь ручьем пролилась до трона и смешалась с кровию трупа; отсеченная голова покатила по полу до ног Карла и обагрила их кровию.

Дотоле он молчал в изумлении, но при этом грозном зрелище выступил вперед и, обратись к человеку в мантии правителя, смело произнес:

- Если ты от бога, говори; если же не от бога, оставь нас в мире!

Привидение отвечало ему медленно, торжественным голосом:

- Король Карл! Эта кровь пролита будет не в твое царствование: но (это произнесено было не так явственно) чрез пять царствований. Горе, горе, горе крови Вазы!

В это время многочисленные лица собрания начали исчезать и вскоре казались одними тенями; мало-помалу они исчезли совер-

шенно, и свет, озарявший залу, потух. Свечами, бывшими в руках Карла и его проводников, освещались старые обои, легко колеблемые ветром. Несколько времени слышался легкий шум, подобный то шелесту листьев, то звуку струны, лопающей при настройивании арфы. Все это произошло минут в десять.

Черные обои, отсеченная голова, струи крови, обагрившие пол, - все исчезло с привидениями; только на туфле Карла осталось красное пятно, которое одно могло бы напомнить ему происшествия этой ночи, если б они не врезались глубоко в его памяти.

Возвратясь в кабинет, Карл приказал составить описание всего виденного им, велел своим спутникам подписать эту бумагу и сам скрепил ее своею подписью. Как ни старались скрыть существование этого акта, он вскоре сделался известным, даже еще при жизни Карла. Многие особы видели подлинник; у других есть засвидетельствованные копии.

Теперь вспомните смерть Густава III и суд над Анкарстремом, его убийцею. Труп представлял Густава III, казненный человек Анкарстрема; отрок есть Густав VI, нынешний

король, а старец - герцог Зюдерманландский, правитель королевства. Они теперь находятся в Петербурге. Не случится ли кому-нибудь увидеться с особами их свиты? Всякий швед подтвердит вам истину этого предания.

IX

Пастор умолк. Все смотрели друга на друга с недоумением. На лице Алимари появилась улыбка удовольствия.

- Очень обязан вам, почтенный господин пастор, - сказал он, - за сообщение этого анекдота; я слышал об нем в разные времена и от многих особ, но каждый рассказ противоречил другому, противоречил и самому себе. Людям не довольно того непонятного, что на самом деле случается: они стараются изукрасить слышанное и бессовестно искажают. Впрочем, господа шведы богаты такими историями. Я знавал за несколько лет пред сим в Неаполе шведского посланника, человека прелюбезного, преумного и образованного; он рассказывал мне также одно достойное любопытства событие. Он был статс-секретарем при покойном шведском короле Густаве III и пользовался особенною его милостию. Одна-

жды после обеда король призвал его к себе, отдал ему какую-то важную дипломатическую бумагу и приказал изготовить по ней исполнение непременно к докладу следующего утра. Граф отправился домой, написал требуемое, запер обе бумаги в ящик письменного стола и поехал на вечер, к приятелю.

Возвратясь домой около полуночи, он занялся приведением в порядок бумаг к завтрашнему докладу, но никак не мог найти бумаги, полученной от короля, и написанного им ответа. Он помнил, что положил их в ящик, но их ни там и нигде не было. Он разбудил жену свою, расспрашивал всех домашних; никто в его отсутствие не входил в кабинет, а бумаги исчезли. Ночь прошла в тщетных поисках. При наступлении утра граф, утомленный бдением и досадою, бросился в отчаянии в кресла, думая поехать к королю, объявить о несчастном случае и просить прощения в неумышленном проступке. К нему подошел его управитель, помогавший искать бумаги, человек добрый и честный.

- Смею ли предложить вашему сиятельству средство к отысканию бумаги, средство

несомненное? - сказал он с робостью.

- Какое? - спросил граф с нетерпением.

- Извольте посоветоваться с ворожеею. Я знаю такую женщину; она чухонка и чудесно ворожит на картах и на кофе.

Граф, ожидавший ответа поумнее этого, хотел было выразить свое негодование на глупое предложение управителя, но в это время утренний луч проник сквозь занавесы и осветил стенные часы; стрелка стояла на половине четвертого: в шесть часов надлежало явиться к королю. Утопающий хватается и за соломинку. "Что ж? - подумал граф. - Хуже от этого не будет, бумага пропала, и чем черт не шутит! Может быть, ворожея и выведет из беды". Он объявил жене, что хочет после ночных беспокойств прогуляться на свежем воздухе, зашел к управителю, надел его старый сюртук, поношенную шляпу и сероватый галстук и отправился по данному ему адресу. Вошед в комнату ворожеи, он назвался простым мастеровым и просил ее объявить ему, где можно найти вещь, им затерянную. Старуха посмотрела на него с усмешкою и сказала: "Полноте обманывать меня, ваше сиятельство-

ство! Вы граф **** и хотите знать, куда девалась какая-то бумага: она завалилась за ящик вашего стола; выдвиньте ящик, и найдете ее". Граф дал ей червонец, возвратился домой, вынул ящик из стола, и обе искомые бумаги упали к его ногам. Можете вообразить себе, как он обрадовался! К назначенному времени явился он к королю и поднес доклад. Король был очень доволен его работою, но заметил, что граф бледен и кажется нездоровым, будто не спал ночь. Граф признался ему во всем и рассказал странное приключение. Густав III, человек воображения пламенного и поэтического, захотел сам видеть эту ворожею и условился с графом посетить ее того же вечера.

В назначенный час король и граф оделись в простое платье и пошли к Сибилле. При вступлении короля в комнату она вмиг его узнала и приветствовала с должным почтением. Напрасно он уверял ее, что она ошиблась. По желанию короля, она разложила на столе карты и сказала ему, что он погибнет в большом собрании и что виновником его смерти будет первый человек, который встретится с ним сегодня вечером в красном плаще

(тогдашняя мода). Густав щедро одарил воровою и с любимцем своим отправился домой. Дорогою встречалось им много людей, но не было красного плаща. Когда они уже приблизились ко дворцу, вышел из дверей нижнего яруса человек в красном плаще. Король и граф взглянули ему в лицо и узнали любимца королевского - камергера графа Л. Всем известна была его преданность и любовь к государю; все знали, что он по малейшему мановению короля готов жертвовать для него жизнь, не менее того; Густав с той минуты стал его убегать, начал удалять его от себя и, желая сделать ему пребывание у двора неприятным, иногда поступал с ним несправедливо. Это незаслуженное гонение тронуло и огорчило графа. Сначала старался он усугублением своего усердия и ревности к службе короля возвратить его благоволение; но видя, что все старания его напрасны, пристал к оппозиции и, почитая себя обиженным, сделался явным противником правительства. Известно, что Густав III умерщвлен был в маскараде: убийца его, Анкарстрем, при допросах объявил, что к исполнению этого гнусного замысла

преимущественно побудили его жалобы и толки графа Л.

- Любопытно! - сказал пастор.

- Странно! - прошептал Хвалынский.

- Не совсем странно, - сказал Алимари, - ворожея могла наудачу назвать человека в красном плаще; суеверие и боязнь короля сделали остальное.

- Все же остается нерешенным, как эта ворожея могла предсказать другие обстоятельства, - возразил Вышатин. - То есть, - прибавил он с улыбкою, - если правда то, что вам рассказывал граф.

- Не могу сомневаться в истине его слов: он человек честный и правдивый. Ныне он живет в России; вы, может быть, с ним где-нибудь сойдетесь; спросите у него об этом случае, и он охотно повторит вам то, что вы от меня слышали.

- После этого, - вскричал Хвалынский, - не верь ворожеям!

- Вздор! - подхватил Вышатин. - Я ничему этому не верю и опять обращаюсь к вам, почтеннейший Петр Антонович! Скажите, не смешно ли верить предсказателям? Как могут

эти люди презирать в будущее, как могут они узнавать то, что еще не свершилось, что таится в душе человека? Да и не безрассудно ли узнавать будущее, которое сокрыто от нас премудрым Провидением, лишать себя надежды и очарований, заранее готовить себя к неотвратимым бедствиям?

- Вот это другое дело! - отвечал Алимари. - Не должно давать воли своему любопытству; должно в безмолвии и уповании на благость Промысла с покорностью и терпением ожидать того, что нам суждено, - это так. Но отвергать то, что некоторые люди имеют способность по чертам и выражению вашего лица, по вашему голосу, даже по тону вашего вопроса и еще по каким-то приметам, в которых, может быть, они и сами отчета себе дать не могут, узнавать, кто вы, что с вами случилось, следственно, отчасти и то, что еще случиться может, - это возможно, это существует. Это какой-то инстинкт, какое-то чутье; в Шотландии оно называется вторым зрением. Позвольте мне в свидетельство этого прочесть вам несколько строк, продиктованных одному моему приятелю знаменитым критиком

Лагарпом. Они, по случаю, находятся в моей записной книжке.

Все изъявили свое согласие. Алимари вынул из записной своей книжки бумагу и прочитал следующее:

"В начале 1788 года обедал я в Париже у одного умного, любезного вельможи, бывшего в то время членом французской Академии. Обед был сытный, вкусный, роскошный. Многочисленное общество состояло из вельмож, дам, придворных, академиков, литераторов, артистов. Все были веселы и разговорчивы. За десертом отборные вина еще увеличили шумную радость. Шанфор прочел к общему удовольствию одну из своих вольных и безбожных сказок. И знатные дамы слушали его, не закрываясь опахалом. Это подало повод к бесконечным насмешкам над религиею: один читал стихи из Вольтеровой поэмы, другой приводил любимые места из Дидерота. Все им рукоплескали. Третий, встав с своего места и подняв полную рюмку, возгласил: "Господа! Я так же уверен в несуществовании бога, как в том, что Гомер был дурак!"

Потом разговор сделался серьезнее. Собе-

седники стали рассуждать о преобразовании, произведенном творениями Вольтера, и согласились, что он заслужил этим бессмертную славу. Он образовал свой век, он нашел читателей и в гостиных, и в передних. Один из гостей, задыхаясь от смеху, рассказал нам, что парикмахер его, пудря ему голову, объявил: "Извольте видеть, сударь, я бедный ремесленник, но такой же безбожник, как и все умные и благородные люди".

Все заключили, что революция непременно последует, что суеверие и фанатизм должны уступить место философии; рассчитывали, скоро ли это должно случиться и кто из собеседников увидит владычество разума. Старики жаловались, что они не доживут до вождя времени, молодые восхищались, что для них наступят дни блаженства; все превозносили Академию за то, что она приготовила великое дело, что была средоточием, главным орудием свободы мыслей.

Один из гостей не принимал участия в общем восторге и даже подшучивал над собеседниками - то был Казотт, человек любезный и умный, но, к сожалению, зараженный меч-

таниями иллюминатов. Наконец обратился он к собранию и сказал нешуточным тоном: "Радуйтесь, господа! Вы увидите эту великую и знаменитую революцию, которой дожидаться не можете. Вы знаете, что я имею дар предсказания. Поверьте мне, вы ее увидите". Ему отвечали, что на это не надо большой мудрости. "Согласен, - отвечал он, - но выслушайте меня до конца. Знаете ли, что будет во время этой революции, что будет со всеми вами, какие неизбежные последствия произойдут от нее?" - "Скажите, скажите! - вскричал Кондорсет, с хохотом угрюмым и бессмысленным. - Философ охотно столкнется с пророком." - "Вы, господин Кондорсет, умрете на полу темницы; вы умрете от яда, который примете сами, чтоб избежать рук палача, от яда, который в то счастливое время всегда будете носить с собою".

Все изумились сначала, но, вспомнив потом, что добрый Казотт иногда бредит наяву, захохотали громче прежнего. "Господин Казотт, - сказал Кондорсет, - эта сказка не так забавна, как ваш "Влюбленный черт"! Но кой черт всадил вам в голову темницу, яд и пала-

чей! Что тут общего с философиею и царством рассудка?" - "Именно так! Вам придется так умереть именем философии, человечества и свободы, во время владычества разума. Тогда разум будет иметь свои храмы, и других храмов во Франции не будет". - "Бьюсь об заклад, - сказал Шанфор с своею язвительною усмешкою, - что вы не будете жрецом в этих храмах!" - "Надеюсь. Но вы, господин Шанфор, вы будете достойным жрецом этого божества: вы нанесете себе двадцать две раны бритвою по жилам и умрете чрез несколько месяцев после того".

Все посмотрели друг на друга и засмеялись пуще прежнего. "Вы, господин Вик д'Азир, не сами отворите себе жилы, но велите пустить себе кровь шесть раз в день в припадке подагры и умрете в следующую ночь. Вы, господин Николай, погибнете на эшафоте; вы, господин Бальи, на эшафоте; вы, господин Мальзерб, на эшафоте". - "Ну, слава богу! - воскликнул господин Руше. - Кажется, что господин Казотт хочет только извести Академию, а нас помиловает". - "И вы погибнете на эшафоте". - "Он побился об заклад, - воскликнули со всех сто-

рон, - он поклялся погубить всех нас". - "Нет! Поклялся не я". - "Так нас покорят турки или татары?" - "Нет! Я уж сказал вам: тогда вы будете управляемы одним разумом, одною философию. Так злодейски поступят с вами философы: палачи ваши будут твердить то самое, что вы твердите теперь; будут повторять ваши правила; будут приводить места из Вольтера".

"Разве вы не видите, что он с ума спятил?" - говорили гости друг другу на ухо. "Нет! Он шутит, а вы знаете, что он любит приправлять свои шутки чудесным". - "Да, - сказал Шанфор, - только это чудесное отнюдь не забавно". "А когда все это случится?" - "Прежде истечения шести лет". - "Довольно чудес, - сказал Лагарп, - а что вы ничего не скажете обо мне?" - "С вами сбудется чудо необычайное: вы тогда сделаетесь христианином". Все захохотали. "Ах! сказал наконец Шанфор. - Теперь я спокоен: если нам суждено погибнуть не прежде того времени, как Лагарп делается христианином, - мы бессмертны".

"Как же счастливы мы, женщины, - при- молвила герцогиня де Граммон, - что не при-

нимаем участия в революциях. Правда, мы иногда и вмешиваемся в политику, но отвечают другие". - "Ваш пол, сударыня, на этот раз вам не защита, и, хотя б вы ни во что не вмешивались, с вами будут поступать точно так, как с мужчинами, без всякого различия". - "Да что вы это нам толкуете, господин Казотт, преставление света, что ли?" - "Не знаю. Знаю только то, что вас, герцогиня, повезут на казнь, так же как и многих других дам, на телеге, связав руки назад". - "Ах! Я надеюсь, что в этом случае будет у меня, по крайней мере, карета, обитая черным сукном". - "Нет, сударыня! Дамы и познатнее вас поедут, как вы, на телеге, со связанными руками". - "Знатнее меня? Кто же это? Принцессы крови?" - "Еще знатнее!" При этих словах гости вздрогнули, и хозяин поморщился. Все находили, что шутка выходит из пределов. Госпожа де Граммон, желая разогнать тучу, перестала спрашивать объяснения и сказала самым легким тоном:

"Вы увидите, что он не даст мне и духовника". - "Нет, сударыня! Ни у вас, ни у кого не будет духовника. Последний из казненных, которому по милости дадут духовника, будет..." -

Он остановился на минуту. "Ну, кто ж счастливец, которому дадут это преимущество?" - "Одно это ему и останется. Счастливец этот - король французский".

Хозяин дома поспешно встал с своего места, а за ним и прочие. Он подошел к господину Казотту и сказал ему с беспокойством: "Любезный Казотт! Прекратите эту страшную шутку. Вы выходите из границ и можете наделать неприятностей всем нам". Казотт не сказал ни слова и готовился уйти, но госпожа де Граммон, старавшаяся обратить весь этот разговор в шутку, подошла к нему и сказала: "Господин пророк! Вы предсказали всем нам судьбу нашу. Что же вы ничего не говорите о самом себе?" Он потупил глаза и, помолчав несколько времени, спросил:

"Читали ль вы, сударыня, Иосифово описание осады Иерусалима?" - "Как не читать! - отвечала она. - Но положим, что не читала". - "Во время этой осады один человек семь суток ходил по городской стене в виду осаждающих и осажденных и непрерывно восклицал громким и плачевным голосом: "Горе Иерусалиму!" В седьмые сутки он воскликнул: "Горе

Иерусалиму, горе и мне!" В это самое мгновение огромный камень, брошенный из стана неприятельского, поразил и разможил его". После этого ответа Казотт поклонился и вышел".

Прочитав бумагу, Алимари сложил ее и, спрятав в карман, сказал:

- Все, предсказанное Казоттом, к несчастью, сбылось в точности.

- А кто был этот Казотт? - спросил Вышатиин. - Я читал некоторые его сочинения, но о нем самом не слыхал.

- Он был человек умный, образованный, но при том слишком предавался влечению своего воображения. Так удивительно ли, что он мог предвидеть некоторые события, случившиеся потом в самом деле? Впрочем, может быть, и господин Лагарп, составляя описание после происшествий, разукрасил истину в пользу и удовольствие читателей. Но мы говорили с вами о наших обыкновенных колдуньях. Вспомните о том, что все ворожеи, кофейницы и тому подобные чародейки обыкновенно суть женщины, женщины простые, грубые, необразованные. Как же вы хотите,

чтоб они могли располагать этою внутреннею силою, употреблять ее к изумлению людей умных и просвещенных?

- Именно потому они и располагают этою силою, - отвечал Алимари. Способность эта есть не искусственная, не приобретенная, а, как я уже сказал, какое-то врожденное чувство, чутье. Вы согласитесь, что воображение у женщины живее и пламеннее, нежели у мужчины; что образование и общежительность обогащают ум наш познаниями и опытами на счет и ко вреду наших природных способностей. Можем ли, например, мы, европейцы, бегать так быстро, как дикие американцы? Зато мы танцуем балеты. Так точно Державин пишет вдохновенные стихи, а на-супротив его дома, на грязном чердаке, безобразная чухонка или жидовка предсказывает людям судьбу их: вот две поэзии - две натуры человека! Жаль, что нынешние пифии наши большею частию твари корыстолюбивые, безнравственные, а любопытно было бы исследовать в них эту способность. Если кто хочет истинно позабавиться и подивиться, тому советую спросить у такой ворожеи о прошедших

случаях своей жизни - он изумится.

- И после этого вы еще объявите нам, что верите астрологам? - спросил насмешливо Выштин.

- Не астрологам, а астрологии, - отвечал Алимари серьезно. - Согласитесь, что земной шар получает жизнь свою, жизнь всего растущего, живущего, чувствующего на нем, - от Солнца, что расстояние Земли от Солнца, угол падения на нее лучей его, свойство отражения этих лучей - все это действует на Землю, что Луна подвержена влиянию Земли и в то же время сама действует на нее, хотя и слабее, как грудной младенец действует на свою мать, что Солнце подвержено влиянию на него других солнцев, других солнечных систем; следственно, и Земля подчинена влиянию звезд неподвижных, комет и планет, как человек подчинен влиянию людей, его окружающих. Следственно, есть такая наука, которая показывает действие светил небесных на нашу песчинку; но мы, по ограниченности средств своих, по кратковременности наблюдений, сделанных нами, не знаем еще и азбуки ее. Думаю, что в древние, так сказать, дев-

ственные времена мира, когда человек уподоблялся распускающемуся на заре утренней цветку, упивающемуся небесною росой, людям не чуждо было сознание сих великих таинств природы, но оно исчезло. Из сохранившихся в свете немногих преданий, лжемудрецы и обманщики составили безобразную систему, преисполненную мудрований, то есть глупостей человеческих, и эта система называется астрологиєю. По моему мнению, есть только три источника познаний наших: откровение божие, изучение природы и познание нашего сердца. Все, что не основано на одном из этих начал, есть мечта и обман!

- Воля ваша, - сказал Вышатин, - а я верю только своим глазам и истинам математическим. Вижу, что огонь пылает в этом камине, и говорю: это огонь. Вижу, что тут лежат четыре полена, и знаю, что их не три и не пять. Вот и все!

- Немногим же вы довольствуетесь, - отвечал с улыбкою Алимари. - В Павии был у меня товарищ, молодой, любезный и образованный человек, но так же, как вы, математик, и хотел верить только тому, что видит. Тщетно

старались мы убедить его умственными доводами, что есть в мире нечто очевиднее видимого, истиннее истин математических. У него умерла любимая сестра, и эта потеря, ужасная, неожиданная, повергла его в отчаяние. Мы старались успокоить его доводами рассудка, боясь коснуться струн, в существование которых он не хотел верить. "Нет! - вскричал он. - Все это пустые бредни слабого ума! Сердце мое говорит, что есть бог и бессмертие души; есть святые истины, недостижимые уму и только в сердце нашем находящиеся отголосок. Не прах и тление, оживленные каким-то механическим движением, составляли мою Карлотту - нет - это был дух небесный, скованный плотию и теперь разрешившийся от бранных уз своих. Карлотта! Ты жива, и я тебя увижу?" Не желаю вам, почтенный друг, подобного испытания, но уверен, что вы не долго будете упорствовать за истины математические.

- Да к чему поведет все это? - спросил Выштин. - К глупому суеверию!

- Кстати о суеверии, - сказал Алимари, вынимая из записной книжки своей еще одну бумажку, - я выписал из одной французской

книги несколько слов об этом предмете. Позвольте прочитать вам их и потом скажите мне ваше мнение.

"Мы смотрим в свете на суеверие только с смешной его стороны, но оно пустило глубокие корни в сердце человеческое, и та философия, которая не принимает его в соображение, заслуживает наименование поверхностной и дерзновенной. Природа создала человека не отдельным существом, осужденным единственно на возделывание и население земли и имеющим с подобными себе только те сношения неизменные и бездушные, которые рождаются одною необходимостью. Есть важные соотношения и взаимные действия между всеми существами нравственными и физическими. Нет человека, который, блуждая взорами по беспредельному горизонту или прогуливаясь по берегу моря, омываемому пенистыми волнами, или же поднимая глаза на твердь небесную, усеянную звездами, не чувствовал бы волнения, которое описать или определить невозможно. Кажется, будто некие голоса сходят с высоты небес, низвергаются с вершины утесов, шепчут в

шуме водопадов и в шелесте лесов, исходят из глубины пропастей. Есть нечто пророчественное в тяжелом полете ворона, в унылом вопле птиц ночных, в отдаленном рыкании диких зверей. Все, что не образовано искусством, все то, что не подвержено прихотливому владычеству человека, отвечает его сердцу. Безмолвны только те вещи, которые он устроил для своего употребления. Но эти самые вещи приобретают таинственную жизнь, когда время истребит их полезность. Разрушение, касаясь их могучим перстом своим, восстанавливает соотношение их с природою. Новые здания безмолвствуют; развалины красноречивы. Весь мир говорит человеку языком невыразимым, раздающимся в глубине его сердца, в части его существа, неизвестной ему самому и равномерно действующей и мыслию, и чувством. Не должно ли заключить, что это стремление видимой природы в недра человечества имеет значение таинственное? Неужели сей внутренний трепет, в котором проявляется скрытое от нас в жизни обыкновенной и вседневной, не имеет ни причины, ни цели! Один разум этого, конечно, объяс-

нить не может. При свете разума это непостижимое существо исчезает. Но поэтому оно и есть достояние поэзии. Расцвеченное воображением, оно находит во всех сердцах струны, ему соответствующие. Гадание судьбы по звездам, предсказания, сновидения, предчувствия, эти мрачные тени будущего, витающие вокруг нас, известны всем странам, всем векам, всем верованиям. Кто из людей, предпринимая что-либо великое, не прислушивается к тому, что он почитает гласом судьбы! Всяк, в святилище мысли своей, толкует сей голос, как умеет и как может, но всяк молчит об этом в беседе с другим, ибо нет слов для выражения другому того, что существует только для одного человека".

- Прекрасно, - сказал Вышатин, - но откуда это выписано? Это составил какой-нибудь престарелый мечтатель, какой-нибудь автор мелодрамы!

- Ошибаетесь, - отвечал Алимари, - это выписал я из диссертации одного молодого швейцарца, обучавшегося лет за десять пред сим в Брауншвейгском коллегииуме. Этот молодой человек после того сделался известным

сочинениями своими в другом роде, и если вы о нем не слыхали, то конечно услышите.

- Имя его?

- Бенжамен Констан де Ребекк!

Х

- Бенжамен Констан! - воскликнул Выштин. - Я недавно читал книжку, написанную им о нынешней политике. Видно, что человек умный. И он может иметь такие понятия о суеверии! Впрочем, я придерживаюсь правил совершенной свободы мыслей: пусть другие верят чему хотят, только бы меня оставили в покое. Между тем, прошу вас, господа, не почитать меня вольнодумцем: сохрани боже! Есть у меня роденька; ты знаешь его, Хвалынский!

- Как не знать!

- Вот детина! Что ваш Вольтер! Как начнет разбирать Библию или Четьи-Минеи, так и у меня волос дыбом становится. Я несколько раз пытался его образумить или, по крайней мере, усостыжить, чтоб он не сбивал с толку молодежи! Куда! Вот этого уж никто в мире не убедит.

- А может быть, и очень вероятно, что он

убедится сам, - сказал Алимари, и со временем сделается...

- Истинным христианином? Никогда! - воскликнул Вышатин.

- Нет! Не христианином, - возразил Алимари, - а фанатиком, изувером, инквизитором, иступленным гонителем всех иначе мыслящих. Помяните мое слово. Я знавал многих ревностных членов инквизиции в Италии и в Испании и старался получить сведения о прежних их свойствах и образе мыслей. В молодости своей они почти все были вольнодумцами и безбожниками. Вы, конечно, слышали об изверге Лебоне, этом чудовище из чудовищ французской революции, превзошедшем своими неистовствами и холодными злодеяниями и Робеспьера, и Фукие-Тенвиля? Я знавал его в молодости: он учился в семинарии оратористов и отличался иступленною приверженностью к католицизму.

- Вы знали Лебона? - спросил Вышатин с недоумением.

- Знал, - отвечал Алимари, - на пути из Англии во Францию в осьмидесятых годах остановился я в Аррасе, по болезни, и, выздоров-

ливая, познакомился с некоторыми профессорами тамошней семинарии. Они указали мне Лебона, как необыкновенного человека, обещающего много для наук и католицизма. В прошлом году также по странному стечению обстоятельств мне случилось быть в Париже и видеть его совершенно в ином положении.

- Вы были в Париже? И недавно? - воскликнули все в один голос.

- Был!

- Ну что, как вы думаете, чем кончатся все эти волнения во Франции, спросил Вышатин, - восстановится ли трон Бурбонов или удержится республика?

- Это решить трудно, - отвечал Алимари, - притом же я прожил в Париже не более четырех дней. Расскажу вам только, что я видел. Я жил в улице неподалеку от Гревской площади. Однажды утром, это было 13-го вандемьера, ровно за год перед сим, сидел я за газетами в моей комнате. Вдруг необыкновенный шум на улице заставил меня подойти к окошку. Вижу большое стечение народа, пикеты национальной гвардии; чего-то ждут; взоры всех обращаются в один конец улицы; восста-

ет шепот, возвещающий о приближении ожидаемого, и вот появляется везомая тощими лошадьми тележка: на ней сидят приговоренные к смерти - человек пять. При появлении их раздались громкие, радостные восклицания народа. "Вот он! кричат со всех сторон. - Вот кровопийца, тигр, дьявол! Вот Лебон! Смерть извергу!" Всматриваюсь в преступников и в одном из них узнаю Лебона, виденного мною лет за тринадцать пред тем в аррасской семинарии. Он тогда был бледен от постов и напряжения умственных сил; ныне же на синеватом, красными пятнами покрытом лице его изображались адские муки отчаяния. Тележка проехала мимо окна, но я не мог забыть ужасного зрелища. Страшные помыслы волновались в уме моем. Вдруг слышу пушечные выстрелы. Это что? Вбегает привратница и объявляет мне, что жители многих частей города (les sections) взяли оружие и пошли против национального конвента, что жестокое сражение происходит близ Пале-Рояля. Я оделся наскоро и пошел на позорище битвы. Главное дело уже кончилось. Важнейший пост граждан, у церкви

св.Рока, был сбит. На паперти стоял командовавший войсками конвента генерал с своим штабом. Я протеснился до самых ступеней, взглянул на этого генерала, и какой-то неизвестный мне трепет пробежал по всему моему телу: такой физиономии не случилось мне видеть от роду. Не трудно мне было узнать в нем земляка, италиянца, и еще уроженца того острова, с которого римляне не хотели брать рабов в услугу свою. Невысокого роста, довольно нескладный, худощавый, бледный молодой человек, скрестив руки, стоял на паперти, в красном генеральском мундире, с висящими по вискам длинными волосами; небольшая шляпа надвинута была на глаза, каких я не видывал и, вероятно, не увижу. Одни глаза эти показывали внутреннее волнение; они одни начальствовали, одни управляли всеми движениями; они наводили непостижимое очарование на всякого, кто попадал в их волшебный круг. Я не мог свести с него взоров. Какое во всем спокойствие! Какая уверенность! И если б не выражение глаз, эта фигура казалась бы неподвижным памятником веков минувших. К нему беспрерывно

подъезжали и прибегали за приказаниями; он отвечал отрывисто, но определительно. Все обращались к нему с выражением глубокого почтения; народ, буйный народ парижский, стоял в безмолвии. Вдруг раздались голоса: "Посторонитесь! Дайте место представителю народа!" Толпа расступилась, и на паперть вошел человек в трехцветном шарфе. Он приблизился к генералу и хотел ему что-то сказать, но этот посмотрел на него с выражением презрения, обратился к своему адъютанту с словами: "Еще пушку на угол Сен-Никеза! - потом вскричал: - Лошадь! - вспрыгнул на нее и с словами: "За мною! " - умчался по улице Сент-Оноре. Все последовали за ним взорами; в толпе раздавались шепотом восклицания, которыми французы изъявляют свое изумление и удовольствие. "Этот или никто, - подумал я, - этот или никто будет властителем Франции, если только какая-нибудь пуля не остановит его на пути".

- Как! - воскликнул Вышатин. - Королем французским?! Да это дело невозможное. Все клялись...

- Королем, диктатором, императором - все

равно, только верховным и неограниченным властелином. Присяга французской толпы ничего не значит: сегодня присягнут Петру, а завтра Ивану. Предчувствие мое сбывается. Кампания нынешнего лета доставила бессмертие моему кандидату. Монтенотти, Лоди, Арколе...

- Так этот генерал... - прервал его Вышатин.

- Наполеон Бонапарте, - отвечал Алимари.

Разговор обратился с мечтательных предметов на существенные, с привидений на полководцев, с грез на политику. Кемский в этой беседе не принимал участия ни словом, ни мыслию. Он носился в обыкновенной своей области мечтаний и воздушных видений. Наконец он нашел человека, и человека образованного, который не отвергал возможности сношений души человеческой с миром, ей сродным, с миром духовным. Он смотрел с уважением и любовью на прекрасного, умного, глубокомысленного, чувствительного старца, в котором представлялся ему идеал мудреца - не исступленного Фауста, упорно силящегося расторгнуть пределы человеческих способностей, но тихого изыскателя веч-

ных истин, преисполненного веры и благоговения к неисповедимому Промыслу.

Подали ужин, не затейный, сельский, приправленный отборными винами, которые сибарит Вышатин успел выписать из Петербурга. Кемский не ужинал, а смотрел на других. Вышатин и Хвалынский ели, как молодые здоровяки; пастор - с выражением истинного удовольствия пил вкусное вино; художник ел и пил много, но без разбору и после бургонского потребовал квасу со ржаным хлебом. Алимари съел ломтик белого хлеба и выпил рюмку красного вина. Вышатин поднял бутылку шампанского и хотел напенить его бокал.

- Опять хотите принуждать меня, - сказал, улыбаясь, Алимари, - и я опять принужден буду отнекиваться неучтиво. В мои лета всякое излишество отнимает часть жизни, а мне хотелось бы пожить еще несколько лет - по крайней мере, чтоб увидеть, сбудется ли предсказание мое о молодом французском генерале.

После ужина все раскланялись. Пастор, Алимари и художник отправились к себе, а

молодые друзья расположились ночевать в одной комнате.

Кемский долго не мог уснуть. Взошла полная луна и томным лучом своим осветила комнату с пиитическим ее беспорядком. Желтеющие листья лип и берез под окнами дома казались позолоченными, изредка пролетал в ветвях осенний ветерок, и унылый шум их проникал в комнату. Но это были картины только существенного мира: никакой призрака не потревожил нашего юного мечтателя наяву, и вскоре перенесся он в собственный мир фантазий.

XI

Яркий луч утреннего солнца разбудил Кемского. Друзья его еще спали глубоким сном. Он встал потихоньку, оделся, взял шляпу и вышел из дому. Сам не зная куда, побрел он по двору пономаря, повернул направо к красивому домику, в котором ставни были еще заперты, сделал еще несколько шагов и вдруг очутился посреди самой очаровательной картины, на вершине горы, склоняющейся легкою отлогостью к живописному озеру, окруженному сизыми горами. Разноцветные

деревья в самых прелестных отливах, от темно-зеленой сосны до позлащенной осенью березы, смотрелись в тихой воде, поднимаясь уступами на отлогостях; в других местах берег был крутой и обрывистый. Над горами и деревьями стоял прозрачный туман, над туманом сияло солнце. Никто не прерывал глубокого молчания. Кемскому казалось, что он стоит над одним из озер дикой Канады. Он начал спускаться вниз по дорожке, проложенной к озеру. На каждом шагу виды переменялись. Когда он был на половине горы, раздались на ее вершине унылые звуки флейты. Трепет пробежал по его жилам. После быстрой прелюдии послышалась какая-то прелестная мелодия, дышавшая сладостью и нежностью стран южных, не искусственная, имевшая характер народной песни, унылой и выразительной. Жалобные тоны, сначала звонкие, стали мало-помалу утихать и замолкли в пустыне; чудилось, что тихий воздух легким навеванием отвечает умирающим звукам, и совершенная тишина по-прежнему водворилась над озером. Кемский долго еще стоял на одном месте и прислушивался,

не будет ли продолжения. Нет! Все было тихо. Он медленно пошел далее и приблизился к краю пустынного озера, гладкого, как поверхность чистого зеркала. Вправо от дороги, на выдавшемся в воду утесе увидел он сидящего человека и вскоре узнал в нем вчерашнего артиста. Кемский подошел к нему и увидел, что он снимает на бумагу вид озера, посматривает на прелестный ландшафт холодно и беспечно, а на работу свою с приметным удовольствием, которое иногда превращалось в порывистые восторги, выражаемые громкими восклицаниями. Вчера был он тих, скромн, молчалив, при каждом слове запинался, ни разу не забывал примолвить к ответам: "Ваше сиятельство", а ныне сделался бодр, смел и, завидев князя, вскричал с радостью:

- Вот умно, что вы встали поране и догадались выйти на озеро! Вся петербургская губерния не стоит этого укромного местечка! Что за переливы цветов! Какие группы дерев!

- А это прекрасное место, конечно, не стоит вашей картины? - спросил Кемский, ожидая, что художник не примет этой хвалы и скромно отдаст преимущество природе. Не тут-то

было.

- Разумеется! - вскричал он. - Ну что здесь важного! Несколько сот бочек стоячей воды, земля, грязь и камень; кое-где сосны, ели и березы - все это, правда, освещено, но не везде как должно. А картина - это дело другое. В натуре случайное слияние предметов - на картине обдуманное, рассмотренное со всех сторон, отделанное в малейших подробностях целое! - Засим полился еще длинный ряд сравнений искусства с природою, ко вреду последней. Кемский, видя, что художник упрямо стоит в своем мнении и никак не хочет переменить его, перестал спорить. Между тем солнце поднялось выше, туман над водою исчез, и все предметы озарились ярким дневным светом.

- Вот видите, сударь, что значит ваша природа! - сказал Бериллов. - Куда девалась прекрасная картина осеннего утра? Пропала, может быть, надолго. Чего доброго, завтра набегут тучи, польется дождь, а там, не успеешь оглянуться, и зима; озеро это превратится в гладкую степь, между тем как моя картина... - Он посмотрел на свой эскиз с родительским

чувством, почти сквозь слезы. Вдруг задумался, бросил взгляд на озеро, потом на бумагу, взял карандаш и начал поправлять. Кемский долго стоял и смотрел на работу, но живописец не видал и не слышал его, работал присвистывая. Через несколько времени опустил он левую руку в карман широкого сюртука, вытащил ломоть черствого хлеба, начал грызть его, не прерывая работы, и только по временам сдувая хлебные крошки, сыпавшиеся на бумагу. Сам он мог бы служить прекрасным образцом для живописца: в глазах блистало вдохновение, на устах изображалась улыбка; иногда являлось на них выражение боязни и недоумения, но и эта тень исчезала пред лучом, излетающим из глаз.

Наш мечтатель глядел на него с участием и удовольствием: лицо артиста казалось ему знакомым; он где-то видал эти глаза, этот рот - но давно, очень давно. Наконец живописец произнес громко: "Довольно!", посмотрел еще раз на озеро, потом на свою работу, вздохнул, свернул бумагу и весь прибор, встал и хотел идти. Вдруг увидел он князя:

- Ах, ваше сиятельство! Вы изволили быть

здесь - извините-с... ей-богу, не заметил. Виноват, кругом виноват, а я так заработался.

- Пойдемте к нашему больному, - сказал Кемский, - он, чай, уж давно встал.

- Как прикажете-с... в самом деле-с... - отвечал Бериллов, кланяясь, и они пошли обратно на гору, в постоянный дом. Вышати́на и Хвалынского застали они за чаем.

Первым предметом разговора их было воспоминание о приятном вечере накануне.

- Скажи, пожалуйста, Вышати́н, - спросил князь, - кто этот Петр Антонович Алимари? Этот человек очень меня интересу́ет.

- Право, не знаю, - отвечал Вышати́н, - он появился здесь за неделю пред сим, остановился у пономаря, ходил с флейтою в кармане по горам и по болотам, собирал редкие растения; узнав, что я лежу здесь больной, один и скучаю, он посетил меня как соседа. Нога моя в то время жестоко болела. Алимари, случась однажды при перевязке, доказал лекарю, что он не так меня лечит, советовал бросить все его мази; сам нарвал в болоте каких-то трав, сделал из них припарку и приложил к больной ноге. На другой же день я почувствовал

облегчение, и с тех пор нога стала заметно поправляться. Вчера переменял он травы и сказал, что дня через три можно будет выйти и отправиться в город.

- Стало, он врач! - сказал Хвалынский.

- И я то же думал, - отвечал Вышатин, - но он объявил мне, что никогда врачом не был, а занимается исследованием природы из любви к наукам и имеет несколько важных, но простых рецептов, собранных им на путешествиях по всем странам света. По прозвищу своему он италиянец, но, кажется мне, родился в России. Впрочем, мне совестно было допытываться подробнее. Довольно того, что он человек добрый, умный и образованный.

- И знаток в художествах, - прибавил Бериллов, - я видел у него картину, мадонну Карлина Дольче: он возит ее с собою не в раме, а в деревянном ящичке редкая вещь! Он глядит на нее по часам и плачет - так сказывала мне служанка пономаря. Конечно, он и сам художник, когда так хорошо понимает и чувствует искусство.

- Может быть, - сказал Вышатин, - но в нем всего для меня приятнее нрав его, кроткий,

ровный, любезный. Он иногда бывает в необходимости противоречить другим и делает это с большою пощадою и скромностью. Однажды только, в продолжение дней десяти нашего знакомства, заметил я необыкновенное в нем волнение. Мы беседовали о здешней северной природе, о чудесных ее границах, о прекрасных озерах, о живописных видах. Пастор заметил мимоходом, что, по мнению некоторых геологов, Финляндия получила настоящий свой вид от землетрясения. При этом слове Алимари побледнел и задрожал. Мы испугались, спрашивали, что с ним сделалось, здоров ли он; он отвечал, что это ничего не значит, и вскоре оправился. С тех пор мы стали в беседах наших избегать этого предмета, и он о том никогда не заговаривал.

В это время вошел в комнату камердинер Вышатины и подал ему записку, полученную от Алимари: он извинялся, что не может прийти по приглашению к обеду, и уведомлял, что должен ехать в город, где присутствие его необходимо, советовал Вышатину продолжать употребление прежних средств и предсказывал скорое исцеление. В заключе-

ние записки благодарил он за приятные вечера, проведенные в дружеской беседе, и просил поклониться друзьям. Эта записка всех привела в уныние, потому что все ждали Алимари, все горели нетерпением насладиться его беседою.

- Жаль, - сказал Вышатин почти сквозь слезы, - жаль! Я так свыкся с этим почтенным старцем, что не знаю, как проведу здесь еще несколько дней моего карантина. Впрочем, мне гораздо легче, и сегодня еще еду в город. Барометр падает, как говорил мне пастор, и мне не хотелось бы погрязнуть в финских болотах. Другое дело, если б здесь был мой почтенный Алимари, мой мудрец, Сократ.

- Только этот Сократ, - примолвил Хвалынский, - слишком легковверен и наполнен предрассудками: верит в домовых, в чертей, в ворожей.

- А настоящий-то Сократ, - прервал с досадою речь его Кемский, - разве не верил своему демону, разве не советовался с ним? Сократ таким же образом жил посреди софистов, отвергавших все по расчетам своего слабого рассудка, и учил людей тому, что внушало

ему сердце и созерцание природы. Сократ не отвергал богов своего отечества, но умел отличить божество от истукана.

- Вот таков и Алимари! - вскричал Вышати́н. - Я не думаю, чтоб он верил всем преданиям римской церкви, но он не сядет за стол, не перекрестясь. Никогда не вырывалось у него ни малейшего замечания насчет святости религии, и, когда, бывало, мы с пастором станем посмеиваться над папою, он нам не противоречит, а молчит, улыбаясь. Нет, друзья! Такие люди, как он, редки в этом свете. И если вы меня любите, то перестанете остриться и делать замечания на его счет. Пусть вы будете и правы, но мне, признаюсь, больно слышать о нем что-либо кроме хорошего. Эй, Федька! Подай шампанского! Выпьем за здоровье моего исцелителя, а потом кое-как поплетемся на зимние квартиры.

Все исполнено было по диспозиции. Вышати́н угостил в последний раз доброго пастора, уселся в карете с художником и отправился в Петербург. Кемский и Хвалынский последовали за ними. Во всю дорогу молчание прерывалось только короткими фразами. Кемский

был погружен в глубокую думу.

XII

Новый мир открылся пред нашим мечтателем. Дотоле не удавалось ему найти человека, который мог бы, постигая его, разделять с ним его впечатления и ощущения и, превосходя его умом, познаниями и опытностью, объяснять ему то, что в жизни и в свете казалось ему непонятным. Товарищи не могли удовлетворить беспокойному любопытству Кемского: одни из них его не понимали, другие над ним смеялись. Хвалынский с участием слушал его рассказы, но не разделял его ощущений и мыслей: наслаждаясь настоящим, он забывал будущее и не думал о прошедшем. Вышатин был человек умный, образованный, но светский и слишком напитанный тем, что в то время называлось философиею. Кемский искал пищи у записных ученых, но и там не находил ничего. Один был просто профессор или, лучше сказать, педант, произведенный из немцев в надворные советники и получавший тысячу рублей в год за то, чтоб два часа в неделю читать кое-что по тетрадке, списанной с печатной книги;

другой - на вопросы пламенного юноши отвечал исчислением книг, в которых можно найти удовлетворительное разрешение и которых он сам не читал за недосугом; третий - старался объяснить бытие мира сравнением его с деревянными часами; четвертый отвечал глубоким вздохом и текстом из Библии. Все прочие единогласно приписывали мечтания и видения обманам чувств или козням шалунов, а предчувствия называли случайностью или последствием несварения желудка. Явился человек умный, просвещенный, добродушный, способный рассеять сомнения юного искателя истины, готовый его просветить, наставить и успокоить, но он явился и исчез, как мечтание утреннее, как те лица, которые нам представляются иногда в сновидениях: человек нам знакомый, близкий, любезный, мы его помним, знаем, радуемся, что с ним свиделись, но, проснувшись, убеждаемся, что он дотоле существовал только в глубине души нашей; может быть, перенесен был ею из другого мира, в котором она обитала до переселения в нынешнее свое жилище?

Тщетно искал Кемский нового своего зна-

комца. Никто из всех приятелей молодого человека не знал его. Все расспросы и поиски были напрасны. Бедный мечтатель походил на странствующего рыцаря, ищущего пропадшей Дульцинеи. Однажды случай польстил ему надеждою, но ненадолго. Он был в итальянском театре. Играли любимую его оперу, *Il matrimonio segreto*. Музыку слушал он внимательно, но при речитативах посматривал в ложу первого яруса, занимаемую его сестрицею. Иван Егорович сидел, вытянувшись в струнку, на второй скамейке, бессмысленно глазел на театр, не понимая ни слов, ни музыки, и только при звуках барабана скромною улыбкою изъяснял удовольствие. На первой скамейке справа рисовалась Алевтина, а на лево сидела Наталья Васильевна. Любя страстно музыку и сама играя прекрасно на фортепиано, она прикована была к сцене глазами, слухом и душою; не видела ненавистного ей Кемского, не знала даже, что он в театре, и в полной мере наслаждалась прелестною гармониею. На прекрасном лице, в выразительных глазах ее отсвечивалось душевное удовольствие. Кемский был в третьем небе:

перед ним оживилась мраморная Галатеея. Кончился акт; все сидевшие в креслах встали, но он сидел, боясь появлением своим смутить и разочаровать строгую Наташу. Лорнет Алевтины производил между тем инспекторский смотр по всей зале. Вот один из соседей его заговорил с кем-то в партере.

- Каково? - спросил он по-итальянски.

- Прелестно, - отвечали ему, - сегодня я дома.

Кемский вздрогнул: это был голос Алимари. Он привстал, оборотился к партеру, но за толпою не мог его увидеть; бросился опростелить из кресел, пробрался в партер, искал, искал - Алимари не было.

- Не выходил ли из партера высокий, худощавый господин? - спросил он у капельдинера.

- Не могу доложить, - отвечал он, - мало ли кто выходит в антракте!

Кемский воротился на свое место в досаде и печали.

- Позвольте узнать, - спросил он наконец у соседа, разговаривавшего с Алимари, - с кем вы говорили в партере в начале антракта?

- С господином Алимари, - отвечал тот.

- Скажите мне, пожалуйста, коротко ли вы его знаете? Нельзя ли сказать мне, где можно его найти?

- Этим не могу я вам служить, - отвечал незнакомец. - Я служу в конторе банкира барона Ралля; у нас открыт одним венецианским домом кредит на имя господина Алимари. Он иногда приходит к нам и получает деньги. Мы с ним кланяемся на улицах и разговариваем о погоде.

- В известные ли сроки он к вам приходит? - спросил Кемский.

- Нет, как случится: иногда мы его не видим по полугоду.

- Не можете ли вы мне сделать одолжения, - спросил Кемский, - когда к вам явится Алимари, узнать, где он живет, и сообщить об этом мне. Вот мой адрес. Я имею крайнюю необходимость с ним видеться!

- Охотно! - сказал молодой человек, взяв адрес, наскоро написанный карандашом на визитной карточке. Заиграла музыка, и начался второй акт.

Кемский не видал и не слышал ничего, что

происходило на сцене: беспрестанно смотрел на прелестную Наташу и размышлял о таинственном Алимари. Вдруг заметил он какое-то беспокойство в чертах лица и в движениях Наташи. Она стала поворачиваться во все стороны, бросив взгляд на кресла, увидела Кемского и вздрогнула. Сперва бледная, потом алая краска пробежала по лицу ее, но вскоре оно опять приняло обыкновенное свое выражение. Наташа обратилась к сцене и не спускала с нее глаз. Кемский, увидев, что его заметили, перестал смотреть на нее, глубоко вздохнул и обратил глаза в другую сторону залы. При выходе из театра сказал он своему соседу:

- Мне странно и удивительно, что вы не познакомились короче с господином Алимари, имея к тому случай. Он человек необыкновенно интересный: умный, образованный.

- Верю, - отвечал молодой человек, - но нам в банкирских конторах некогда беседовать с приходящими. Беда, если завидит наш строгий принципал, что мы оставляем работу! Однажды только, когда Алимари пришел за деньгами и кассира не случилось в конторе,

сам барон приказал мне занять незнакомца разговором, и я побеседовал с ним несколько времени. Он действительно человек умный, любезный, но - извините - странный. Вообразите, он верит магнитизму, этой дерзкой выдумке шарлатанства и корыстолюбия, ездил во Францию именно для того, чтоб видеть на самом деле явления этой небывалой и невозможной силы, и чуть было не вызвал на дуэль некоторых членов Парижской Академии Наук, доказывавших лживость и нелепость учения Месмера. На возражения и насмешки мои он отвечал скромно и учтиво и предложил мне испытать над самим собою эту силу, которая непреодолимо подчиняет одного человека душевному влиянию и воле другого.

- И вы испытали ее?

- Нет! Мне не до того, да и кто станет заниматься этим вздором!

- Нельзя ли, - продолжал Кемский с выражением возрастающего любопытства, сообщить это средство мне?

- Охотно, - отвечал молодой человек, - Али-мари утверждал, что можно одною волею принудить человека, который на вас не смот-

рит, оглянуться и отвечать вам взором. Он утверждает, что для этого должно только смотреть на человека несколько секунд пристально, хотя бы с тылу, и думать о нем исключительно. Не вздор ли это? Ах, извините: вот мои дрожки, прощайте, до свидания.

Молодой человек скрылся из сеней театральных. Кемский вспомнил о нынешнем вечере, вспомнил о Наташе, как она невольно почувствовала действие его одушевленных взоров и принуждена была взглянуть на него. "Если магнетизм действует на эту холодную и равнодушную женщину, - думал он, - чего ж он не произведет в душе пламенной, отверзтой впечатлениям пылких страстей!"

XIII

Мечтания и сновидения Кемского прервались великими происшествиями в мире существенном. Скончалась Екатерина II, и со вступлением на престол императора Павла Петровича началась новая эра для службы, особенно военной. Многие товарищи нашего князя жаловались на строгость и взыскательность новых начальников, на трудность и беспокойство строгого порядка, на неприят-

ную им форму новых мундиров и прически и едва не со слезами смотрели на прелестные свои фраки, произведения бессмертного Кроля, с которыми должно было расстаться навеки. Кемскому эти перемены были не только сносны, но и приятны. Деятельная служба заняла все минуты его жизни: он перестал тосковать, реже мучился мечтаниями и после ученья, продолжавшегося несколько часов, после суточного караула, в котором уже нельзя было, по-прежнему, спать всю ночь на пуховиках, наслаждался крепким и здоровым сном. Единообразная воинская одежда также была ему по нраву: он не любил наряжаться, не терпел перемен по прихотям моды и был в этом отношении жертвою своего портного, сапожника и камердинера, которые иногда отставали на целый месяц от моды и подвергали светского юношу замечаниям и насмешкам досужих товарищей. Но теперь он имел время и возможность привыкнуть к своей одежде, а она могла прильнуть к нему и сделаться его собственностью; до того же времени ему казалось, что он всегда ходит в чужом платье. Исправность его, прилежание к служ-

бе и неутомимость вскоре были замечены начальниками: его перевели в гвардию, к душевному огорчению Алевтины, излившемуся в высокопарных поздравлениях.

В самый тот день, когда отдано было в приказе о его перемещении, лишь только он успел примерить свой новый мундир, получил он записку о том, что наряжен в ночной караул в Зимнем дворце, при печальной комиссии. К одиннадцати часам вечера отправился он туда с своим отрядом, под начальством гвардии капитана. Его самого отрядили к телу покойной императрицы. Все это сделалось так поспешно и неожиданно, что он опомнился не прежде, как в самой траурной комнате. Там картина торжественная, преисполненная невыразимого величия, представилась глазам его. Посреди огромной залы, обитой черным сукном, увидел он великую императрицу, на парадной постеле, в царском облачении, безгласную и бездыханную. Дым свеч носился над нею как облако. Дежурные кавалеры и дамы стояли в безмолвии вокруг смертного одра величия земного; тихие звуки утешения небесного слышались из уст

протодиакона, читавшего Евангелие.

Кемский, взирая на божественные черты усопшей, погрузился в глубокое уныние. Было двенадцать. Некоторые из дежурных удалились в другие покои; прочие сели на стульях, стоявших вдоль стен траурной залы. Голос чтеца ослабевал. Свечи тускли. Вдруг растворились двери из другой комнаты: человек высокого роста в глубоком трауре в предшествии придворного служителя вошел в залу тихими шагами, приблизился к эстраде, перекрестился по-католически, преклонил колени, тихо произнес: "Екатерина!" и заплакал. Через несколько минут безмолвной молитвы он встал, обернулся; взоры Кемского остановились на нем; это был Алимари. Он узнал князя, подошел к нему и с горестным безмолвным приветствием пожал ему руку.

- И вы пришли проститься с прахом нашей великой Екатерины! - сказал Кемский.

- Вашей? - тихо возразил Алимари. - Вашей? Она принадлежит всему роду человеческого, не одной России. И я, не русский по происхождению, был ее вернейшим подданным: я был свидетелем прибытия государыни

в Россию, имел случай видеть ее занятия науками и изучением России, я стоял на крыльце Зимнего дворца в ту минуту, как она вступала в царское жилище, в день восшествия своего на престол, видел ее потом и на блистательных каруселях, и в торжественных шествиях; неоднократно смотрел издали, как она прогуливалась по царскосельским аллеям, в глубоком размышлении о славе и величии своего народа; я слышал в течение тридцати четырех лет и громовые звуки побед ее, и тихие благословения, возносившиеся за нее из мирных хижин к престолу предвечного. Знаете ли вы, что есть государь, и государь великий, добрый, правосудный? Недаром облачаем мы его земным блеском и величием в сей жизни и сами, подданные, восхищаемся и гордимся этим блеском, этим величием! Вообразите себе: миллионы существ, одаренных чувством и душою бессмертною, живут в мире под кровом и защитою одного из земнородных, а этот земнородный есть государь их. Вообразите, что спокойствие, благоденствие, душевное достоинство сих миллионов зиждется волею и трудами государя; вообразите, что из

подвигов этого государя истекает счастье или несчастье миллионов людей, еще неродившихся, - и после этого рассудите, с каким благоговением должны мы приближаться к смертному одру тех из сих государей, которые свято исполнили долг свой на земли и теперь, пред троном вседержителя, дают отчет в своих делах, помыслах и чувствованиях.

- И для чего они не бессмертны? - с унынием сказал Кемский.

- Для того, что должны управлять смертными! - отвечал Алимари. - Неужели вы думаете, что ангел бессмертный и бесплотный мог бы жить и действовать посреди людей, волнуемых страстями и пороками? Сверх того, всякий человек, и самый великий, есть произведение своего века. Век Екатерины минул, и дух ее оставил земную оболочку. Век новый наступает, век чуждый той, которая была превосходнейшим созданием своего века; но память Екатерины пребудет священной потомкам, и при звуках новой славы раздаваться будут в великих воспоминаниях отголоски дней Кагула и Чесмы, и новые законы будут опираться на премудрые уставы великой за-

конодательницы, и грядущие поэты с умилением будут повторять гимны певцов Екатерины!

Вы молоды и увидите будущее поколение. Великие судьбы ожидают Россию в грозных бурях, которые собираются на западе; блистательная слава озарит ваше отечество, но внуки ваши с жадностью будут внимать повествованиям деда о днях минувших, о днях Екатерины. Скажите им, что вы знали республиканца, который четыре раза искал крова и защиты под скипетром самодержавной императрицы и на хладных берегах гостеприимной Невы проклинал свободу цветущей Венеции.

Алимари вновь подошел к эстраде, преклонил колено, перекрестился, встал и вышел из комнаты. Кемский в сии торжественные минуты не мог думать ни о чем, кроме того, что представлялось глазам его. Он еще раз упустил случай узнать, где можно найти ему Алимари, и в этот раз не мог даже упрекать себя в оплошности. Прежняя тишина водворилась в зале. Ночь прошла для Кемского в глубоких размышлениях...

В первых месяцах следующего года поезд-

ка в полуденные губернии по делам службы доставила ему приятное развлечение. Он послан был с какими-то важными бумагами в новороссийский край и встретил весну на берегу Черного моря, в рождавшейся тогда Одессе. Там нашел он несколько товарищей корпусных, а в начальнике - друга своего покойного отца и провел время самым усладительным для своего сердца образом. Между тем какая-то непонятная сила влекла его домой: он никого в Петербурге не любил, что называется любить, а не мог вспомнить о северной столице без сердечного волнения, не мог остановить на ней мыслей, не почувствовав в глубине души своей какого-то непостижимого влечения. Неожиданно явился в Одессе и Хвалынский: он ездил с поручением в Херсонскую губернию и завернул в Одессу, чтоб возвратиться в Петербург в обществе милого своего друга. Кемский искренне обрадовался товарищу и сообщил ему, с каким нетерпением ждет минуты отъезда: теплое дыхание полудня сделалось ему несносным; он горел мыслию воротиться на хладный север.

- Что это за магнитный полюс, к которому

стрелка твоего сердца неизменно обращается? - с улыбкою спрашивал Хвальинский.

- Сам не знаю, - отвечал Кемский, - но мне здесь скучно, тяжело, грустно. Поедем, ради бога, поедем!

Желание его вскоре исполнилось. Друзья оставили Одессу и помчались в Петербург.

В одном жидовском местечке, в Белоруссии, принуждены они были остановиться на ночь в корчме для починки экипажа. Им отвели место за перегородкою. Утомленные продолжительною ездою, они оба заснули на свежей соломе, но около полуночи какое-то страшное сновидение разбудило Кемского. Опамятовавшись совершенно, он слышит за перегородкою разговоры и хохот. Прислушивается: старуха жидовка ворожит солдатам на картах, предсказывает одному генеральский чин, другому отставку, третьему молодую жену. Служивые смеются и шутят друг над другом.

- Полно слушать ее, - говорит один голос, - все пустяки врет! Ну как ей, старой хрычовке, знать, что нашему брату на роду написано! Пойдем домой! Пусть новобранцев морочит.

- Нет, Спиридонов, - говорит другой голос, - не шути этим. Сам бес у ней под языком! Добро бы она толковала о будущем, а не и прошедшее, как по пальцам, рассчитывает. Мне все рассказала: как меня в солдаты отдали, как под шведом ранили, как в Польше чуть было в полон не взяли - эка притча! Ну-ка, старая ведьма! Вот тебе еще гривняга: скажи, скоро ли мне достанется в ундера!

Водворилось молчание. Потом послышался хриплый шепот и раздался громкий смех. Разговоры, шутки, хохот продолжались несколько времени. Наконец один из солдат напомнил, что пора отправиться по квартирам и схрапнуть до завтрашнего похода. Совет его подействовал. Мало-помалу шум уменьшался, и чрез несколько времени водворилась в корчме совершенная тишина, прерываемая слабым кашлем старухи.

Кемский между тем встал, надел сюртук и вышел из-за перегородки. В большой избе, едва освещаемой сальным огарком, сидела в углу, за столом, грязная старуха в ветхом жиновском костюме и собирала разложенные по столу, салом и пылью напитанные, частым

употреблением закругленные по углам карты. Кемский подошел к ней, бросил на стол серебряный рубль и сказал:

- Бабушка! Погадай мне, где ожидает меня счастье.

Старушка взглянула на него, протасовала карты, дала ему снять левою рукою, вскрыла пиковую семерку и тихим голосом сказала:

- В гробу!

С.-Петербург, 1798

XIV

Время улетало на крыльях своих, свинцовых для несчастных, воздушных для счастливых. Алевтина сочеталась законным браком с Иваном Егоровичем и в течение нескольких месяцев, при помощи друзей, благотворителей, визитов и обедов, успела вывести его в подполковники. Он был определен в смотрители при построении разных казенных зданий. Должно сказать, что сам он не пользовался ни копейкою: с утра до ночи ходил по лесам, смотрел за сохранностью материялов, за прочностью работ; но архитекторы наживались, подрядчики толпами являлись к торгам и перебивали друг у друга работу. Началь-

ник случайно в это самое время строил дачу; к нему беспрекословно отпускаемы были материялы и работники. По счетам архитекторов и поставщиков плата производилась неукоснительно. А отчеты? А ведомости? Это сводил у него человек опытный, необыкновенный в сих делах искусник. Иван Егорович нашел этот клад по следующему случаю.

В начале службы своей послан он был в Симбирскую губернию для привода рекрутской партии: получил прогонные деньги, сумму на расходы, инструкцию и шнуговую книгу и отправился по назначению. Нельзя было действовать исправнее, осторожнее, совестнее Ивана Егоровича: за всякую казенную копейку торговался он до драки; все сбереженные суммы показывал в приходе по чистой совести; при каждой передаче подробно исчислял причины, по каким должен был произвести ее. Таким образом, сберег он в пользу казны с лишком треть данных ему денег и заранее восхищался мыслию, с каким торжеством представит свою экономию начальству. На последнем переходе под Петербургом сошел он с товарищем, который вел другую

партию, из Смоленска. За чаем разговорились они о своих делах по службе.

"Скажи, сделай одолжение, Сайдаков, - спросил фон Драк у товарища, сколько у тебя осталось из отпущенных тебе денег?" - "Сколько осталось? Право, не знаю. Эй, Зверобоев! Сколько бишь у нас в остатке?" - "Ничего не осталось, - отвечал сержант, - и своих ваше благородие изволили потратить". - "Придется еще искать на Военной Коллегии", - сказал Сайдаков. - "Помилуй, друг мой! возразил фон Драк с трепетом. - Куда это ты девал все деньги? Покажи мне, пожалуйста, шнуровую книгу". - "Изволь, любезный! Эй, Зверобоев! Подай книгу". Зверобоев подал. Фон Драк раскрыл ее, перевернул несколько листов и побледнел: "Несчастный, ты пропал! Книга белая!" - "Знаю, - отвечал Сайдаков, смеючись. Смотри, Зверобоев! Завтра, когда придем в Петербург, приведи ко мне писаря того, разумеешь?" - "Слушаю, ваше благородие!" Фон Драк не мог уснуть, помышляя о беде, ожидающей беспечного Сайдакова. На другой день товарищи пришли в город и остановились на одной квартире.

Фон Драк встал в пять часов и занялся окончанием счетов; вывел все расходы, поверил итоги, перечел остальные деньги и с торжеством подписал рапорт. Сайдаков проснулся в одиннадцать часов и сел за чай. Денщик докладывает: "Пришел писарь из Военной Коллегии". - "Зови скота!" Вошла гнусная, красноносая фигурка в засаленном фраке и сером галстуке. "Здорово, Тряпицын! Я привел партию; мне еще следует получить сто двадцать пять рублей". - "Слушаю, ваше благородие!" - "Вот тебе книга и вот пять рублей, когда кончишь, дам еще синенькую". - "Покорнейше благодарим, ваше благородие, будет исправлено". - "При этом случае, - сказал Сайдаков, обращаясь к фон Драку, ты можешь отправить свои счета в Коллегию. Тряпицын их доставит". - "С нашим удовольствием", - пробормотал Тряпицын. "Нет, Сайдаков! - отвечал Иван Егорович с боязливою важностью. - Я должен сам иметь честь представить отчеты - это долг службы". - "Это пустое, ваше благородие, - возразил Тряпицын. Поручите нам, все исправим. Ей-ей, довольны будете!" - "Нет, братец! - отвечал фон Драк. - Я знаю долг

службы. Сам представлю". - "Как изволите!" - сказал Тряпицын с усмешкою и отправился.

Фон Драк представил свои отчеты и остальные деньги и чрез две недели явился в Коллегию за квитанциею. В прихожей встретил он Сайдакова. "Ну что, как сошло?" - спросил фон Драк с состраданием. "Прекрасно! Мне доплатили передержку; вот приказ казначею выдать деньги. Приходи завтра обедать. Разговеемся после похода!"

Фон Драк поблагодарил и отправился в присутствие. "Куда изволите идти?" важно спрашивает его Тряпицын, сидящий посреди запачканной братии в канцелярии. "Куда? В присутствие за квитанциею". - "Извольте погодить, ваше благородие! Есть начетец, есть неисправности, передержки против справочных цен, незаконные выдачи, неверные итоги. Надобно поисправить!" Фон Драк остолбенел. "Помилуй, братец! Я вел самый исправный счет! У меня в остатке значительная сумма". - "Точно так-с; но если б изволили соблюдать казенный интерес по предписанным формам, то осталось бы, конечно, вдвое более". - "Да как это? Сайдакову дали квитан-

цию, а он передержал сверх денег, выданных ему от казны". - "Точно так-с; да они представили на все законные объяснения и доказательства. Начальство справедливо: оно выдаст и передержку, если таковая учинена не в противность существующим постановлениям. Известно вам премудрое изречение государя императора Петра Великого: "Вотще законы писать, если по ним не исполнять".

Фон Драк был в отчаянии, отправился с жалобой в присутствие и получил в ответ, что ревизия отчетов поручена столу коллежского регистратора Тряпицына и что он там должен ждать решения, которое в свое время будет рассмотрено и утверждено или отринуто присутствием. Фон Драк решился выждать окончание дела, являлся каждый день в канцелярию, но каждый день Тряпицын находил в его книге новые неисправности и заготовлял запросы в земские суды уездов, лежащих на пути из Симбирска. Терпение несчастного просителя истощилось: чрез месяц решился он искать приватно покровительства Тряпицына и в ужасную осеннюю погоду, в пять часов утра, отправился к нему на квартиру, на

Козьем Болоте. Тряпицын встретил его в раздранном плаще и ввел в освещенную салым огарком грязную комнату, в которой пахло и дегтем, и салом, и гнилью. Фон Драк не знал, с чего начать, но Тряпицын сам помог ему.

"Мне жаль, ваше благородие, что вы изволите так часто трудиться ходить в канцелярию: не угодно ли вам поручить мне окончание сего дела, и я ручаюсь вам, что через неделю все улажу к вашему удовольствию и к соблюдению казенного интереса. Изволите видеть, для сего должно мне будет просиживать ночи; так я надеюсь, что ваше благородие за экстренные труды не оставите меня должным вознаграждением. Верьте богу, жалованья беру в год шестьдесят рублей". Фон Драк вынул из кармана пятирублевую ассигнацию и положил на стол. "Изволите видеть-с, - продолжал Тряпицын, - для его благородия, Семена Егоровича господина Сайдакова, можно было в скором времени исправить; его дело было чистое - садись, пиши да и только; а в этом деле, изволите видеть, должно сперва поправить, а потом сделать долж-

ное по законам. Двойная работа, ваше благородие!" Фон Драк вздохнул тяжело, вынул из кармана другую синюю ассигнацию.

- Вижу, - сказал Тряпицын, - что вы человек добрый, только жаль, неопытны в службе по счетной части и несведущи в существующих законах. Рад помочь вам от души. Пожалуйте дня через три в канцелярию, и все найдете в порядке". "Как чрез три дня? - спросил фон Драк, - да успеешь ли?" - "И! Ваше благородие! Не беспокойтесь, мы люди деловые: все сладим к вашему удовольствию. Дело ваше у меня на дому - изволите видеть, вот оно-с. Я тотчас им займусь". Фон Драк откланялся. Тряпицын, провожая его в сени, отпер дверь в кухню и закричал: "Денисьевна! Растопи-ка сальца горшочек, да поскорее".

"Это что? - подумал фон Драк, вышед на улицу, - неужели Тряпицын питается салом?" Он остановился у домика, пред окном комнаты дельца, которого очень хорошо видел сквозь дырявую занавеску, и с любопытством смотрел, что будет. Тряпицын действительно занялся его делом: взял кипку бумаг, перевернул листочки один за другим; вынул прило-

женные к рапорту деньги и спрятал их в столик. Хромая Денисьевна принесла горшок с растопленным салом. Тряпицын окунул в него все дело и, положив засаленные почти доверху листы на пол, сел за стол и начал что-то писать. Фон Драк отправился домой, ломая голову над тем, что бы значила эта операция. Через три дня является он в канцелярию. Тряпицын кланяется ему сухо, как чужому человеку, и чрез несколько времени обращается к столоначальнику: "Егор Кузьмич! Сделайте божескую милость, убедите господина экзекутора завести кота в канцелярии. От крыс житья нет. Вот еще одно дело съели". - С этими словами вытаскивает он из-под стола заголовки бумаг и счетов фон Драка: вся нижняя часть действительно съедена была крысами по то место, до которого Тряпицын опустил бумагу в сало. "Неужели?" - спросил столоначальник. "Действительно так-с, извольте сами посмотреть". Столоначальник подошел: "В самом деле! Да как они, проклятые, грызут узорчато! Нешто! Надобно завести кота!" - "Это напредки-с, - сказал Тряпицын, - а сие дело пропало. Следует, за утратою документов,

передать оное забвению и господину поручику выдать квитанцию". - "А остальные деньги, оставшиеся в экономии?" - спросил жалобно фон Драк. "Деньги-с? Какие деньги-с?" - "Да те, которые я представил при рапорте!" - "Съедены крысами-с. Что делать? И казенный интерес иногда в экстренностях пропадает. Впрочем, если вашему благородию угодно, мы выведем справки, послав запросы в те присутственные места и начальства, с коими вы по помянутому приводу рекрутской партии изволили находиться в сношениях. Это скоро сделаем. Месяцев в восемь". - "Нет, ради бога нет! - вскричал фон Драк. - Дайте мне только квитанцию". - "Как угодно, - отвечал Тряпицын, - извольте повременить!" Через час квитанция была фон Драку выдана, и он за десять рублей получил урок, каким образом надлежит действовать в делах для сохранения казенного интереса.

Вступив в новую должность по счетной и письменной части, он сначала пришел было в отчаяние: товарищи поздравляли его с хлебным местом, а он не знал, как поживиться и на соль, и при представлении отчета за пер-

вый месяц принужден был дополнить недоимку своими деньгами.

Тогда вспомнил он о Тряпицыне, пригласил его к себе, приласкал и предложил ему место секретаря, бухгалтера и казначея. Догадливый рачитель казенного интереса охотно согласился на это предложение, определился под начальство фон Драка и вскоре освободил его от всех забот: фон Драк поутру подписывал бумаги, заготовленные Тряпицыным, будучи уверен, что не нужно читать их предварительно, потом ходил на строения и занимался механизмом работы, который был ему довольно хорошо известен. Дела пошли своим порядком: сметы, книги, ведомости, отчеты ведены были с величайшею исправностию, и все происходило на законном основании. Для текущей переписки Тряпицын приискал изгнанного из академии за дурное поведение семинариста: этот сочинял бумаги, а Тряпицын исправлял их по надлежащей форме.

Слог и законность бумаг канцелярии фон Драка сделались известными в приказносчетном свете.

Но не одной суетной славы домогался Тряпицын: он любил существенность. Из скудного жалованья своего сберег он, при благоразумной экономии, столько, что построил домик на Новых местах и стал приторговывать деревеньку; он бы окончательно купил ее, да малый чин не позволял ему совершить крепость на свое имя; сверх того, скорое благоприобретение могло бы возбудить зависть, толки и клевету неблагонамеренных: итак, он решился подождать удобнейшего случая. И медвежья наружность Тряпицына мало-помалу преобразилась. Алевтина Михайловна ахнула, увидев этого запачканного уroda в кабинете своего мужа, и стала было требовать, чтобы его не пускали на двор, но вскоре смирилась доводами и увещаниями фон Драка: он представил ей Тряпицына человеком единственным и необходимым для устройства дел по службе и по фамилии. И сам Тряпицын смотрел, что бессмертной душе его надлежит на новой планете переселиться в другое тело. Он стал бриться по два раза в неделю и так же часто переменять косынку и манжеты; пудра и помада сменили сальце с мучкою; пу-

чок его превратился в благообразную косу; насаленные виски свились регулярными пуклями; кафтан и нижнее платье бирюзового цвета, а в праздничные дни губернский мундир с бархатным воротником и обшлагами заменили казавшийся бессмертным сюртук его. Табачная лавочка у Синего Мосту лишилась в нем постоянного покупателя: он нюхал табак рульный, а потом и настоящий французский, уже не из скромной тавлинки или ветхой бумажной табакерки с изображением турецкого султана, а из серебряной, по высоким праздникам из золотой.

Нельзя было переменить гнусной фигуры и подлого лица, но и на это нашлось средство: остались вещи, но возвысились имена, и этого довольно. Грубость его стали называть строгою честностью, дерзость и бесстыдство - откровенностью, каверзы и крючки - усердием к службе, уважением к законам и знанием дела. Одаренный природною сметливостью, сын порховского целовальника не замедлил догадаться, чего ему недоставало: он не вмешивался ни в какие разговоры и суждения, которых предмет превосходил его понятия, а

заметив в споре двух других лиц слабую сторону, приставал к сильнейшей и значительною улыбкою давал знать, что понимает дело и судит о нем, как люди умные и просвещенные, но по скромности ли своей или же потому, что почитает такой предмет недостойным своего внимания, сам в спор не вступает. В то же время возникла в душе его непримиримая ненависть к людям просвещенным и образованным: всяк, кто уже умел говорить по-французски, был природным врагом его. Он скрывал эту ненависть под личиною скромности и покорности, но при первом удобном случае давал чувствовать ее на деле. Привязанность и доверие к нему фон Драка не знали пределов: они усилились еще от того обстоятельства, что начальник, страшась беспокоить грозную супругу, занимал у подчиненного деньги, по заемным письмам, без процентов.

Тряпицын совершенно овладел своим командиром, но не давая ему этого чувствовать и представляясь, будто действует во всем по его приказаниям и распоряжениям. Благоклонность Алевтины была равномерно

должною наградою за его труды и усердие. Но Кемский и друг его, Хвалынский, были пред-
метами ненависти и злобы секретаря: пред-
ними он не мог укрыться - они знали и прези-
рали его. Кемский молчал, но Хвалынский не
мог не позабавиться на счет плута и при вся-
ком случае старался уколоть и унижить его
пред другими. Однажды за столом разгово-
рились о дороговизне, о том, что ныне трудно
жить и т.д., как ведется от Адама и будет до
преставления света.

- Всему виною худое хозяйство! - сказал
Хвалынский. - Вот у меня, например: доходу
до трех тысяч рублей, а я с каждым годом на-
живаю долги, и отчего? Нет порядку, эконо-
мии, расчетливости. А вот, например (указы-
вая на Тряпицына), Яков Лукич! Вы, кажется,
берете жалованья рублей четыреста; экипаж
у вас преизрядненький; домик построили
хоть куда, и тот, как полная чаша; в бостон
играете по четвертице, и прочее в соразмер-
ности. А все это оттого, что жить умеете с рас-
четом, по одежде протягиваете ножки. Наша
же братья, так называемые благородные,
разоряемся в пух, а живем как нищие. Хоть

бы вы меня поучили, почтеннейший, как все из ничего создается. А домик-от ваш я вмиг узнал: у крыльца толпа подрядчиков, и над нижним ярусом вывеска с надписью. "Здесь бреют и кровь отворяют".

Алевтина пылала гневом; фон Драк бледнел; Тряпицын сидел за столом полумертвый. Кемский кашлял, толкал Хвалынского, но тот не унимался. После обеда Алевтина напрямки объявила Кемскому, что не хочет и не может терпеть дерзких людей в своем доме, и поручила ему просить Хвалынского, чтоб он не трудился навещать ее. Кемский хотел было, в сотый раз, защитить и оправдать своего друга, но Алевтина заградила ему уста замечанием, что он, конечно, не захочет в угождение своему приятелю сделать ее несчастною, подвергнув гневу раздраженного мужа.

Несчастною? Гнев мужа? Раздраженный фон Драк? Как сообразить это с обыкновенною кротостью и покорностью Ивана Егоровича? Странно, но действительно так было. Иван Егорович был смирен, кроток, послушен, терпелив, как овца или как знаменитое неумоимостью животное стран полуденных,

но только до известной степени. Когда же его выводили из терпения, он впадал в бешенство, становился диким, свирепым зверем, был готов на все. Алевтина раза два испытала на себе действие этого ясновидения и извела опытом ту степень, до которой было позволительно томить, мучить и терзать несчастного супруга; но лишь только он побледнеет и задрожит, она переменяла свое обращение, начинала его ласкать, плакала, называла себя неблагодарною, недостойною такого мужа, ангела и праведника. Иван Егорович приходил в себя, и буря пролетала мимо. Так было и в этом случае. Фон Драк долгое время сносил замечания, насмешки, колкости Хвалынского; но когда сатирик коснулся Тряпицына, его души и провидения в этом мире, терпение его лопнуло, и он готов был доказать насмешнику свой гнев самым чувствительным и обидным образом. Алевтина, щадя брата, предупредила эту вспышку и упростила князя освободить ее от Хвалынского.

Молодому ветренику крайне досадно было это происшествие: во-первых, он лишился возможности видеть Наташу, прелестную, ум-

ную и любезную; во-вторых, оставлял своего друга в когтях его злодеев. В самом деле, с этого времени родственный триумvirат мог действовать без опасения, и Тряпицын сделался орудием всех козней против Кемского, предвидя, что, в случае устранения его, будет неограниченным управителем всего имения. Он, как уже сказано, питал к молодому князю сильнейшую ненависть за привязанность его к Хвалынскому, за неуважение его к секретарю и советнику своего зятя и, наконец, не мог ему простить знатной породы, образования и богатства. И когда случалось, что Иван Егорович, в редкие минуты совестности и богобоязности, не тотчас соглашался на предложения Тряпицына, клонившиеся ко вреду князя, усердный клевет успокаивал сомнения его следующими рассуждениями:

- Помилуйте, ваше высокоблагородие! Что вы это балуете мальчишку! Ведь имение его не благоприобретенное, не стоило ему ни труда, ни забот, и он им владеет без всяких заслуг, не так, как мы, полезные государству люди, каждую копейку приобретаем в поте лица и иногда с крайнею опасностью. Если не

вы, так другой расхитит его имущество. Теперь у него в моде друзья и просвещение. Посмотрите, что он раздарил этим повесам, что накупил книг, ландкарт, картин и других бесполезных мелочей! За этим непременно последуют карты, пьянство и тому подобное! Надолго ли тут имения? Оно перейдет в руки ростовщиков, а дети вашей супруги, его племянники, пойдут по миру. Не грешно ли допустить это? Воля ваша, ваше высокоблагородие, а великодушные тут не у места!

Как не согласиться с такими убедительными доводами! Фон Драк с улыбкою отвечал:

- Да, да! Точно так, действительно так! Дока, дока - Тряпицын!

Между тем, по благонамеренному совету секретаря, учтивость, внимание, ласки Алевтины, ее матери и мужа к князю Кемскому еще усилились. Он восхищался их доверенностью, любовью и нежностью и несколько раз думал про себя: "Давно бы Хвалынскому отстать от их дома: они в его отсутствие не имеют никакой причины быть недовольными мною".

Сметливый секретарь видел, что пылкий, чувствительный и в то же время слабый характером Кемский легко может сделаться добычею первой женщины, которой бы вздумалось приобрести его любовь или только показать к нему неравнодушною и задеть его слабую сторону. Многие девицы посматривали на него с участием и нежностью; матушки обходились с ним предупредительно и учтиво. Тряпицын сообщил эти опасения своим благодетелям и доказал им, что князь, женись без их воли на дочери какого-нибудь неблагонамеренного человека, может забыть, чем обязан своим родственникам, может переменить свои намерения в рассуждении детей Алевтины. Следственно, если уже должно ему жениться, пусть он женится на особе, которая совершенно зависела бы от его семейства. План был одобрен в фамильном совете; надлежало привести его в исполнение.

Алевтина вспомнила об одной своей дальней родственнице по матери, круглой сироте, не имевшей никакой надежды в свете, ни даже приюта, и проживавшей в Москве попеременно у разных родственников. Ее выписали.

Явилась недурная собою высокая, худощавая, чахотная фигура лет двадцати пяти, из которых по скромности убавляла двадцать процентов.

Татьяна Петровна была довольно хорошо воспитана, говорила по-французски, танцевала и т.д. Наслышась о властолюбивом нраве Алевтины, она предстала пред нее, как пред грозною судью, со страхом и трепетом, но прием ласковый, нежный и предупредительный рассеял ее опасения. Алевтина объявила ей, что намерена исполнить давнишнее свое желание, пристроить любезную родственницу в своем доме и, если сыщется жених, выдать ее замуж, как родную дочь. Старушка Прасковья Андреевна оросила ее слезами родственной любви и нежного участия к судьбе несчастной сироты. Ей отвели хорошенькую комнатку в доме, приставили к ней служанку, обновили ее гардероб. Татьяна пришла сперва в изумление от таких неожиданных и незаслуженных милостей со стороны людей, которые без расчета никому в свете добра не делали, и вскоре догадалась, что ее ласкают неспроста. Недаром была она однофамили-

цею Алевтины: женская хитрость, упражнявшаяся всю жизнь в изыскании средств к угождению зажиточным родственникам, нашла себе теперь достаточную пищу. Татьяна решилась повиноваться, молчать и наблюдать; без труда заметила она старания Алевтины сблизить ее с князем, не догадывалась о действительной причине этих замыслов, но с восторгом предалась мысли быть княгиней и богатою и вознамерилась употребить все средства к достижению этой цели.

А что делал между тем Кемский? Беззаботность его была непродолжительна. Попривыкнув к новой службе, не находя прежних споров и неудовольствий в доме сестры своей, он опять начал призадумываться. В нем действительно были две жизни: одна существенная, так сказать, практическая, в которой он занимался вседневными делами, службою, обхождением с людьми, к которым был равнодушен, и, когда эти дела наполняли все его минуты, когда они его беспокоили, тревожили, он был доволен, не требовал и не искал ничего иного; но лишь только случался в этих обыкновенных занятиях какой-либо

промежуток, наполненный у иных людей скукою, - в Кемском возникала другая жизнь, возвышенная, не земная, мечтательная; он занимался и прежними делами, но в том участвовали только физические его силы и низшие способности души, а ум, воображение, рассудок, чувство носились в мире духовном. В это время одной малой искры достаточно было для воспламенения всей души его. Знакомые и родственники считали его нездоровым, но не беспокоились о последствиях, что эти припадки у него часто случаются и со временем проходят.

Кемский искал человека, с которым мог бы разделять свою непостижимую тоску, свои гадания и надежды. Он душевно любил Хвалынского и всегда находил в нем друга и помощника, но только в делах жизни обыкновенной. Когда Кемский забирался в области надзвездные, друг его сначала старался слушать его со вниманием, употребляя все силы, чтоб ясно представить себе то, о чем князь говорил так положительно, но вскоре утомлялся, начинал зевать и наконец редко мог удержаться от какого-нибудь едкого замечания.

Кемский не сердился на него, даже не жаловался, ибо не мог требовать, чтоб другие безусловно принимали его мнения, но мало-помалу перестал говорить с товарищем о любимых своих предметах. С каким искренним чувством помышлял он об Алимари! С каким пламенным восторгом вспоминал он о беседе в Токсове! Но таинственный италиянец скрылся из глаз его, и нигде нельзя было найти его следа. Не было сомнения, что он оставил Петербург. Удивительно ли, что Кемский при этих приятных воспоминаниях с душевным удовольствием помышлял о тех, которые разделяли с ним беседу в тот незабвенный вечер!

Встретившись однажды с Бериловым, он приветствовал его как давнишнего, короткого знакомого. Берилов обошелся с ним вежливо, застенчиво, неловко и, по приглашению князя, стал посещать его сначала редко, а потом, узнав добродушие, откровенность, простоту нрава его, чаще и чаще. Кемский любил художника, человека с отличным талантом, но странного и причудливого. Берилов был скромный, тихий, покорный, даже слишком

учтив пред людьми знатными и богатыми, доколе речь шла о чем-нибудь, кроме его художества. Когда же он говорил об искусствах, когда пред ним была хорошая картина, особенно собственной его работы, он становился тверд, смел до дерзости, не давал никому выговорить слова, спорил до слез и нередко выходил из пределов приличия. Но, свернув свой рисунок или отворотясь от оригинала Тицианова, он становился прежним простачком и всепокорным слугою всякого, кто захотел бы им командовать. Не имея родни в Петербурге, он жил несколько лет один, в грязной комнате, которую часто забывали топить, и страдал от грубостей и плутней наемного слуги, который оставлял его по целым дням одного, вечером приходил домой пьяный и бранился с господином своим всю ночь. Берилов, занимаясь работою, частенько не обедал и утолял голод хлебом и квасом, случайно оставленными небрежным Емельяном. Такой образ жизни расстроил его здоровье. Одна добрая соседка, занимавшаяся чужими делами более, нежели своими, увидела бедственное положение Берилова и, испытав,

что убеждения и слова на него не действуют, насильно вторглась в его комнату, при помощи полиции выгнала пьяного слугу и определила в услужение к нему свою золовку, о которой можно было сказать, что говорил покойный А.Е. Измайлов о хорошей дворовой собаке: предобрая, презлая! Настасья Родионовна вымыла, выскребла, вычистила приют гения; одела его самого в благопристойный сюртук, научила пить чай и кофе в надлежащее время, кормила сытным обедом и прятала лишние его деньги. Сначала вздумала она было принять команду и по искусственной части, но, кроткий во всяком другом случае, Бериллов грозно объявил ей, чтоб она отнюдь не смела касаться святыни художеств. Старуха догадалась, и мало-помалу водворилась между юным художником и шестидесятилетней боцманшею самая нежная дружба. Он предоставлял ей волю во всем, что не касалось главной цели его жизни, и только удивлялся, что Емельян, истрачивая вдвое более, гораздо хуже кормил и одевал его, нежели Родионовна. Она же привыкла к странностям своего хозяина и бранилась с ним только то-

гда, когда он на картинах своих изображал неодетых женщин и садился на извозчиков без ряды.

Странным покажется, что Бериллов, с ограниченными своими познаниями и образованием, бесхарактерный и бестолковый, успел вселить дружбу и доверенность в просвещенного, умного Кемского. Но сколько мы видим в жизни примеров, что человек отличного ума и просвещения всею душою привязывается к необразованному простяку! В этом случае не равенство ума и нрава, а какая-то тайная, неизъяснимая симпатия действует на людей. Эта симпатия влекла Кемского к художнику и привязывала художника к Кемскому.

К тому должно присовокупить еще одно обстоятельство. Князь нашел в Бериллове человека, который слушал его жалобы и терпел причуды с молчанием и покорностью, не требовал, чтоб князь занимался им каждую минуту, не гневался и даже не примечал, когда князь целый день не промолвит с ним слова. Родионовна радовалась, видя, что ее питомец знаком с знатным человеком, с сиятельным

князем и поддерживала в нем уважение и привязанность к новому приятелю, особенно потому, что для этого гостя не нужно было подавать пуншу. В веселые минуты Кемский заводил речь о художествах и радовался восторгам Берилова, шутил над любимыми его образцами, бранил бритые головы древних лиц италиянской школы и мясистые формы Рубенса, смеялся над анахронисмами великих мастеров и выводил артиста из терпения.

Однажды Берилов, в исступлении от оскорбления, нанесенного памяти Караваджия, вскричал:

- Да какое вы имеете право цыганить великих людей? Что вы сами? Что вы произвели? Небось, в корпусе, рисовать учились, то есть Андрей Петрович Екимов за вас рисовал, на экзамен глазки и носики!

- Извините, - отвечал князь с комической важностью, - я не только любитель, но и сам художник. Не угодно ли посмотреть моей работы? Теперь, конечно, мне некогда заниматься рисованьем, но было время... Миша! Потрудись, брат, принеси зеленую папку из кабинета!

Бериллов в молчании вытаращил глаза. Принесли рисунки. В числе их было несколько удачных попыток, но ни один рисунок не был кончен. Наш художник разглядывал их с большим вниманием и удовольствием: он восхищался не самими рисунками, а мыслью, что князь, уважаемый им во многих отношениях, имеет дарование к художествам.

- Ей-богу, изряднехонько! - говорил он. - Бог накажи меня, если я лучше нарисую вот эту перспективу. А эта головка! Хоть бы в академию ее! Ну кто бы ожидал таких прекрасных вещей от природного князя! Ей-ей, прекрасно. Жаль только, что нет ничего конченного.

- И мне самому жаль, - отвечал князь, - да я, видите, художник недоученный, так и все мои произведения по мне пошли. Более всего мне жаль, что я не мог, или, лучше сказать, не умел кончить вот этого ландшафта: я хотел изобразить одно место, где игрывал в детские лета, где гулял с отцом, матерью, братом...

Слезы прервали речь его.

- Позвольте, князь! - в восторге закричал Бериллов. - Я кончу этот ландшафт! Только в

большем виде, если не противно! Знаю, знаю как это обработать. Вот тут побольше тени, а там издали - вижу, понимаю! Вы будете довольны.

- И вы также! - сказал князь, отдавая ему бумагу.

- Что вы под этим понимаете? - спросил оскорбленный Бериллов. - Неужели плату? Так знайте, что этого мне не нужно! Если б я брал за свои произведения должную плату, то был бы богаче нашего эконома в академии. Но я гнушаюсь деньгами и не брал бы ни копейки за труды свои, если б не Родионовна и не Андреевский рынок... Боже! Боже мой! - продолжал он вполголоса. - Творить, созидать, работать для потомства - и брать деньги! Деньги! Что это? Негодные бумажки, на которых и ученической головки не нарисуешь. И за мои картины! За этот ландшафт, который я вижу на бумаге! Вижу, сударь, вижу! - вскричал он, оборотясь к Кемскому. - Вижу его в моей душе, и вы вскоре увидите его на деле! Вскоре, то есть... ну, все равно! Только увидите!

Кемский радовался, что восторженный артист забыл о его предложении, и отдал ему эс-

киз. Бериллов схватил его с жадностью и побежал домой. Месяца три не говорил он князю ни слова об успехе своей работы, а только поглядывал на него торжественно. Наконец в такое время, когда князя не было дома, он принес к нему свою картину, написанную в самом большом размере, поставил ее в кабинете князя, осветил ее по всем правилам и, уходя, наказал людям, чтоб они при возвращении князя отнюдь не предупреждали его о том, что он найдет в своей комнате. Он хотел поразить друга своего нечаянностью.

XVI

Кемский, занимаясь попеременно то делами, то мечтами, не замечал бури, которая собиралась над его головою. Алевтина с достойными помощниками подвигалась беспрепятственно к своей цели. Надобно было удалить от брата ее всех людей, которые могли бы препятствовать исполнению ее замыслов. Прекращение знакомства с Хвалынским было ей очень благоприятно. Она поручила Тряпицыну добратся, с кем чаще всего видится князь. Тряпицын донес ей, что чаще всякого другого бывает у него какой-то живописец,

человек простой и недалёковидный, следовательно неопасный; что Хвалынский также нередко посещает князя, но только урывками, будучи слишком занят какою-то должностью. Более ничего не мог он узнать, ибо главный из слуг князя, камердинер его, Мишка, неохотно вдается в разговоры о своем барине и что-то косо поглядывает на господина секретаря, эконома и казначея, когда он, под каким-либо предлогом, явится у них в доме.

- Главное дело, ваше превосходительство, - говорил Тряпицын Алевтине (которая перед домашними людьми не слагала прежнего своего титула), - состоит в том, чтоб удалить сего мошенника Мишку. Я знаю от верных людей, что он обкрадывает своего барина, а князь Алексей Федорович так добр и великодушен, что не изволит сего видеть. Надобно как-нибудь удалить этого вредного холопа, услать его подальше, чтоб он не мог и воротиться.

Через несколько дней Алевтина объявила Кемскому, что мать Мишкина, живущая в симбирской деревне, опасно больна и непременно желает видеть сына и что управитель,

боясь отказа своего барина, обратился к его сестрице с просьбою о ходатайстве. Князь не колебался ни минуты: отправился домой и объявил Мишке о болезни и о желании его матери, сказал, что охотно отпускает его и позволяет оставаться в деревне, доколе будет нужно. Верный слуга, залившись слезами, бросился в ноги к своему доброму барину и в первые минуты не хотел его оставить, но когда сам князь растолковал ему, что обязанности человека к родителям его суть первые в свете, он, скрепя сердце, отправился в дом Алевтины и в тот же вечер послан был в деревню с новым винокуром, выписанным из Лифляндии.

Князь грустил по слуге своем, как по верном друге, Мишка не понимал своего барина умом, но постигал его сердцем, берег его сколько мог, угождал его малым слабостям, не тревожил в часы уныния и честно распоряжал его делами. На место Мишки Алевтина пристроила к князю камердинера покойного своего мужа, человека тихого, но глупого до крайней степени. Если б в свете узнали это достоинство Медора, он мог бы сделать бли-

стательную карьеру. Каждое действие, каждый шаг Кемского были известны Алевтине и ее помощнику. Она перечитывала все письма, которые получал или отправлял Кемский, имела сведения, какие книги он читает, словом, обладала всеми средствами к уловлению брата. Всякая другая на ее месте, короче узнав этого добродетельного человека, почувствовала бы к нему еще большую любовь и искреннейшее уважение: все дела, все помыслы, все чувствования князя основаны были на чистой нравственности, на истинном благородстве, и самая мечтательность его была духовная, религиозная. Но это открытие еще более воспламеняло ревность и жадность Алевтины: она видела, что Кемский, вступив в брак по склонности, привяжется к жене всею душою и что судьба детей ее тогда будет зависеть от благорасположения этой жены. При том же душевное превосходство брата вселяло в нее непримиримую к нему злобу и ненависть. Жестоко, но справедливо замечание, что люди скорее простят ближнему гнусный порок, нежели блистательную добродетель.

Более всего старалась она узнать, нет ли у

него какой склонности, не занято ли его сердце. Долгое время не находила она никаких следов, но вдруг поразили ее слова в письме к Вышатино, бывшему тогда в Москве: "Все мои поиски доньше были тщетны. Алимари нет как нет. Это существо таинственное явилось и исчезло, оставив в уме и сердце моем глубокое впечатление. Но я не унываю: буду искать и надеяться, и, когда найду, никакие силы не разлучат нас".

- Нашла, нашла! - невольно закричала Алевтина и сообщила открытие свое Татьяне Петровне и Тряпицыну. У ревности и подозрения глаза велики: они втроем сплели целый роман, уверились, что князь влюблен в иностранку Алимари, что она скрылась, вероятно, по расчетам кокетства, что он твердо намерен на ней жениться и т.д. Открытие ужасное! Алевтина употребила еще один способ, чтоб увериться в этих предположениях. Дня через два, за чаем, когда сидели у нее Кемский и еще несколько человек посторонних, она издалека завела речь об италиянском театре и, когда пошли суждения и споры, вмешалась в разговор, будто невзначай:

- Более всех нравится мне певица - как бишь зовут ее - Саноретти, Гаспарини - нет! Алимари, кажется?

При этом слове Кемский взглянул на сестру в недоумении, покраснел и ждал продолжения. Для ней было довольно! На замечание одного из гостей, что это должна быть Гаспарини, она согласилась с ним и продолжала разговор равнодушно, как будто не замечая движения в брате. И он думал, что никто не видал его волнения, но оно не укрылось ни от одной из женщин: и старушка Прасковья Андреевна, и Татьяна Петровна, и скромная Наташа заметили, что имя Алимари подействовало на молодого человека с волшебною силою.

- Нечего терять время! - воскликнула Алевтина и объявила Татьяне Петровне, что, любя ее душевно, желает женить на ней брата, особенно потому, что у него есть интрига с иностранкою, бог знает какою, что эта иностранка скрылась и что должно воспользоваться временем ее отсутствия. Татьяна Петровна совершенно постигла намерение и виды почтенной своей благодетельницы и обещала

помогать ей всеми силами, а сама в душе положила действовать для себя и употреблять Алевтину орудием к достижению собственной своей цели.

XVII

Если б все люди, с немногими исключениями, родились в свет с одним и тем же талантом, если б они поставляли употребление на пользу этого таланта предметом и целью всей своей жизни, если б ежедневно старались в нем упражняться, до какой степени совершенства достигло бы в теории и на деле искусство, требующее этого таланта! Теперь подумайте, что женщины одарены от природы всеми способами нравиться мужчинам и уловлять их в свои сети, что все воспитание их состоит в усовершенствии этих способов, а вся жизнь посвящена употреблению природных дарований, изоцранных воспитанием, - и не дивитесь после этого, что это искусство доведено в свете до высшей степени совершенства! Не дивитесь, что люди умные, образованные, опытные легко попадают в сети, расставленные женщинами ограниченного ума, непросвещенными и во всем другом

неискусными. Добрый, благородный, но слишком мягкосердый Кемский не умел остеречься от сетей, расставленных ему прекрасным полом при помощи непрекрасного. Татьяна Петровна, узнав о склонности его к чудесному и сверхъестественному, стала толковать, будто невзначай, об этих предметах и умела обратить на себя его внимание. Она старалась читать те книги, которые он читал в это время, и находила средства занимать его ум и воображение. Где недоставало познаний и рассудка, там употреблялись обыкновенные уловки: молчание, значительная улыбка, будто бы произвольный вздох. Кемский стал привыкать к ее беседе, старался не примечать ее слабостей и недостатков и в скором времени начал находить в Татьяне Петровне достоинства и добродетели. Мачеха и сестра пели похвальный дуэт в пользу сиротки: то-то сердце, то-то душа, что за хозяйка будет, бедная сирота горя натерпелась, так сбережет мужнину копейку. Наташа не вторила этим хвалам; Кемский приписывал это обыкновенному ее хладнокровию и эгоизму; изредка только чудилось ему в глазах ее вы-

ражение какого-то сожаления, какого-то горестного чувства. Мысль, что Татьяна Петровна может сделаться подругою его жизни, что она будет понимать его мысли и разделять чувства, мало-помалу укоренилась в его душе. Он заключал, что эта девица должна иметь необыкновенные достоинства, когда женщины, завистливые и недоброжелательные к своим ближним, каковы Прасковья Андреевна и Алевтина Михайловна, отдают ей должную справедливость. Он долго собирался открыться в этом, но какая-то непостижимая сила его удерживала.

Однажды, просидев целый вечер у сестры, в беседе с нею и с Татьяною Петровною, он воротился домой в большом расстройстве. Несколько раз порывался он именно в этот вечер объяснить с ними, но никак не смел. Наконец он твердо решился прекратить это недоумение и уже начал обращением к Алевтине, но вдруг послышался из другой комнаты очаровательный голос Наташи - он смешался и умолк. Дома, ложась спать, он взялся, по обыкновению, за книгу, и, когда развернул ее, выпала из нее запечатанная записка, без

адреса. Кемский распечатал ее и прочитал на французском языке следующее:

"Берегитесь. Вы стоите на краю пропасти. В последствии времени рады будете отдать жизнь свою, чтоб воротить прошедшее, но уже будет поздно. Вас предостерегает Алимари. 2-го октября 1789".

Кемский оцепенел. Читал записку несколько раз, наконец позвал Медора и спрашивал, не присылал ли кто-нибудь записки, не входил ли чужой человек в комнату. Медор клялся, что никого не было, и говорил правду. Кемский поверил ему и крепко задумался. Алимари здесь? Алимари нашел меня? Алимари предостерегает меня от какого-то несчастья, а сам не является! Что это за несчастье? Что за опасность? По службе я не знаю никаких огорчений, врагов у меня нет. Обхожусь я коротко только с ближайшими родными. Одна мысль сменяла другую, и все они безостановочно терзали бедного князя. Во всю ночь не мог он заснуть: лишь задремлет, страшные видения начнут терзать его. Он встал утомленный, измученный; отправился к разводу, потом к сестре. Там все испу-

гались, увидев, в каком он положении. Все удвоили попечения о нем, и даже холодная, бессердая Наташа, заметив бледность и нездоровье князя, видимо смутилась. Спрашивали о причине его расстройства. Князь отвечал, что накануне читал страшную историю и она снилась ему всю ночь и мешала спать. Алевтина изъявляла самое дружеское соболезнование; мало-помалу обратила речь на скуку одинокой жизни князя, на семейственные радости, которые ожидают доброго человека в счастливом браке, и нечувствительно довела его до того, что он признался ей в желании жениться на Татьяне Петровне! Алевтина крайне обрадовалась этому избранию, но представилась, будто вовсе того не ожидала, и обещала брату поговорить с Танею. Прасковья Андреевна, бывшая при том, заплакала и благословила пасынка, а он, кончив трудное признание, сидел в глубокой думе. Вдруг взглянул в открытую дверь темной залы, побледнел, задрожал и, вскричав:

- Она! Она! - бросился опрометью из комнаты. В передней набросил он на себя шинель, выбежал на крыльцо, кинулся в коляску и за-

кричал: - Домой!

Алевтина, ее мать, Татьяна Петровна, Иван Егорович - все в доме были до крайности изумлены и испуганы этим случаем. Алевтина в ту же минуту поручила Ивану Егоровичу ехать вслед за князем, узнать, если можно, о причине быстрого его удаления, осведомиться, не болен ли он, и, в случае болезни, пригласить его переехать к ней в дом, где удобнее можно будет его пользоваться, фон Драк взглянул на Тряпицына, спрашивая взорами, что делать.

- Поезжайте, поезжайте, ваше высокоблагородие, - сказал Тряпицын, - и постарайтесь непременно убедить его сиятельство к переезду в ваш дом. Здесь он будет, аки на лоне Авраамлем.

Фон Драк поспешил исполнить приказанное. Прискакав в квартиру Кемского, входит он в залу, в гостиную - нет никого, наконец в кабинет, и видит, что князь лежит в обмороке посреди комнаты, а Медор, горько рыдая, старается привести его в чувство. Кабинет был ярко освещен. Всю заднюю стену его занимала невиданная дотоле фон Драком кар-

тина, представлявшая сельский вид. Медор рассказал отрывисто, что барин за четверть часа пред сим приехал домой, бледный, расстроенный, и, когда вошел в кабинет и увидел эту картину, принесенную без него живописцем, закричал: "Что это? Где я?!" - задрожал и лишился чувств.

- Батюшка, Иван Егорович, - примолвил Медор, - скажите, ради бога, что это с ним приключилось?

- Ничего, - отвечал фон Драк, - просто с ума сошел. А всему виною проклятые картины да книги. Ну, дворянину ли, князю ли этим заниматься! Но теперь помоги мне, Медор, снести его в карету. Алевтина Михайловна именно приказала мне, в случае болезни, непременно поставить его к ней. Уж она сбережет его!

- Вестимо, батюшка Иван Егорович! До кого другого, а уж до братца ее превосходительство куда как ласкова и милостива. Бережет, как сына родного. Придешь к ней, так опросам конца не бывает: кто-де был у него, куда сам ездил, здоров ли, не грезилось ли ему чего, какие письма он получил, какие отправил, даже какие книги читает - все ей знать надоб-

но. Уж подлинно мать родная! Только-де, Медор, упаси тебя боже, если ты хоть словом обмолвишься перед князем. Куда-де, матушка, ваше превосходительство! Стану ли я поступать против вашего господского приказания! Для его же добра обо всем доложу вам. Дело его молодое, сам за собою не присмотрит.

Во время этого монолога князя завернули в шубу, снесли в карету, и фон Драк повез его домой. Он все это время был в беспамятстве. Алевтина, Прасковья Андреевна и Татьяна Петровна встретили его с горьким плачем. Его отнесли в особую комнату, раздели и положили в постель. Он очнулся и начал бредить. Алевтина послала за знаменитейшими по чинам и орденам врачами.

И в самом деле, что сделалось с Кемским? В разговоре с Алевтиною он чувствовал какое-то мучительное беспокойство, как будто ему предстояло несчастье, и, когда высказал все, что хотел давно сказать ей, когда на минуту показалось ему, будто он облегчил свое сердце, - вдруг невольно взглянул на дверь темной залы и там увидел черную женщину. Она посмотрела на него печально, покачала

головой, как будто не одобряя его поступка, и исчезла. Он не мог усидеть на месте и бросился из комнаты, сам не зная для чего, сел в коляску и поспешил домой. Быстрыми шагами вошел он в кабинет и вдруг увидел перед собою изображение знакомого, драгоценного для него места. Бериллов по какому-то таинственному чутью отгадал характер ландшафта и изобразил его с величайшею точностью, как будто бы снял с натуры. Князь, настроенный уже к необыкновенным явлениям, не догадался, что это давно ожидаемая им картина, вообразил, что действительно перенесен в то незабвенное место: мысли его смутились, чувства взволновались, и он лишился памяти.

XVIII

В Кемском открылись признаки жесточайшей нервической горячки. Для окружающих он был в беспамятстве, сам же сохранил в себе какое-то темное чувство: когда перед его глазами было светло, в слухе его раздавались разные нестройные голоса; ему чудилось, что в него вливают яд и пламя; мучения его углублялись, становились нестерпимыми и вы-

ражались горькими воплями; когда же вокруг него становилось темно, тогда эти мучительные голоса утихали: ему казалось, что он перенесен в другой мир, что руки ангелов поддерживают его разгоряченную голову, что он вкушает небесное целебное питье, и вслед за тем он впадал в сон сладкий и крепительный; он с нетерпением ждал этих усладительных минут и в часы страданий произносил стонящим голосом: "Ночь! Ночь! Наступи скорее: свет мне несносен!"

Наконец все это слилось в одно общее чувство оцепенения.

Долго ли он лежал в совершенном беспмятстве, этого он не помнил; только, пришед в себя, он почувствовал необыкновенный холод; он лежал на чем-то жестком и колючем; вокруг него слышались голоса. Он хотел открыть глаза невозможно, приподняться - нет силы, протянуть одну из рук, сложенных на груди, - не двигается, вымолвить слово, испустить вздох - недостает дыхания. Мало-помалу приходил он в себя, припоминал прошедшее, старался догадаться, что с ним сделалось, и наконец удостоверился, что лежит в

гробу, что с ним случился припадок омертвления или мнимой смерти. Он был в совершенной памяти: чувство слуха, а отчасти и зрение, принимали впечатления извне, но весь прочий состав его был в совершенном оцепенении, и все усилия выйти из этого состояния, подать малейший признак жизни движением или голосом - напрасны. Что происходило в это время в душе его? Он был совершенно покоен, как выздоравливающий от болезни после первого крепительного сна; мысль об опасности, в которой он находился, - быть заживо погребенным, уступала место надежде, что ему непременно удастся в скором времени вывести из заблуждения особ, его окружающих. Он припоминал, что с ним было; помышлял о Хвалынском, о Бериллове, о Татьяне, о Наташе; вспоминал, что во сне, так ему казалось, был перенесен на свою родину.

Движение и шум, вокруг него происходившие, прервали это мечтание. Кто-то стоял у его изголовья и рыдал. Вдруг раздался голос Алевтины:

- Ну, полно же хныкать-то! Мертвого не

разбудишь. Медор! Сведи Сережку к Наталье Васильевне да спроси, на что это походит - выпускать этого шалуна из комнаты? Теперь не до него!

- Слушаю, сударыня! Пойдем же, батюшка Сергей Иванович; дяденька уж не встанет. Царство ему небесное!

Ребенок зарыдал громче прежнего и вышел с Медором.

- Не встанет, - повторила Алевтина, - наконец угомонился. Я с своей стороны сделала все, что могла, и теперь чиста духом и сердцем пред господом богом. Четыре доктора вдруг лечили его; иногда по восьми раз в день лекарство переменяли. И в аптеку бегал не какой-нибудь холоп, а Эльпифидор Силич, сам лекарь. Уж подлинно как князя лечили, да богу не угодно было внять нашим молитвам. Да будет воля его святая! Прошедшего не воротишь. Теперь я в доме полная барыня и всему наследница, и сын мой старший вступает во все права покойника. Яков Лукич! Напишите в герольдию просьбу об утверждении за ним фамилии и герба князей Кемских. Да что это Демка не вернулся от портного? Я без

траура, как без правой руки. Надобно проучить этих негодяев, а первого злодея Мишку. От его проказ покойник и в землю пошел. Напиши, папенька, Иван Егорович, управителю, чтоб держал его в ежовых рукавицах.

В это время послышался голос вошедшего в залу слуги:

- Графиня Марья Александровна приехать изволили!

- Отказать!

- Нельзя-с, ваше превосходительство: Степан доложил ее сиятельству, что вы дома - графиня изволит идти.

- Ах вы, злодеи! Да я в отчаянии, в спазмах, в обмороке - брат умер! До гостей ли мне!

Атласное фуру графини зашумело в дверях. Алевтина бросилась на стул и громко зарыдала. Князь слышал, как старушка графиня старалась утешить неутешную, как приводила в подкрепление своих увещаний все общие места, употребляемые в таких случаях, но тщетно: рыдания Алевтины усиливались с каждою минутою. Графиня, истощив все свое красноречие, умолкла; раздался посреди рыданий и всхлипываний звук прощальных по-

целуев, и фуру опять зашумело в дверях. Тон Алевтины в минуту переменялся.

- Никого не пускать на двор! - вскричала она. - Эти визиты слишком меня утомляют; я не вытерплю. Слышите ли, Иван Егорович? - По полу шаркнуло и послышалась дробь: "Да, да, да, да!". Опять кто-то вошел в залу. Опять раздался звонкий голос Алевтины: - Это что значит, сударыня? По ком это изволили в глубокий траур нарядиться? Раненько, матушка!

- Да он был мне нареченный жених, тетушка Алевтина Михайловна! - отвечал голос Татьяны Петровны.

- Вот что еще выдумала! Перекрестись, сударыня! Нареченный жених! Пожалуй, еще вздумаешь требовать седьмой доли из наследства! Полно, полно, сударыня вздор нести. Извольте образумиться.

- Помилуйте, тетушка, - возразила Татьяна Петровна, - да разве я не вашу волю исполняла, жертвуя собою? Что мне было радости в этом взбалмошном женихе? Того и гляди, бывало, что в желтый дом свезут его! Я для него, то есть для вас, бросила в Москве жениха красавца и умного. Вы ублажали меня: выдь за

него, Танюшка! Здоровье-де его плохое, сегодня - завтра ножки протянет, так мы по-сестрински поделимся. Вот бог прибрал его до срока, так я вам и в тягость. Да виновата ли я, что вы не рассчитали? Вообразите, что я, в угождение вам, рисковала быть женою полумного человека, который всю жизнь бредил, как в белой горячке!

- Ах ты, неблагодарная! - закричала Алевтина. - Да разве я не добра тебе хотела! Вон, сию минуту вон из дому! Поносить покойного братца, этого ангела божия! Он-де взбалмошный, он сумасшедший! Ах ты, московская вертушка! Да как ты смела? Убирайся к своему болвану жениху! Экая красавица! Еще, чай, стреляться за тебя будут! Вон с глаз моих!

Татьяна Петровна громко заплакала и вышла из залы; Алевтина же, обратясь к Тряпицыну, сказала:

- Прошу вас, Яков Лукич, постарайтесь отправить эту мамзель как можно скорее обратно в Москву. Вот благодарность за мои попечения! Бог с нею! Я ей зла не желаю. Да поторопите, чтобы скорее изготовили траур для детей. Князю Григорью плерезы велите на-

шить пошире. Сережку баловать нечего: и без обновы проживет. Довольно уж на веку своем заел из имения бедных моих детей, да теперь я госпожа в доме! А вы, Иван Егорович, извольте ехать в Лавру, да похлопочите, чтоб погребение было приличное нашему званию. Я в важных случаях, вы знаете, денег не жалею. Где идет дело о родственном долге, о чести фамилии, там экономия не у места.

Алевтина вышла из залы. Все последовали за нею. Настала тишина.

Горестные ощущения волновали бедного Кемского: пред ним спала завеса; он увидел во всей наготе жадность, неблагодарность, коварство и мстительность своей сестры и подлость ее помощников; увидел, что Татьяна Петровна играла выученную ею роль, и только удивлялся, как не заметил этого ранее. И в каком гнусном виде являлись сердце и нрав Алевтины: в общественной жизни она умела воздерживаться и в порывах страстей говорила языком женщины благовоспитанной, а ныне, когда не стало надобности притворяться, унизилась до ругательств, каких постыдилась бы ее ключница. Кемский в эти

ужасные минуты не думал о своем бедственном положении и даже готов был желать действительной смерти. К тому присоединились и терзания оскорбленного самолюбия: его любили, ласкали, уважали за одно его богатство. Один Сережа плакал по нем, но он еще ребенок: возмужав, и он сделается холодным эгоистом и лицемером. В голове страдальца закружилось: он стал забываться, неясные мечтания затолпились пред его глазами, и он опять впал в беспамятство.

XIX

Но это забвение не было уже прежним мертвенным оцепенением. Сильным потрясением чувств произведена была в нем благотворная перемена: он погрузился в тихий, крепительный сон. Когда он чрез несколько часов проснулся, вокруг него было темно. Лицо его было покрыто прозрачною дымкою. У изголовья горела тусклая свеча, и слышалось тихое чтение псаломщика. Кемский мало-помалу пришел в себя и вспомнил, что с ним случилось и где он находится. Он ощущал возрождение чувств и сил своих, мог дышать свободнее, слышал биение сердца, думал, что

может и двинуться, побоялся подать знак жизни, чтоб не испугать чтеца. В комнате было очень прохладно. Вдруг растворилась дверь, и раздался голос ключницы:

- Володимирыч! Подь-ко сюда, поужинай, да и сосни.

- Нельзя, бабушка, - проворчал псаломщик, - не смею отойти от покойника.

- Полно манериться, родной! Сама генеральша велела накормить и уложить тебя. Что теперь читать? Дело ночное. У нас и лекарей на ночь отпускали и только с утра начинали давать лекарства. Легкое ли дело тебе завтра до Лавры за покойником тащиться! Покушаешь, отдохнешь, так с силами соберешься. А завтра я ранехонько разбуду тебя. Ступай небось!

- Не что! - сказал псаломщик. - Конец - и богу слава! - Захлопнул книгу и ушел, взяв с собою свечу.

Князь остался один в совершенной темноте. Он не знал, что делать: оставаться в гробу - опасно, холодно; встать - перепугаешь весь дом, да и будет ли силы добраться до жилых покоев? В это время ударил час, слышал-

ся шорох легких шагов, и луч света проник сквозь замочную скважину двери, ведущей в общий коридор. Сердце его забило надеждою. Отмыкают дверь, она отворяется, и входит в залу женщина - в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, неся в руках свечу. Кемский, увидев свою всегдашнюю мечту, вообразил, что это явление возвещает ему о наступлении смертного часа, но она не останавливается вдали, как обыкновенно, а подходит медленно, озираясь во все стороны, ближе и ближе, ставит свечу на столике у изголовья, а сама обращается к гробу. В эту минуту Кемский узнал Наташу, бледную, с покрасневшими от слез глазами. Она подошла к гробу, бросилась на покойника и прижала горячие губы к его руке. Слезы ее, жаркие слезы текли ручьем. Рыдания занимали дух.

- Теперь могу сказать тебе, - промолвила она едва внятным голосом, - как страстно я тебя любила! Могу тебе поклясться, что никого в мире так любить не буду и не могу!

Слезы пресекли ее голос. Кемский был в изумлении; сердце его забило восторгом; он

готов был прижать Наташу к груди своей, но страшился испугать, убить ее; старался не подать ни малейшего знака жизни, удерживал дыхание, сторожил за каждым биением пульса. Наташа приподнялась, отошла от гроба, села на стул и в молчании вперила томные глаза свои на любезного. Через несколько минут растворилась дверь в залу и вошла другая девица, жившая в доме Алевтины.

- Что вы это делаете, Наталья Васильевна! - спросила она с состраданием. Вы мучите себя, а мертвого не разбудите. Упаси боже, если Алевтина Михайловна узнает, что вы и прощаться к нему приходили!

- Оставьте, оставьте меня, Авдотья Семеновна, - сказала Наташа слабым голосом, - дайте на него наглядеться. Завтра, чрез несколько часов, увезут его навсегда.

- Полноте тосковать, - продолжала девица, - уж вы ли мало для него делали! Вот третья неделя, что глаз не смыкали, сидя у его постели. И батюшка ваш старался об нем, как о родном сыне, но, видно, богу не было угодно, чтоб князь выздоровел. Перестаньте ради бога терзаться!

Наташа объявила решительно, что хочет провести сколько можно более времени у тела того, кто ей был всегда дороже в жизни. Авдотья Семеновна перестала увещевать ее, но не уходила. Из речей их Кемский узнал, что Наташа с первого дня его болезни увидела, сколь мало будет пользы от леченья, которое производилось с шумом и только для виду, что днем толпилось около его постели множество докторов, лекарей, подлекарей, а с наступлением ночи он оставался один, без всякой помощи и призрения. Алевтина именно запретила и людям оставаться на ночь при больном под тем предлогом, что он имеет надобность в отдохновении. Наталья Васильевна воспользовалась этим обстоятельством, бросилась к отцу своему и рассказав все обстоятельства фамилии, умоляла его помочь несчастному которого готовы уморить жадные наследники. Василий Григорьевич Павленко, человек истинно добродетельный, врач искусный и совестный, согласился на просьбы дочери, не подозревая, впрочем, чтоб это усердие ее к благу молодого князя было иное что, как любовь к ближнему. При

помощи одного старого верного служителя почтенный врач являлся в дом с наступлением ночи, смотрел больного, испытывал предписанные ему лекарства и, когда не находил их действительными (что случалось почти всегда), давал ему свои. Между тем это одностороннее лечение не могло иметь совершенного успеха: оно лишь на несколько времени облегчало страдания больного и доставляло ему краткое успокоение, и он непременно сделался бы жертвою двух противоположных систем, если б здоровая, неиспорченная натура его не поддержала.

- Что ж делать, - сказала наконец Авдотья Семеновна, - ваша совесть может быть покойна: вы сделали все, что могли, к его спасению. Пусть терзаются те, которые его сгубили!

- Нет, Дуняша! - отвечала Наташа голосом тоски и отчаяния, - Совесть моя не может быть покойна. Страшно вздумать, а мне кажется, что и я отчасти виновна в его погибели. Я, я, по внушению любви к нему, отважилась на поступок, который, вероятно, стоил ему жизни. Давно видела я замыслы Алевтины, видела, как эта коварная злодейка опуты-

вает бедного легковерного брата, видела, как она, отчаявшись дожить до его смерти, решилась отравить его жизнь, заставив его вступить в брак с женщиною, его недостойною. Татьяна Петровна не знала, не понимала, не любила князя, могу сказать: она ненавидела его; но любовь к богатству и знатности была в ней сильнее этой ненависти, и она решилась воспользоваться случаем. Он стоял на краю гибели. Признаюсь, любовь моя к нему, любовь безотрадная и безнадежная, заставляла меня не раз терпеть все мучения ревности; однако, если б я могла быть уверена, что в браке с другою ожидает его счастье, я все перенесла бы в молчании. Но видеть его несчастье, видеть, что его готовы погубить навеки, связав неразрывными узами с холодною, бессердою и глупою кокеткою, - этого я не могла вытерпеть, я решилась его предостеречь. Я написала к нему записку, в которой немногими словами старалась показать ему опасность его положения; записку вложила в книгу, которую Медор приносил на просмотр к Алевтине Михайловне. Князь читал эту книгу каждый вечер и конечно прочитал мою за-

писку.

- Так что ж? - спросила Авдотья Семеновна. - Тут греха никакого нет, напротив, вы исполнили долг свой.

- Да! - отвечала Наташа протяжно. - Если бы я удовольствовалась этою запискою! Не любовь внушила мне это средство, а ревность, признаюсь, к стыду моему, ревность заставила прибавить одно слово, которое, как теперь вижу, поразило несчастного. Я заметила, что одна италиянская фамилия, фамилия какой-то певицы, невзначай произнесенная, заставила его покраснеть, и я подписала эту фамилию под запискою. На другой день он приехал к нам беспокойный, расстроенный, больной, и вдруг сделался с ним припадок. Я уверена, что этим именем растравила рану его сердца, убила его!

Что чувствовал в это время несчастный счастливец, то легче вообразить, нежели описать возможно. Одну женщину в свете он почитал достойною любви своей, но убегал ее, воображая, что она холодна, нечувствительна, что она его ненавидит, и эта самая женщина любила его пламенно, страстно, жерт-

вовала всем для его спасения!

Слова Наташи прерваны были шорохом шагов в коридоре.

- Это бабушка ваш! - сказала Авдотья Семеновна печально. - Мы не успели уведомить его о несчастье: он приехал навестить больного. Как он, бедный, огорчится!

В это время растворилась дверь, и в залу вошел почтенный старичок невысокого роста в старомодной одежде.

- Бабушка! - вскричала Наташа, бросившись к нему. - Все напрасно! Он скончался.

- Знаю, знаю! - сказал он тихо. - Я пришел с ним проститься.

Он подошел к гробу и перекрестился. Наташа сняла дымокый покров, и старик приложился к устам покойника. Вдруг он приподнялся и сказал:

- Помилуйте, да он не умер!

- Не умер! - вскричали в один голос и дочь его и Авдотья Семеновна.

- Тише, тише! - сказал Василий Григорьевич, вынул из кармана скляночку с спиртом и начал тереть ему виски. Кемский обрадовался, что может подать знаки жизни, не пу-

гая людей: громко вздохнул и приподнял руку.

- Жив! Жив! - закричали женщины.

Авдотья Семеновна побежала за людьми; мнимоумершего подняли из гроба, вынесли из холодной залы в его спальню, положили в теплую постель. Он хотел говорить. Павленко просил его успокоиться. Вскоре благодетельный сон смежил его утомленные вежды.

Уже было светло, когда громкий шум разбудил его. Комната была наполнена людьми. Павленко сидел у его постели и держал его за руку. Наташа стояла в ногах и смотрела ему в лицо. Они не обращали внимания на Алевтину, которая бесновалась посреди безмолвного своего штаба. Иван Егорович вытянулся стрункою в форменной позиции и глядел на нее с раболепством. Тряпицын рассчитывался с псаломщиком. В отдалении стояли Авдотья Семеновна, Медор и несчастный слуга, впускавший Павленко в комнаты князя. Изредка отдергивалась занавеска стеклянной двери, и Татьяна Петровна заглядывала в комнату.

- Кто это осмелился впускать чужих людей в мой дом? Это ты, мошенник Тимошка! В де-

ревню тебя, в пастухи! А ты, Авдотья Семеновна, изволь-ка сегодня же убираться из дому. Кто это тебя выучил черт знает кого принимать у меня в доме! И какой вздор выдумали, будто братец ожил! Сумасшедшие вы, что ли?

- Извольте посмотреть сами, - тихо сказал Василий Григорьевич, - князь приходит в себя.

Алевтина подошла, увидела, что брат ее раскрыл глаза, и в безмолвной злобе побледнела; но вдруг опомнилась и кинулась обнимать его:

- Братец любезный! Ангел мой! Бог возвратил тебя мне.

Кемский удержал ее и произнес слабым голосом:

- Алевтина Михайловна! Оставьте меня в покое. Позвольте - вижу, что вы хотите сказать: я в вашем доме, но я здесь поневоле. Освобожу вас от моего присутствия как можно скорее. Несчастный этот случай дал мне способ узнать истинных друзей моих. Наталья Васильевна! Жизнь моя - есть ваш дар, и вам она принадлежит отныне. Вы и почтенный родитель ваш - мои родные. Ни слова,

Алевтина Михайловна! Людей не извольте трогать - они мои. Одному мне они обязаны отчетом в своих поступках.

Алевтина молчала в бешенстве. Иван Егорович дрожал со страху. Тряпицын дерзнул прервать молчание:

- Но, ваше сиятельство, на основании духовного завещания покойного вашего родителя...

- Молчать! - закричал Кемский, приподнявшись в постеле. - Вон отсюда, мерзавец!

- Ради бога, успокойтесь! - сказал ему Павленко и обратился к Ивану Егоровичу: - Вы будете отвечать пред законами, если попрепятствуете его выздоровлению: ему нужен покой. Вы хозяин в доме, прикажите всем вашим домашним выйти отсюда!

Иван Егорович обратился к Алевтине и подал ей знак, что должно повиноваться. Она поспешно вышла из комнаты и все последовали за нею, кроме врача и его дочери.

XX

Выздоровление князя шло быстрыми шагами. И есть ли в свете болезнь, которой не исцелила бы любовь и дружба!

Он узнал ту, которая могла составить его счастье в жизни. Наталья Васильевна, лишившаяся матери в младенчество воспитана была в Малороссии, в одном знатном доме, где отец ее был домашним врачом, и получила блистательное образование. Одаренная от природы сердцем пламенным, но умом основательным, она рано научилась в чужом доме вести себя благоразумно и осторожно, привыкла жертвовать своими склонностями и желаниями обстоятельствам и приличию. Отец ее получил место в Петербурге и взял ее с собою; по должности своей он не мог находиться беспрестанно в столице и принужден был нередко ездить в разные места. В сих обстоятельствах желалось ему пристроить дочь свою в каком-либо хорошем доме. Алевтина узнала ее случайно и предложила ей место у себя при воспитании детей своих. Наташа, в угождение отцу, согласилась. Вскоре узнала она нрав и правила Алевтины, лицемерие ее матери, но между тем привязалась сердцем к сироте Сереже и к маленькой дочери Алевтины и не решалась их оставить. К этой склонности присоединилась в скором времени и

другая, в которой она долго не хотела самой себе признаться: склонность к Кемскому. Благородный, любезный мечтатель покорила сердце Наташи. Она уважала его характер, его достоинства, его добродетели, но не воображала любить его. Однажды вздумал он сделать ей, как наставнице питомца своего, подарок; это оскорбило ее гордость, пробудило страсть, таившуюся в глубине души ее, и в то же время показало ей всю безнадежность этой любви. Она решилась заглушить ее в себе, заглушить холодностью, суровостью, гордостью в обращении с тем, чей взгляд доставлял ей отраду и утешение. Несколько раз порывалась она оставить дом Алевтины, но это было превыше сил ее. Она страдала и безмолвствовала. Доколе одна любовь действовала в ее сердце, она могла владеть собою, но когда к этой страсти присоединилась другая - обыкновенная ее спутница - ревность, притворство и молчание сделались ей нестерпимыми. Никто в доме не замечал волнения души ее; одна только Авдотья Семеновна ее понимала: она сама в жизни своей испытала восторги и томления несчастной любви.

Ревность и любовь заставила Наташу отважиться на предостережение Кемского: опасность его жизни вселила в нее героизм. Несколько раз давала она чувствовать Алевтине, что князя лечат не хорошо, и получала в ответ, что это не ее дело, что доктора знают, как поступать. Когда болезнь усилилась, она убедила отца своего подать помощь несчастному, сама проводила ночи у его постели и только при первом появлении утренних лучей со слезами удалялась, оставляя любезного на руках его мучителей и злодеев. Любовь восторжествовала. Кемский был спасен; Кемский знал, кому этим обязан, и в те минуты, когда, с одной стороны, чувство благодарности к давно обожаемой, а с другой, - радость о спасении единственного друга устранила всякие другие отношения, признание во взаимной любви и клятва в верности до могилы излетели из уст их в одно мгновение и почти без их воли и ведома.

При первой возможности Кемский переехал обратно к себе. Не ужас и испуг ощутил он, а пролил слезы унылого, сладостного воспоминания, увидев в этот раз картину, пред-

ставлявшую место детских игр и мечтаний его. Василий Григорьевич поселился у него в доме, чтоб ближе за ним присматривать. Кемский учтивым, но холодным письмом уведомил Алевтину о своем выздоровлении и о намерении жениться на Наталии Васильевне и просил прислать к нему питомца его, Сережу. Алевтина, желая уколоть Наташу, поручила ей, как гувернантке, свезти ребенка. Она вошла в комнату в ту самую минуту, когда Кемский признался почтенному старцу в любви к его дочери и просил его благословения.

- А что, дочка, - спросил он по-малороссийски (в делах сердца употреблял он это наречие, как в рецептах язык латинский), - неужели правда, что ты готова идти замуж за князя? - и прибавил из любимой своей песни: - Хочешь меня старенького да покинуть!

- Нет, нет! Никогда вас не покину! - вскричала Наташа, бросаясь к нему на шею.

- Хорошо! Хорошо, - сказал он, утирая слезы, - ступай за него и будь счастлива. Он истинно добрый человек. Люби его всем сердцем, а я буду приходить к тебе на борщ и на вареники. Да чур не забывать наших малороссий-

ских песен! Никого у меня не осталось на родине. Жива одна сестра, да и та не в живых: в монастырской келье доплакивает горькие дни. Не увижу я более своей Украины; так будь же здесь моя родина!..

Восторги юной счастливой любви! Кто вас опишет!..

XXI

Прошла зима. Наташа была уже несколько месяцев княгиней Кемскою, а муж ее счастливейшим человеком в мире. Никогда не чувствовал он такого спокойствия, такой свободы духа, как ныне: все мечтания, грезы, видения его исчезли. Он пояснил Наташе, кто был Алимари, возбудивший ее ревность, и, конечно, с удовольствием встретил бы его, но уже не тосковал по нем. Наташа вступила в роль княгини без усилия и труда. Не придавая никакой цены дороговизне нарядов, она играла бриллиантами и драгоценными шальями, как прежде стеклярусом и простою тафтичкою. Благородный ее тон, образование, привычки к светскому обращению заставляли уважать ее, а скромность и добродушие возбуждали нелицемерную к ней любовь и в

тех, которые хотели бы позабавиться на счет новой княгини.

Первым ее старанием было помирить князя с Алевтиною: это было не трудно. Князь не умел долго сердиться, ненависти не знал во все и охотно делал угодное милой своей подруге. Алевтина рада была, что возобновлением прежних связей может прекратить вредные слухи, носившиеся в городе, насчет обращения ее с братом. Прасковья Андреевна оросила новобрачных дешевыми слезами, когда они приехали к ней с первым визитом. Иван Егорович с достодолжным высокопочтанием подошел к ручке княгини и при каждом случае величал ее сиятельством. Алевтина приняла ее с выражением нежнейшей дружбы и старалась всеми средствами заставить ее забыть прошедшее. Иногда однако она при всем лицемерии не имела сил преодолеть внутреннее влечение злобы и ненависти и пользовалась случаем, когда могла, уязвить прежнюю свою наемницу, но стрелы ее отскакивали от твердого щита, который Наташа противопоставляла ей своим праводушием и благородством. Так, однажды в доме ее, в мно-

гочисленном обществе, зашла речь о болезни и чудесном исцелении Кемского. Одна старушка, охотница пожить, спросила:

- Скажи, сделай одолжение, матушка Алевтина Михайловна, откуда ты взяла такого колдуна лекаря, который из гробу людей воскрешает? Кто это, родная, вылечил твоего братца? Да сколько ты ему заплатила? Теперь они страх как дорожатся, проклятые!

Алевтина притворилась смущенною и с сожалением посмотрела на молодую княгиню. Наташа, нимало не смешавшись, сказала старушке:

- Позвольте мне отвечать вам: этот счастливый лекарь был мой отец. Мы оба, и я и муж, обязаны ему жизнью!

С сим словом она вскочила с кресел, подбежала к князю, сидевшему в некотором отдалении, и поцеловала его. Эта сцена, угрожавшая развязкою очень неприятною, тронула всех присутствовавших. И Алевтина утерла слезы.

Дом Кемского сделался приютом любви, дружбы и тихих наслаждений жизнью. Хвалынский приехал к новобрачным с некото-

рою робостью: он совестился явиться к Наташе, с которою в прежнем ее состоянии иногда обращался довольно смело. Она приняла его учтиво, с выражением дружбы и уважения к давнишнему искреннему приятелю своего мужа и чрез несколько минут рассеяла его смущение и неловкость. Хвалынский, глядя на прелестную, умную, добродетельную женщину, в сердце своем радовался счастью друга и признавал себя недостойным такого сокровища.

- Помнишь ли предсказание жидовки в белорусской корчме? - спросил он однажды с улыбкою Кемского.

- Какое предсказание? - со страхом спросила Наталья Васильевна, боясь, чтоб этот вопрос не возбудил в муже ее прежних мечтаний и беспокойств.

- Ничего, ничего! - сказал Кемский, обнимая ее. - Это предсказание сбылось, и я благословляю Провидение. Мне предсказано было, что я найду счастье в гробу. Только не я нашел его, а оно само нашло меня!

Бериллов, взглянув в первый раз на княгиню, поражен был красотою, благородством и

выражением души в лице ее. Он, по обыкновению своему, был неловок, странен, боязлив, но Наташа вскоре навела разговор на искусство и оживила артиста. Он заговорил с жаром и страстью, стал с нею толковать и спорить, восхитился ее умом, познаниями, вкусом и нежною скромностью, и в восторге своем раза два назвал ее Натальею Родионовною. Он остался по-прежнему ежедневным гостем и домашним другом князя.

Как обильны, разнообразны и занимательны описания страданий и недугов человека и как проста, суха, неинтересна история его счастья! Преследуемый судьбою, он выходит на состязание со всеми силами природы и в этой борьбе, падая ли под ударами рока или одерживая над ним победу, представляет для ближних своих зрелище богатое, грозное и умилительное. Истинное же счастье, обитая в глубине души человека, распространяя на все существо его спокойствие и тишину, принимающие для других единообразный вид равнодушия, лишают внешнюю жизнь его всякого драматического движения. Но как редко в жизни нашей эти кануны небесных

праздников, кануны, в которые не бывает игрищ для черни здешнего мира!

Кемский был счастлив, как только человек в жизни счастлив быть может. Одно желание было у него: дожить до сентября, взять отставку и ехать с женою в симбирскую свою вотчину, чтоб показать ей в природе то место, которое на картине приводило его в умили-тельный восторг.

Книга вторая

С.-Петербург, 1799. Июнь

XXII

Блажен, кто поутру проснется

Так счастливым, как был вчера!

В одно утро Кемский получил от полкового командира своего записку следующего содержания:

"Мне приказано откомандировать в Гатчину одного из надежнейших офицеров полка. Прошу вас отправиться туда немедленно и с приложенною у сего бумагою явиться к генерал-адъютанту ****".

Такая командировка была для Кемского не новость, но, по внушению какого-то неизъяснимого предчувствия, он, прочитав записку,

вздрогнул и побледнел. Наташа заметила его смятение.

- Что это, любезный? - спросила она с участием и боязнию.

- Ничего, - отвечал он, стараясь скрыть волнение и казаться равнодушным, наряд по службе. Только для меня пришел он очень не вовремя. Мне не хотелось бы теперь ехать.

- Что ж делать, друг мой! - возразила жена, прочитав поданную им записку. - Поедешь сегодня, а завтра воротишься.

- Но нынешний день потеряю! - сказал он печально.

- Когда завтра воротишься рано, я скажу тебе тайну, новость, которая, может быть, тебя порадует. Или нет, пусть лучше батюшка тебе это скажет! прибавила она, покрасневшись, и бросилась к нему на шею.

Умиление проникло в душу Кемского: он понял, что его ожидают радости родительские, и с горячностью прижал Наташу к своему сердцу. Через час он уже летел к месту назначения.

В Гатчине явился он к генерал-адъютанту
****.

- Вы, конечно, имеете при дворе сильных покровителей! - сказал ему генерал с досадою.

- Могу уверить ваше превосходительство, что имею только просто знакомых или начальников! - отвечал Кемский.

- Довольно! Оставим это, - продолжал генерал. - Вам готовится поручение важное и приятное. Вы должны отправиться в Италию и свезти к главнокомандующему нашею армиею важные бумаги. Признаюсь, я представил было для этого поручения моего племянника, но ваши друзья превозмогли меня: уладили дело так, что кажется, будто вы наряжены по случайному выбору полкового командира. Вы тотчас получите депеши и должны отправиться, не теряя ни минуты.

Генерал поклонился и ушел обратно в свой кабинет, а Кемский остался в приемной комнате как громом пораженный. Долг и любовь, честь и привязанность к жене - боролись в душе его. Война, слава, Италия, с одной стороны, обещали ему исполнение давнишних его желаний. С другой стороны, мысль о разлуке с тою, которая сделалась его истинною жизнию, убивала его. Он погрузился в глубокую

думу. Неясные мечтания, какие-то мрачные тучи носились в его уме и воображении; ему казалось, что голова его не может вытерпеть движений сердца. Стук экипажа по мостовой прервал его задумчивость.

- Вот ваша тройка! - сказал ему безмолвный до того времени фельдъегерь.

- Так вы едете со мною?

- Точно так, ваше сиятельство. Я имею поручение поставить вас в десятый день в главную квартиру. Но, может быть, вам не угодно будет ехать в тележке? Позвольте ли взять вашу коляску? И человеку вашему будет лучше.

- Как хотите! - сказал Кемский. Фельдъегерь выбежал из залы и, отдав приказание ямщику, воротился. С ним вошел другой фельдъегерь.

- Не угодно ли вашему сиятельству, - спросил первый, - дать товарищу моему поручения? Он сию минуту едет в Петербург!

- Ах! Точно так! Очень хорошо, - сказал Кемский, - мне хотелось бы уведомить жену мою... Не зайдете ли вы со мною в трактир? Там я написал бы письмо.

- Никак нельзя, - отвечал другой фельдъегерь сербским наречием, - я имею приказание вручить вот сии бумаги чрез два часа господину генерал-прокурору, а фельдъегерь Соколович никогда не опаздывал. Да что тут долго толковати! Вот и чернила и перо; добудем и бумаги!

С этими словами оторвал он половину лежавшего на столе листа, на котором записывали имена свои посетители низших классов, не имеющие права оставлять визитные карточки. Кемский присел к столу и написал несколько строк к Наташе, не помня сам, что пишет; сложил бумагу, подписал и, не запечатав, отдал доброму сербу, а этот, пожав ему руку, сказал:

- Будьте уверены что Соколович верно доставит вашу грамотку, и не стыдитесь, что она не запечатана; у нас, в Сербии, всегда так: пишут редко, а не запечатывают никогда - и сургучу в заводе нет. Счастливо оставаться!

- Вы увидите мою жену - поезжайте к ней сами, - сказал Кемский, - скажите ей... - Он залился слезами и упал на стул.

- Босом теремтете! - проворчал Соколо-

вич. - Да что вы за сумасшедший! Плачете по бабе, когда царь великий на службу посылает? Полно-те, князь! Перестаньте! Я не скажу вашей княгине, что вам трудно было расстаться с нею: пусть думает она, что вы храбрый юнак, славянская кровь!

Кемский слышал эти слова как сквозь сон. Его позвали в кабинет.

- Вот, - сказал ему генерал, - бумаги на имя графа. Может быть, вы не запаслись деньгами на непредвиденную дорогу. Позвольте мне предложить вам сколько-нибудь. Я получу уплату от вашей супруги, если позволите.

Он подал ему несколько свертков с червонцами. В глазах его видно было сожаление о прежнем разговоре: он удостоверился в истине слов князя - голос искреннего чувства есть голос правды. Кемский с благодарностью принял это предложение и воспользовался сим случаем, чтоб переслать еще поклон своей любезной. Генерал обещал это сделать и умолк в замешательстве. Кемский догадался, что ему, как курьеру, нельзя медлить долее, откланялся, и чрез несколько минут коляска его простучала мимо колонны на Коннетабле.

Вильна, Краков, Брюнн, Вена промелькнули в глазах его.

Через несколько дней ознакомился с своим положением: старался уверить себя, что тягостная разлука будет непродолжительна; рассчитывал, сколько времени может пробыть в Италии и когда воротиться, воображал минуту свидания...

Но эти прекрасные, утешительные мечты нередко сменялись горькою печалью: ему казалось, что он впадает в прежнюю задумчивость, что пред ним опять зачернелась та точка, из которой развивались прежние грозные видения. В Вену приехал он в самом мрачном расположении духа, но когда явился к русскому послу, когда увидел, с каким уважением принимают его, офицера русской гвардии, с каким почтением смотрят на героев, подвигающихся под русскими знаменами, благородная гордость и патриотическое честолюбие сменили чувство горести и уныния. Из Вены написал он первое порядочное письмо к своей Наташе: дотоле посылал он отрывки, наполненные восклицаниями. В этом письме он открыл ей желание свое непременно вос-

пользоваться настоящими обстоятельствами и послужить против неприятеля; писал, как приятно и восхитительно ему будет свидеться с нею по исполнении долга гражданина и воина. В лучах блистательного светила славы затмилась тихая лампада сердечных чувств — затмилась, но не потухла: пламенные мечты славолюбия в минуты тишины и уединения сменялись помышлениями о прежних и будущих наслаждениях чистой любви супружеской.

Ломбардия

XXIII

Италийанское утро в исходе июля озаряло прекраснейший сельский вид на берегах Адды. Воздух прозрачный и легкий дышал еще свежестью ночи. Лазоревое небо расстилось над горизонтом, ограниченным темно-зелеными рощами. На скате горы, простиравшейся к ложу реки, белелся крестьянский дом; вдоль стен его взвивались виноградные лозы. Кемский, прислонясь к полуопрокинутой своей коляске, у которой изломилась передняя ось, услаждал глаза прелестною картиною ипил ароматное дыхание полуденной

земли. В воздухе носился тихий, невыразимый гул утра, слышалось это непонятное движение воскресающего дня.

- Наташа! - тихо пролепетал, минутный счастливец: звук этого имени сделался для него выражением всего, что наполняло его душу, что извлекало у него слезы и умиления и горести.

Вдруг он вздрогнул, выпрямился и начал прислушиваться. Внизу, на самом берегу реки, раздались звуки флейты, сначала тихие, потом громче и громче. Звуки очаровательные, знакомые отозвались в душе Кемского: он где-то слышал их прежде. Где? Флейта умолкла, и последние звуки ее вторились еще между крутыми берегами; тогда Кемский вспомнил баркаролу, которая таилась в его памяти с осеннего утра, проведенного им на высотах токсовских: та же музыка, та же игра, то же выражение. Прошедшее при этом напоминовении затолпилось в его сердце и уме. Он удивлялся странной игре случая, что одна и та же музыка оглашала для него и пустынное озеро Карелии, и живописное ложе роскошной Адды.

В правой стороне от него послышались шаги: кто-то по крутому берегу взбирался наверх. Кемский взглянул в ту сторону, и взорам его предстал Алимари. Бедный наш странник изумился, побледнел и, с выражением душевного восторга кинувшись в объятия пришельца, закричал по-русски:

- Ах! Это вы, Петр Антонович!

Алимари в тот же миг узнал молодого князя, который заинтересовал его при первом свидании и врезался глубокими чертами в его памяти. По курьерскому наряду Кемского Алимари догадался, каким образом с ним здесь сошелся, но Кемский не думал спрашивать его, как очутились они вместе под прелестным небом Ломбардии; он радовался, что нашел человека, с которым может поговорить по-русски. Фельдъегерь его, Ярлыков, правда, говорил с ним по-русски, да не умел говорить по-человечески. Вся сфера его познаний обращалась вокруг дегтя, сала, осей, колес, подков, подпруг, шлей и недоузdkов. Цель жизни его была поставить такого-то как можно исправнее туда-то. Впрочем, это самое ограничение, тесное, определенное, было по

душе Кемскому: Ярлыков молчал в продолжение всего пути; красноречие его начинало действовать только с той минуты, как повозка останавливалась у почтовой станции, и вновь прекращалось с первым ее движением. Можно себе вообразить, как тягостно было бы его сотоварищество, если б он вздумал рассуждать, говорить, утешать, советовать!

В начале разговора отрывистые вопросы, ответы, восклицания попеременно сменялись, и старые знакомцы не могли надивиться случаю, сведшему их на берегу Адды. Мало-помалу улеглось первое волнение, и Кемский рассказал все, что с ним случилось в продолжение времени, истекшего после их разлуки. Он говорил обо всем с величайшею доверчивостью, в полноте чувств и не прежде, как по окончании своего рассказа, вдруг вспомнил, что Алимари никогда не был с ним короток, что они виделись друг с другом раза два в жизни, и то мельком, а тут он обошелся с ним как с искренним приятелем, с близким родственником! Он умолк, засмеялся и сообщил это замечание своему собеседнику. Алимари отвечал с чувством:

- Неужели вы не верите в созвучие душ, подобное созвучию тел неодушевленных? Известен ли вам опыт физики, в котором от разбития одного стеклянного сосуда другой, настроенный в одном с ним тоне, разлетается вдребезги без малейшего к нему прикосновения? В самый первый вечер свидания нашего в Токсове я почувствовал непреодолимое к вам влечение, хотел искать вашего знакомства, заслужить вашу дружбу, но на другой день обстоятельства нас разлучили, и я никак не мог свидеться с вами впоследствии.

- Но вы жили в Петербурге?

- Близ Петербурга, и редко бывал в городе. Но теперь не станем терять кратких мгновений нашего свидания. Я увидел в деревне фельдъегеря, заботившегося о починке вашего экипажа, и, узнав, что едет русский курьер, отыскал вас. Вы не можете выехать отсюда ранее полудня - воспользуемся этим временем. Жар в скором времени сделается несносен. Войдем в этот домик. Я знаю хозяев.

Кемский пошел за другом своим. Они вошли в сельский домик, жилище бедности, трудолюбия и добродетели. Их встретила ми-

ловидная хозяйка, смугловатая, черноглазая, пламенная, с амурчиком на руках. Алимари заговорил с нею тамошним народным наречием, вовсе непонятным для иностранца, хотя бы он в совершенстве знал язык Метастазия и Альфиери. Италиянка отвечала что-то, улыбаясь с выражением добродушия, и ввела странника в комнату, чрезвычайно чистую в сравнении с обыкновенными жилищами бедных италийцев. Кемский поражен был каким-то невольным, как бы инстинктивным изяществом всех форм в этой обители убожества и простоты. Дотоле ехал он сломя голову и едва успевал вздохнуть и перехватить кое-чего на станциях; здесь в первый раз осмотрелся в италийском быту. Он сообщил замечание свое товарищу.

- Подлинно, - сказал Алимари, - в Италии и Греции чувство прекрасного преобладает в народе. Слава, просвещение, богатство наше исчезли в веках, но и в развалинах, поросших мхом бедности и невежества, являются великолепные формы, соврожденные любимца древнего мира. Здесь и посреди Греции можно перенестись умом в первобытный мир и в

необразованной поселянке вообразить себе древнюю гречанку или этруску, в простой кружке, подносимой вам гостеприимством, видеть вазу, которой недостает только тысячелетней давности, чтоб красоваться в богатом музее.

Друзья расположились у окна, из которого вид простирался на обворожительную сельскую картину. Свесившиеся над окном виноградные лозы защищали их от палящих лучей солнца. Кемский ожил душою: в первый раз с той минуты, как оставил Наташу, почувствовал он, что жив еще, что может мыслить и передавать мысли, что есть существо, умеющее понимать его. Алимари разделял его искреннюю радость. В усладительной беседе улетали быстрые часы.

- Друг мой, - сказал Кемский, - не считите моих вопросов пустым любопытством; не поскучайте отвечать мне. Скажите, кто вы, каким образом произошло, что вы и италиянец, и русский, что вы дома и в Финляндии, и на берегах Адды? Где ваша родина? Где ваше семейство? Кто открыл вам те познания, те соображения, которыми вы изумляли не одного

меня? Поведайте мне тайну вашей жизни; я буду хранить ее свято, если она действительно тайна, но во всяком случае узнаю вас ближе и теснее заключу союз, невидимо возникший между нами в то самое мгновение, когда звук вашего голоса коснулся моего слуха.

- Вы знаете, князь, - сказал Алимари, улыбаясь, - что отвечал один член голландских генеральных штатов, когда его разбудили в собрании и спросили, согласен ли он сдать город французскому королю: да разве король требовал сдачи? Так и я скажу: вы полагаете, что я скрываю от вас, кто я, но разве вы меня о том когда-либо спрашивали? А навязывать историю моей жизни я никому не хотел: не всяк охотно слушает чужие похождения, и кому своя жизнь не дороже чужой, хотя бы Кировой или Александровой! Вам угодно, извольте, я сообщу вам некоторые обстоятельства моей жизни; некоторые, говорю, ибо в жизни моей были такие случаи, которых я не только пересказать другому, но и сам вспомнить едва ли в состоянии.

При этих словах твердый голос Алимари задрожал, слезы выступили на глазах его, но

он вскоре оправился и продолжал.

XXIV

- Отец мой был родом из Венеции, мать морлачка, оба люди не важные и не богатые благами земными. Отец мой был искусный шлюзовый и фонтанный мастер: в обильной водою и скудной землею Венеции находил он довольно работы и пропитания. Однажды (это было около 1715 года, ему от роду было лет двадцать) чинил он в Венеции дождевую трубу у одного богатого дворца. Примостясь к краю канала, он работал прилежно, поглядывая изредка на миловидную девушку, в славянском наряде, продававшую прохожим вкусные горячие пирожки. Голубые глаза пирожницы встречались с пламенными взглядами молодого работника, и уже рождалась та невидимая нить, которая соединяет сердца лучами глаз. Эти безмолвные переговоры длились несколько дней. Антонио с унынием видел, что работа его приближается к концу, что вскоре должно будет оставить это место и пригужую торговку, основавшую тут свою подвижную лавочку. Он замедлял окончанием своего дела, чтоб продлить еще минуты на-

слаждения. Ему казалось, что и славянка с прискорбием глядит на приготовления его к оставлению места, сделавшегося им драгоценным. Вдруг выходит из дворца молодой человек в богатой одежде; в походке, во всех его движениях и в чертах лица, прекрасного от природы, изображались гордость, дерзость и бесстыдство. Он приближается к торговке, левою рукою берет за один пирожок, а правою треплет ее по щеке, спрашивает о цене пирожка и в то же время произносит что-то вполголоса. Она краснеет и уклоняется от его ласк, молодой человек становится смелее, схватывает ее обеими руками, она вскрикивает... Не прошло двух секунд, как дерзкий юноша летел стремглав в канал, за ним сыпались горячие пирожки с лотка девушки. Антонио бежал с нею на первой гондоле. Они вышли на берег в Местре и наняли извозчика до Тревиза. Там был у Антонио брат, каноник, человек добрый и сострадательный. Беглецы явились к нему и со слезами объяснили причину своего поступка. В Тревизе уже было известно, что племянник дожа кем-то столкнут в канал и вытащен в беспомощности. Искали ви-

новников этого несчастного случая; заметили, что работавший у берега мастер скрылся, и послали погоню в разные стороны. Каноник советовал Антонио бежать за границу венецианских владений, а морлачке воротиться в Венецию, потому что никто не подозревал ее в соучастии. Они было согласились и со вздохом потупили глаза, но, когда подняли их, чтоб проститься, не могли удержать влечения сердец, бросились в объятия друг другу и объявили брату, что никогда в жизни не разлучатся. Каноник, избравший духовное звание с отчаяния о потере любезной, понял их: чрез час служитель церкви освятил союз их в скромной часовне, и только при венчании Антонио узнал имя своей подруги: ее звали Еленою. Каноник отдал им все, что мог отдать, сам проводил за город по дороге в Швейцарию, простился с ними и дал им напутственное благословение. Вскоре перешли они границу, перебрались чрез грозные Альпы и очутились во Франции. Антонио решился идти в Париж: в малых городах он не мог снискивать пропитания ремеслом своим. Они добрались до Парижа и отправились в Версаль,

где требовались искусные мастера для поддержания тамошних великолепных фонтанов. Антонио поселился с женою в селении Пор-Марли, неподалеку от машины марлийской. Работал прилежно и успешно и, утомленный дневными трудами, в объятиях доброй жены находил отраду и отдохновение. Музыка была главною их забавою: Антонио играл на флейте и на гитаре венецианские баркаролы; Елена пела по внушению природы и верного вкуса прекрасные песни морлацкие.

Время текло для них неприметно. Иногда Елена горевала, что вскоре забудет свой славянский язык, и Антонио в угождение ей выучил несколько морлацких слов.

Однажды, это было летом 1717 года, Антонио работал на большой марлийской машине. К нему подходят какие-то иностранцы. Один из них, одетый проще других, отличался сановитостью и благородным видом. Он входил во все подробности устройства машины, любопытствовал узнать в точности законы, по которым она составлена, рассматривал все орудия. Он говорил чрез переводчика,

но Антонио понимал большую часть слов его - они были славянские - и предупреждал ответами перевод вопросов. "Откуда ты родом"? - спросил его с приятною улыбкою иностранец. "Я венецианец, синиор", - отвечал он. "Как же ты понимаешь мои слова?" - "Не диво, - отвечал отец мой, - вы говорите наречием славянским, похожим на язык жены моей; она морлачка, славянка, и поймет вас еще лучше моего". - "Хотелось бы мне увидеть землячку, славянку, - сказал иностранец с возрастающим участием, - где твоя жена?" - "Мы живем недалеко отсюда, и, если синиор не погнушается нашим простым обедом, мы угоstim его славянскими пирожками, каких, конечно, нет на столе регента Франции". - "Хорошо, - сказал иностранец, - ударил адмиральский час, и я охотно принимаю твое приглашение. Пойдем!" - "Нет! - сказал Антонио. - Ваш час ударил, а наш еще не пробил. Я не смею до звонка отлучиться от работы". Один из провожатых незнакомца сказал Антонио по-французски, что он может отлучиться до срока в угождение почтенному посетителю, но иностранец никак не хотел этого дозво-

лить, похвалил прилежание мастера и для сокращения времени сам занялся его работой.

Ударил обеденный колокол; отец мой сложил инструменты и пригласил своего гостя пойти за ним. Провожатые хотели идти туда же, но он велел им дожидаться его возвращения и пошел в жилище бедности, довольства и благополучия. На пороге встретила их Елена, бросилась в объятия мужа, не обращая внимания на пришельца, стала целовать его и отирать пот с его лица. "Вот, Елена, - сказал отец мой, - я привел к тебе гостя, твоего земляка: он хочет пообедать с нами". - "Вы славянин? Морлак?" - спросила Елена с радостным трепетом. "Славянин, хоть и не морлак, - отвечал иностранец, поцеловав ее в лоб, - я русский, москвич, и тебе не чужой! Слыхала ты о русских?" - "Как не слышать! воскликнула Елена. - Говорят, они народ добрый и хотят освободить всех наших земляков от ига турецкого. А царь у них, сказывают, куда смысленный и умный человек. Добро пожаловать, господин москвич! Прошу не погневаться на нашу простую славянскую пищу, мы подносим ее вам с любовью и уважением". Сели за стол.

Иностранец кушал и пил охотно и не мог нахвалиться пирожками изделия хозяйки. "Послушай, - сказал он Антонио, - наш царь берет в службу хороших и трудолюбивых мастеров: не хочешь ли ты к нам определиться? Тебе на Руси будет житье привольное, и Елена твоя заживет там как дома. Вам здесь оставлять и терять нечего. Подумайте, и если найдете, что это вам выгодно, то приходите завтра в квартиру царя в Париже, подле арсенала, да спросите Петра Михайлова, а я между тем поговорю о вас с царем и уверен, что он вам не откажет". Супруги не могли еще образумиться, как незнакомец, простясь с ними, вышел из их дому. Чего тут было долго размышлять?

На другой день отправились они в Париж, добрались до арсенала и узнали жилище царя по множеству карет, которые стояли в готовности для его разъездов. Они спросили Петра Михайлова и были введены в богатую комнату, где увидели вчерашнего своего гостя посреди русских и французских царедворцев. Им нетрудно было узнать, кого принимали вчера. Петр обнял их ласково и, не теряя времени, дал им письмо к Меншикову, велел

выдать паспорт и отпустить денег на дорогу. Через месяц были они в Петербурге. Отец мой и еще один земляк его употреблены были при постройке шлюзов на реках Ижоре и Увере. Государь, по возвращении в Россию, посетил мастеров в новом их жилище, осведомился, довольны ли они содержанием, покушал пирожков печенья Елены, шутил над нею, что у ней нет детей, и взял слово, что она позовет его в кумовья, когда родится у ней сын. Это было и пламенное желание моих родителей, но оно сбылось не скоро: я родился в исходе 1724 года. Отец привез меня в Петербург, и великий государь за два месяца до своей кончины был моим восприемником. Он надел на меня вот этот золотой крест, который пойдет со мною в могилу.

Алимари вынул крест, висевший у него на шее, поцеловал его со вздохом и продолжал.

XXV

- Итак, вы видите что я, хотя италиянец по происхождению, католик по исповеданию, но славянин по матери и русский по месту рождения. Вскоре после моего рождения скончался наш великий благодетель. Родители мои

просили слезами искренней скорби хладные его останки и неоднократно на гробнице восприемника моего пламенно молились богу, почерпали новые силы для перенесения бедствий и тягостей житейских.

Отец мой умер, когда мне было от роду семь лет. Брат его, возвысившийся между тем на степень епископа тровизского, упросил мою мать отправить меня на родину отца. Она согласилась, но сама не могла за мною следовать, не могла оставить того места, где был погребен ее любезный Антонио. Меня привезли к дяде, который осыпал меня ласками и милостями. Сначала жил я у него в доме, потом отдан был в иезуитское училище. Дяде хотелось, чтоб я вступил в духовное звание; я же сам не знал, чего хочу, только учился прилежно и успешно. Когда мне минуло пятнадцать лет, получил я от матушки известие, что она занемогла, тоскует по мне, предчувствует близкую свою кончину и хочет меня благословить. Почтенный епископ ни минуты не колебался, отправил меня в Петербург с позволением жить там, сколько времени пожелаю. Я увиделся с моею матерью, о которой

В душе моей оставалось одно темное воспоминание, украшенное чувством любви и благодарности детской. Она была очень слаба и умоляла меня не оставлять ее. И я не мог бы решиться на вторичную разлуку с нею. Мы уведомили об этом намерении дядю; он охотно на то согласился, прислал мне денег и советовал искать в Петербурге случая продолжать начатое учение. Я искал не долго. Однажды, по обыкновению, проводил я матушку на могилу отца, за Невою, у церкви Самсония, и, между тем как она молилась над прахом ей любезным, я бродил по кладбищу и читал надгробные надписи - италиянские, французские, латинские. Вскоре заметил я, что по следам моим ходит какой-то человек, высокий ростом, бледный, с унылым взглядом и прислушивается к моему чтению. Детское мое тщеславие возбудилось этим вниманием; нашед на одном камне эпитафию в латинских стихах, я прочитал ее громко, с точным наблюдением меры стихов. На лице незнакомца изобразилось удовольствие. Он подошел ко мне, взял меня за руку и ласково спросил по-латыни, кто я. Я объявил ему мое имя и

звание и указал на матушку.

- Горесть ее священна, - сказал он с участием, - не надобно нарушать ее. Ты мне нравишься, юноша! Мне желалось бы познакомиться с тобою покороче. Когда можешь, приходи в Невскую лавру и спроси там Селлия, учителя семинарии.

Он пожал мне руку и удалился. Я всегда имел большую склонность к таинственному и необыкновенному: это знакомство, начавшееся на кладбище, объяснением на мертвом языке, казалось мне привлекательным. Дня через два явился я по адресу и нашел Селлия в укромной келье, окруженного рукописями и книгами. Он не был монах и, удивительно, был протестант, но по любви к России, к греческой вере, к наукам поселился в русском монастыре. Он сделался моим учителем, руководителем, другом. Мне легко было вспомнить русский язык, который я было совершенно забыл в Италии, но никогда не мог я выучиться говорить на нем, как на природном. Селлий выучил меня языку немецкому, усовершенствовал в познании языков древних, посвятил в таинства науки естества, познако-

мил с русскою историею и вселил в меня отвращение к монашеству католическому, хотя никогда не говорил со мною о моей вере, никогда не позволял себе ни малейшего замечания на католические обряды и предания. Так провел я жизнь свою до осьмнадцати лет в беседе с доброю матерью, в строгих, но усладительных занятиях науками. Тогда постиг меня первый удар судьбы: матушка скончалась. - Алимари умолк на минуту и отер слезу. - Селлий знал положение моего семейства. С кончиною матушки прекращался пенсион, который производили ей по указу царскому. Я оставался один, без надежды, без помощи в России. Он советовал мне последовать приглашению дяди, призывавшего меня к себе. Оросив искренними слезами могилы моих родителей, обняв в последний раз почтенного моего наставника, я уехал в Италию. Епископ принял меня с прежнею любовью, обрадовался моим успехам, написал собственноручное благодарственное письмо к моему наставнику, хотел послать ему и подарок, но я, зная моего друга, удержал его: Селлий отослал бы этот подарок назад, к огорчению дяди. Меня

отправили в павийский университет. Я страстно занялся науками. Исследование чудес природы, свойств человека и судеб его, изучение древности были главными предметами моих занятий. Тщетно старался дядя обратить внимание мое на духовные науки, тщетно представлял мне в отдалении тиару и ключи святого Петра. Я был послушен ему во всем, только в этом остался непреклонен: почтительно, но безусловно объявил ему, что хочу остаться мирянином. Он был огорчен и раздражен моим отказом и в минуту гнева объявил мне, что за непокорность лишает меня наследства. Я не горевал о потере богатства, ибо в тот самый день другая, большая печаль преисполнила мое сердце: я получил известие о кончине Селлия. Это было в 1746 году. Тогда...

Алимари встал с своего места, прошелся несколько раз по комнате и, как будто вновь собравшись с силами, продолжал:

- Чрез десять лет после этого получил я в Бадахосе известие о кончине моего дяди. Угроза его ограничилась словами: я наследовал значительный капитал, отданный им на-

всегда в венецианский банк, с тем чтоб при малейшей опасности, которая бы угрожала венецианской республике, этот капитал был переведен в Голландию или в Англию; это сделано по его завещанию года за четыре пред сим, когда французская армия приблизилась к границам Венеции.

С того времени, вот уж этому с лишком сорок лет, я живу в мире один, занимаюсь науками и искусствами, езжу из одной страны в другую, люблю жить в Италии, но иногда непреодолимою силою влекусь на север, посещаю Россию, любезную, гостеприимную, спокойную, величественную; признаюсь вам: желал бы быть погребенным подле отца и матери, ибо других могил для меня священных нет в мире. Теперь я странствую по Италии, служу переводчиком для русских, французов и италийцев; помогаю, сколько могу, тем и другим. И здесь, любезный князь, судьба нас опять соединила. И в какое время! Повсюду льется кровь; повсюду борются между собою адские страсти! Французы и италийцы, приверженцы нового и старого порядка вещей, терзают друг друга, как кровожадные тигры.

Вы, добрые русские, пришли сюда для того, чтоб рассечь этот Гордиев узел. Намерения вашего государя бескорыстны и великодушны. Ваш предводитель понимает свой долг и исполняет во всей точности. Но они имеют дело с ужаснейшими страстями, изуверством и мщением. Впрочем, каков бы ни был успех этой войны, на чьей бы стороне ни остался перевес, - русские стяжали в ней славу бессмертную не одною храбростью - и благородством.

Мне привелось быть очным тому свидетелем. За несколько дней пред сим был я на одном из венецианских островов, отнятых у французов соединенными силами россиян и турок. Любопытное было зрелище видеть русских и вечных врагов их, мусульман, сражающихся в одних рядах, за одно дело! Но любопытнее всего была взаимная борьба этих новых союзников. Турки не могут покинуть древнего своего обычая отсекаль головы у пленных неприятелей, а русские не могут вразумить их, что это противно правилам войны. Что ж делают ваши соотчичи? Они покупают пленников у турок и тем спасают им

жизнь. Я сам был свидетелем, как майор морских полков Соколов удержал саблю, поднятую турецким солдатом над головою одного французского офицера. "Что тебе дадут за его голову?" - спросил он у него через переводчика. "Червонец". - "Вот тебе два - отпусти его". И не одни офицеры - солдаты спасали многих несчастных. Да сохранит бог в вашем народе эту кротость к побежденным, эту преданность государю и Отечеству - и Россия вознесется над всеми царствами Европы, погрязшими ныне в бедствиях и преступлениях, порожденных забвением законов божиих! Я в России родился, надеюсь умереть в России: ее слава и благоденствие мне драгоценны.

XXVI

Последние слова произнес Алимари с выражением глубокого чувства. Кемский дружески пожал ему руку, но молчал, как будто дожидаясь продолжения рассказа. Алимари понял его.

- Вижу, - сказал он, - что повествование мое не удовлетворило вашему ожиданию. Не знаю, с чего многие взяли, что я должен быть человек необыкновенный, загадочный. Не от-

того ли, что я то появляюсь, то исчезаю в одном месте, как Аполлоний Тианский?

- Признаюсь, - возразил ему Кемский, - и я полагал, что вы не принадлежите к нашему кругу, к числу людей обыкновенных. Думаю так и теперь: какая-то непонятная сила влечет меня к вам, и я уверен, что беседа с вами, приязнь ваша, не смею сказать: дружба - меня бы осчастливила. Притом ваши познания, особенный взгляд на мир вещественный и духовный - все это влекло и влечет меня к вам с непреодолимою силою. И теперь, после вашего простого рассказа, я остаюсь в том уверенности, что не много найду таких людей, как вы.

- Как легко, - сказал с улыбкою Алимари, - прослыть в свете человеком необыкновенным! Меня видят лет тридцать в одной поре, то есть волосы мои уже не седеют с того времени, тело не сохнет, потому что нечему ни поседеть, ни высохнуть; никто не видал меня больным; многих я излечил простыми средствами вот и прославили меня неуязвимым, бесстрадальным, едва ли не бессмертным. Я ни у кого не занимал денег, иному и помогал безделицею - от этого прослыл миллионщи-

ком, алхимиком. Я занимаюсь изучением природы - говорят, что я чародей, духовидец, колдун.

- И я, - возразил Кемский, - принадлежу к числу людей, которых вы изумили своими мнениями. Ни от кого не слышал я столько любопытного о важных и грозных явлениях жизни, как от вас, - а беседовал с вами всего только два часа. Вы изумили меня особенно тем, что проникли в мир духовный не только с верою, но и с знанием. И вы хотите оставаться в рядах обыкновенных?

- Это было и есть, - продолжал Алимари, - следствие усердного изучения природы, следствие того, что я отбросил школьные вериги, презрел насмешки вольнодумства и дерзости осьмнадцатого века и изучал природу не в книгах, а в ее действиях и в своей душе. Не думайте, чтоб я один обладал этими знаниями и средствами к их приобретению. Посреди грозных бурь войны и революции зреет школа натуралистов-философов, которые начали изучение природы с познания бога, источника всего видимого и невидимого. Теперь они сами еще в школе, еще рассматривают, еще

обдумывают предмет своей науки, но вскоре свет увидит плоды трудов их. Начав исследование природы с источника всех сил, мы при окончании сего исследования естественно обратимся опять к этому источнику и таким образом соорудим систему, основанную на законах вечных и непреложных. Исчезнут гнусные, богопротивные положения материалистов; дух всеобщий, дух человечества займет свое место в природе, и все люди вновь обратятся с чистым сердцем к Всевышнему строителю миров, как поклонялись ему в дни светлого своего младенчества. Тогда поклонение было детское, невольное; нынешнее - будет вечное, неизменное!

При сих словах глаза Алимари блистали огнем необыкновенным; звуки голоса его были звучнее, разительнее, нежели когда-либо; слезы умиления лились по морщинам лица. Кемский был поражен его словами.

- И вследствие этого учения, - сказал он чрез несколько минут торжественного молчания, - вы верите существованию духов?

- Неужели, - спросил Алимари, - вы, как философ и христианин, могли отвергать суще-

ствование духовного мира? Но вы не то, вероятно, сказать хотели. Вы хотели спросить, верю ли я духовидению, появлению духов в земном, вещественном мире. Так ли? На это отвечаю вам вопросом: верите ли вы существованию фигур, ясно представляемых вам волшебным фонарем на белой стене? Неужели это призрак воображения? Нет! Это есть искусственное преломление лучей, произведенное по законам нашего зрения. Слепой ничего на гладкой стене не ощупает. Так и с видениями. Их нет в существе, в осязаемости, как нет цветов, лучом света производимых, нет звуков флейты, потрясающих фибры нашего слуха, но эти видения существуют в глубине души нашей, суть представления внутренних ее движений, изображают прошедшее, затаившееся в душе нашей темным воспоминанием, иногда и будущее, по особенному, таинственному сочетанию действий духовного мира, - как в вещественном, например, птицы предчувствуют непогоду. Душа наша, по словам великого вашего Державина, есть гостья мира; заключенная в темнице своей, теле, она играет и действует своими цепя-

ми, не может перенестись за стены тесной и темной храмины, но в ней есть свои силы, дремлющие в этом заключении и проявляющиеся во всем блеске, когда она наконец исторгнется на свободу.

- Но все это одни догадки, - сказал Кемский с возрастающим любопытством, кто видел душу вне этой темницы! Кто видел действия неведущих ее органов?

- Она дремлет в сей темнице, но иногда и просыпается, - отвечал Алимари. Бывают состояния души, в которых она действует не внешними органами, и это случается во сне естественном и магнетическом. Размышляли ли вы когда-либо о сновидениях? Старались ли вы постигнуть эту силу, которая бодрствует в нас, когда спят все прочие силы? Старались ли вы постигнуть этот мир поэзии и чар, который пробуждается в нас, когда мир вещественный покроется мглою? Это сон естественный. Заметьте, что мы помним только те сновидения, которые грезилась нам пред просыплением; но если б могли вспомнить и сообразить то, что видится душе нашей, когда она погружена в полноту этого забвения

внешнего мира! А лунатизм? А сон магнетический? А ясновидение?

При этих словах Кемский не мог удержаться от вопроса:

- Как! И вы верите существованию и силе магнетизма? И вы убеждены, что магнетизм не есть ложь и шарлатанство?

- Убежден, - отвечал твердым голосом Али-мари, - как в существовании света дневного.

- А помните ли решение Парижской академии наук?

- Помню и знаю лучше всякого другого, ибо я в то самое время был в Париже и следовал за изысканиями. Но что значит решение академии? Академия ли открыла Коперникову систему, Ньютоново учение о притяжении, Кеплеровы законы небесной механики, порох, книгопечатание, зрительные трубы, громовые отводы? Академия ли сочинила Илиаду, Энеиду, Филиппики, Короля Лира, Освобожденный Иерусалим, Сида, Аталию? Я признаю и уважаю труды многих людей, заседающих в академиях на досуге, но академия природы для меня выше всех. Знайте же, любезный князь, что недалеко то время, в которое

живой магнетизм, эта чудесная сила существа нашего, открывающая нам многие таинства души, займет надлежащее ему место в ряду познаний и опытов человеческого рода, как сила электрическая, магнитная и другие, бывшие неизвестными древним. И в какое время академия Парижская исследовала эту силу? Когда открытие ее было еще во младенчестве, когда не было ни опытов достаточных, ни свидетельства заслуживающих вероятия людей в подкрепление учения Месмера, который, впрочем, напрасно облек свое великое открытие ребяческим шарлатанством. Вот в чем состоят мои исследования и изучения! Я не ищущу средств к обнародованию их, но от людей умных и добросовестных не скрываю того, что мне узнать случилось. Пусть ученая недоверчивость в борьбе с гнусным шарлатанством несколько времени густым облаком скрывает от взоров людских эту выпренную силу: наступит время, и лучи истины разгонят мрак страстей и предрассудков! И обратите внимание еще на одно обстоятельство: в истекающем ныне столетии, когда дерзкие умы посягнули на все священ-

ное для человека, когда хотели отнять у него и душу бессмертную, и надежду на вечную жизнь, превратив его в машину, действующую механически по воле одного скотского инстинкта, когда отринули они и существование Бога, утешителя и хранителя мира, - тогда душа человеческая, изгнанная с лица земли, затаилась в глубине самой себя и там, в сновидениях, вновь обрела то, что у ней отнимали наяву, - обрела веру в свое существование, в свое бессмертие. Когда молчат люди, тогда красноречивы камни; когда заблуждается бодрствующий, тогда истина проявляется спящему; когда не дают свидетельства живые раздается пророческий голос мертвых!

Алимари умолк. Кемский молчал также, с умилением глядя на лицо своего друга, пылавшее пламенем внутреннего восторга.

- Желал бы я, - сказал он наконец, - увериться собственными глазами, собственным слухом в истине того, что вы мне говорите и чему я, впрочем уважая вас, охотно верю.

- Для этого должны ждать случая, - отвечал Алимари. - Случай магнетического сна мог бы я доставить вам без труда, ибо это зависит от

воли нашей, но вещей сон естественный есть дело редкое. Показать вам не могу, но могу рассказать случай, которому я был свидетелем и который подтвердят вам земляки ваши, офицеры двух полков. И это было очень недавно, не в далеком отсюда расстоянии.

XXVII

- На странствиях моих по театру войны провел я вечер в Вероне. Проходя мимо одного трактира, услышал я хохот, прерываемый звоном рюмок и русскими восклицаниями. "Это наши!" - подумал я с удовольствием и, не утерпев свидеться с земляками, вошел в трактир: человек шесть артиллерийских офицеров ужинали по-русски, то есть с шумом и смехом. Я подсел к ним и вскоре с ними познакомился. "Веселитесь, забавляйтесь, молодые люди, - сказал я им, когда один из них стал извиняться предо мною в излишней шумливости их беседы, - вы моложе меня, но я далее вас стою от опасностей и смерти. Что будет завтра - не знаем; поживем весело сегодня". - "И не станем говорить об опасностях, сказал один милостивый белокурый офицер, - они незваные пожалуют к нам на

встречу; лучше потолкуем о родимой земле, о друзьях и родных, оставленных нами в России..." - "А тебе не худо бы, Александр, подумать и о вечности", - сказал другой, черноглазый остряк с значительной улыбкою. "Мне?" - спросил первый, почему ж именно мне, а не другому?" - "Потому что, потому, что мне это приснилось". - "Вот прекрасно!" - закричали все. "Ему приснилось! Двинскому приснилось! Вот пророк!" - Все хохотали, и Двинский вместе с прочими. "В самом деле, - сказал он, - я видел эту ночь странный сон. Я было совершенно забыл о нем, но теперь, глядя на Ладина, припомнил все обстоятельства. Выслушайте, что мне пригрезилось. Вы помните место прогулки нашей в Виченце за городом?" "Как не помнить!" - вскричал другой. "По прекрасной каштановой аллее, к древнему монастырю, где мы не раз восхищались и унылым звоном колоколов и вечернею зарею". - "И где всем, кроме Ладина, бывало страшно!" - сказал третий. "Точно, - продолжал Двинский. - Вот мне снится, что я прогуливаюсь по этой аллее, подхожу к монастырю, вижу: отворены ворота и в ограде множе-

ство народу, вступаю в ограду, двери церковные отперты, во мгле древнего храма теплятся свечи. Вхожу туда: среди церкви стоит на амвоне гроб лилового цвету". - "Лилового! - закричал один офицер. - Новая мода!" - "Вокруг гроба стоят незнакомые мне кирасирские офицеры, и только один наш полковник Ельцов. Подхожу к гробу, смотрю на покойника - это Ладин - бледный, ужасный. Я испугался и проснулся. Но это так ясно, так отчетливо представилось глазам моим, что я теперь мог бы нарисовать все. Как я обрадовался, уверившись, что это мечта!" Все молчали. Ладин призадумался. "Что за вздор! - сказал один офицер, старше прочих. - Этому ветренику пригрезилась какая-то дичь, и он всех нас опечалил. Полноте, господа! Выпьем за здоровье нашего главнокомандующего и пожелаем, чтоб наши ядра скорее зажужжали в ушах неприятельских! В животе и смерти бог волен, а пока живы мы, грустить не о чем, менее всего о том, что приснится сытому или голодному!" Разговоры о других предметах вскоре изгладили это минутное впечатление грусти и грозных предчувствий. Ужин кон-

чился весело. Я простился с офицерами и пошел в свою квартиру. На другой день я еще спал, как барабанный бой и стук колес по мостовой возвестили мне об отходе этих минутных, но искренних моих приятелей.

Чрез две недели после того был я в Виченце. В одно утро вышел я за город и заметил, что иду по той самой аллее, о которой говорил Двинский. Воспоминание о том вечере и о свидании возобновилось в душе моей; иду далее - вот черные стены монастыря, ворота открыты, народ толпится в ограде и на паперти церкви. Вхожу в монастырь, в церковь - посреди ее стоит на возвышении лиловый гроб. Вокруг него русские кирасирские офицеры и один артиллерийский. Я приблизился к покойнику, взглянул - это был Ладин. Ужас объял меня. Я удалился в угол церкви, боясь видимым волнением чувств моих нарушить священное безмолвие. Обряд погребения, по неимению русского священника, совершали монахи католические. Пособравшись с мыслями, я подошел к артиллеристу и спросил у него, кого хоронят и не от ран ли умер этот офицер.

- Нет, - отвечал он, - бедный мой товарищ умер от болезни, от недостатка врачебного пособия. Он шел с ротою к армии. Миновав Верону, он был отправлен обратно с приказаними ко мне навстречу (я иду из Вены с запасными орудиями); не доезжая двух станций отсюда, занемог бог знает отчего и умер чрез два дня. Вот я принужден хоронить его, хоронить не по обряду православной церкви, и даже должен был обить гроб лиловым атласом: здесь, в городе, не нашлось малинового.

Обряд кончился; мы снесли гроб юноши в юдоль вечного покоя. Потом рассказал я полковнику Ельцову (это был он сам) о встрече моей с офицерами в Вероне, о вещем сновидении Двинского. Мы оба не могли надивиться этому случаю и согласились только в одном...

В это время послышался на улице шум, и раздался голос Ярлыкова:

- Все готово, ваше сиятельство! Извольте садиться.

Друзья вышли из дому. Кемский был в глубоком размышлении. Коляска подъехала к крыльцу.

- Простите, друг мой, - вскричал Кемский, -

может быть, навсегда!

- Не может быть! - отвечал Алимари. - Мы непременно увидимся, и еще в здешнем мире. Теперь, - продолжал он по-французски, - сделайте мне одолжение: примите от меня на память вещь, которая, в случае нужды, может послужить вам. - С сими словами вынул он из записной книжки своей лоскут бумаги, написал на нем несколько слов карандашом, свернул его и подал Кемскому. - Возьмите! Вы будете в сражениях...

- Не думаю, - прервал его Кемский, - я еду с депешами и, вероятно, с тем же и ворочусь.

- Но может статья! Кто знает будущее? Берегите эту бумажку. В случае крайней опасности прочтите слова, на ней написанные. Это вам не повредит, а, вероятно, поможет. Теперь мне некогда толковать вам, что это такое; прошу только верить, что я не чародей, а истинный друг ваш! - Алимари улыбнулся сквозь слезы. Кемский прослезился также. Они обнялись в безмолвии. Кемский бросился в коляску, и она помчалась по косогору.

С.-Петербург

XXVIII

В то время, когда Кемский быстро летел к месту своего назначения, верная его Наташа испытала все мучения, какие только могут столпиться над головою человека. Неожиданный, внезапный отъезд мужа сразил ее жестоко. Она была близка к отчаянию; будущее рисовалось в ее воображении самыми ужасными чертами: она видела друга своего раненого, убитого, взятого в плен; ей слышались звуки какого-то тайного голоса, который нашептывал ей в минуту уныния и тоски: ты его не увидишь! В этих жестоких терзаниях не раз помышляла она о смерти, не раз молила бога отозвать ее от здешнего мира до совершения грозивших ей ударов. И надежда, вечная утешительница и обманщица смертных, не могла бы подкрепить ее, если б другое чувство - возвышеннейшее - не придавало ей силы: она ощущала уже обязанности матери.

Если, с одной стороны, это неизъяснимое в женщине ощущение придавало ей силы переносить настоящие горести, с другой - жестокий удар судьбы, поразившей ее в то самое время, мог показаться ей вестником новых страданий в будущем. Неожиданно, скоропо-

стижно лишилась она доброго своего родителя. Она сидела однажды поутру у письменного столика, поверенного ее страданий и утешений, и выражениями пламенной любви покрывала лист, готовившийся лететь к другу ее сердца. Вдруг вбежала в кабинет ее горничная и прерывающимся голосом объявила, что от Василья Григорьевича прислан человек, что Наталью Васильевну просят немедленно пожаловать к бабушке, что он опасно заболел. Испуганная Наташа бросилась к отцу. С ним приключился удар. Он лежал без языка, дышал с трудом и только рукою манил кого-то к себе. Увидев дочь свою, он несколько пришел в себя и едва внятным голосом произнес:

- Наташа! Прости!.. Муж твой... сестра моя... монастырь... Наташа, прости! - Он простер к ней руки - это было последнее усилие отлетавшей жизни. Через несколько минут спокойствие смерти водворилось на кротком челе честного человека и доброго христианина.

Казалось бы, что этот новый удар усугубит ее страдания, доведет ее до отчаяния - но нет! Природа так устроила сердце человеческое,

что в нем есть место для всякой печали, что новая горесть, присоединяясь к прежней, не усугубляет, а как будто утоляет ее. Наташа горько рыдала над прахом доброго отца, и эти слезы о потере невозвратной чудесным образом дали ей отраду и утешение в воспоминании об отсутствовавшем.

- Алексея здесь нет, но он жив: он помнит, он любит меня! - говорила она, перечитывая страстные его письма.

Алевтина Михайловна принимала живейшее участие в судьбе Наташи, навещала ее ежедневно, осведомлялась с нежностью о ее здоровье, с восторгом читала письма брата и орошала их слезами. "Это слезы искреннего раскаяния, - думала добрая Наташа, - ей совестно, что она, по извинительным, впрочем, побуждениям материнской любви, слишком неосторожно порадовалась мнимому наследству. Слава богу, что это так кончилось! Время исправит ее еще более, и она бросит все свои интриги и замыслы, когда удостоверится, что они излишни и вредны ей самой".

Один нечаянный случай открыл глаза престодушной. Через несколько дней по погребе-

нии отца Наташа сидела вечером у Алевтины, которая самым нежным вниманием старалась доказать ей свое участие, с чувством уважения говорила о покойном и рассыпалась в похвалах отсутствующему брату. Наташа слушала ее в молчании. Алевтина, окончив заученный молебен, умолкла. Иван Егорович счел обязанностью своею воспользоваться этою перемежкой и подтвердить слова жены.

- Вы не поверите, княгиня Наталья Васильевна, как мы любим вашего супруга, как о нем стараемся. Теперь он на пути к счастью, теперь исполнились давнишние его желания отличиться на войне. Долго ждал он этого случая! Да и трудненько было выхлопотать для него такое лестное поручение. Сколько охотников из самых случайных фамилий набивались на отправление и Италию! Нам бог помог уладить.

Наташа изменилась в лицо и уронила из рук своих работу. Алевтина Михайловна, разговаривавшая между тем с матерью, не слышала начала речи, но вдруг догадалась и закашляла, поглядывая на своего мужа с выра-

жением изумления и злобы. Он смутился и затвердил: "Да! Да! Да!" Испуганная Наташа спросила трепещущим голосом:

- Скажите, ради бога, что это значит? Так это был не случайный наряд? Так эта разлука... так это вы? Несчастный! Он погиб, и я также! - вскричала она с выражением отчаяния и кинулась в двери.

Все бросились к ней. Алевтина стала клясться и божиться, что ничего не знает, что не понимает, с чего Иван Егорович взял это, плакала, рыдала. Прасковья Андреевна готовилась снять образ со стены. Иван Егорович, бледный, испуганный, говорил заикаясь:

- Ей-ей-с, да-с, ничего не знаем-с. Ваше сиятельство... это я так... хотел пошутить, утешить вас.

- Молчите, сударь! - закричала Алевтина. - Вы своим хвастовством меня губите: выдумали о каких-то связях моих с случайными людьми! Что вы! С ума, что ли, сошли? Извольте выйти вон, а то еще бог знает чего нагородите.

Наташа поуспокоилась, но не говорила ни слова с Алевтиною и ее матерью, приказала

подать карету и, отдав им холодный поклон, уехала домой. Тоска безотрадная ждала ее в одиночестве. Она кинулась на колени пред образом, подаренным ей теткою, и усердною молитвою тщилась подкрепить себя в борьбе с отчаянием.

Итак, Алевтина действительно была причиною отправления Кемского! Итак, она не отказалась еще от своих коварных замыслов! Возможно ли, чтоб умилительное счастье брата и жены его не могло ее тронуть? К несчастью, возможно. Невозможно было бы противное. Солнце идет неизменным путем своим; луна в урочное время переменяет свой облик; лев упивается кровью; горлица умирает за птенцов своих; злой человек нижез одно злодеяние к другому и каждое препятствие на пути к исполнению своих желаний считает только новою ступенью лестницы, ведущей к желаемой цели. Таков закон природы!

Лагерь при Нови

XXIX

Солнце катилось за Боккету, когда Кемский в глубоком раздумье приблизился к месту своего назначения. Дорога шла лощиною

и вдруг поднялась на крутой холм. С высоты этого холма открылась просторная равнина, живописная, величественная, прелестная. Белые шатры рисовались вдали на темно-зеленом ковре по сторонам светлой речки, сребрившейся изгибами в крутых берегах. Необычайная тишина господствовала в этом временном жилище многих тысяч. Изредка приносились к страннику отголоски русских задушевных песен, как звуки арфы эоловой, и приводили в движение все жилки его сердца. Слезы выступили на глазах Кемского, слезы сладкого уныния, неизъяснимой тоски, небесного утешения. Русский читатель! Бывал ли ты на чужбине, среди людей, тебе незнакомых, тебя не понимающих? И там случалось ли, что перелетный ветерок приносил как бы невзначай к слуху твоему звук родной стороны? Ты поймешь слезы моего героя.

Ночь уже наступила, когда Кемский прибыл к главной квартире. Адьютанты главнокомандующего, объявив ему, что граф лег спать и что должно представиться ему утром в пять часов, повели новоприезжего в свои палатки. Долго ли знакомиться землякам, мо-

лодым военным? Чрез полчаса князь сидел в кругу искренних приятелей, рассказывал им о Петербурге, о вестях московских; слушал о новых подвигах наших храбрых воинов и не видал, как летело время. Когда новые знакомцы готовились разойтись, вошел в комнату молодой солдат, вестовой, и подал пакет хозяйину.

- От дивизионного генерала к вашему благородию! - примолвил он тоном учтивым, но вовсе не солдатским. Кемский, пораженный звуком его голоса, подошел, чтобы всмотреться в него, и узнал в молодом солдате своего доброго, верного слугу!

- Миша! - вскричал он с изумлением.

Солдат взглянул на него, залился слезами и, бросаясь в ноги, закричал:

- Ах, ваше сиятельство! Вас ли я вижу! - Князь поднял его и заключил в свои объятия.

Когда прошли первые минуты радостного забвения, Кемский объявил удивленным эту странную сценою офицерам, что этот солдат - сын его кормилицы, друг и товарищ его детства.

- Каким же ты образом попал в солдаты? -

спросил Кемский с недоумением и состраданием.

- По вашему господскому приказанию, - отвечал Миша печально.

Кемский побледнел.

- Помилуй! Как ты можешь это думать? Что это тебе на ум взбрело, чтоб я, я отдал тебя в солдаты?

- Точно так, ваше сиятельство! Вы изволили меня послать с винокуром на свиданье с матушкою, но, не доезжая до села, в первой из деревень ваших, сотский остановил нас; винокура отправил далее, а меня заковал и послал с другими рекрутами в уездный город. Я бился, плакал, спрашивал, молил растолковать, что это значит. Мне отвечали, что уже до приезда моего получено ваше приказание - немедленно по приезде в вотчину забрить мне лоб за дерзкие поступки с вами, за обманы, за - не могу выговорить, ваше сиятельство, - за... воровство. Приказ исполнили в точности. Оправдания мои были напрасны. Я ссылался на ваши милости, на ваши ласки. "Видно, брат, порядком накудесил, отвечал мне сотский, - когда такой добрый барин, как

князь Алексей Федорович, отдает тебя в солдаты. По делам вору и мука".

- Да где же был мой приказ? - спросил князь. - Показали ль тебе его?

- Показывали, ваше сиятельство! Приказ был от имени вашего и сестрицы вашей, Алевтины Михайловны, и подписан Яковом Лукичом.

- Злодеи! - прошептал огорченный князь.

- Меня отправили с партией к границе, на Волынь.

- И ты не писал ко мне? - спросил Кемский с укоризненным взглядом.

- Не посмел, ваше сиятельство!

- И ты думал, что я мог быть виною твоего несчастья?

- Несчастье было для меня одно, ваше сиятельство, что я разлучен с вами да не видался с старухою матерью, а она, впрочем, слава богу, здорова и больна не бывала - это выдумали. В службе же царской быть что за несчастье? Только неразумный мужик может называть это бедою, да разве еще семьянину больно расставаться с родными. А мне что? Рад служить царю, как служил вашему сия-

тельству. Только вы... - Слезы прервали слова его.

Князь уверил Мишу, что никогда не думал отчуждать его от себя, и убедил его, что все это сделано коварным управителем: ему совестно было обвинять не Тряпицына. Миша ожил душою, видя, что добрый его барин на него не гневен, и просил князя взять его к себе на вести, на все время войны.

- Это очень легко сделать! - сказал один из адъютантов. - Стоит написать к полковому командиру.

Кемский отправился в отведенную ему палатку, волнуемый попеременно то радостными, то грустными чувствами. Душа Алевтины открылась пред ним во всей черноте своей. "И Наташа в ее руках!" - подумал он с трепетом.

В пять часов утра явился он у палатки главнокомандующего. Там был уже полдень, по шуму и движению. Вчерашние друзья окружили его с нежным участием. Вечерняя сцена с Мишею привела всех в умиление: молодые люди пленились кротостью, нежностью души Кемского. Они были еще в тех ле-

тах, когда подвиги благородства, великодушия, самоотвержения восхищают нас, когда не закралось еще в душу, не закаленную жестоким опытом, исключительное уважение к холодности, благоразумию и эгоизму. Тут же случился и Мишин полковник; он охотно согласился прикомандировать Силантьева (так окрестили Мишу в полку) к поручику князю Кемскому на время пребывания его в главной квартире.

- Пожалуйте к графу! - сказал Кемскому офицер, вышедший из палатки.

Кемский с невольным трепетом вступил в палатку. В ней расхаживал седой, низенький, сухощавый старичок в солдатской куртке. Увидев Кемского, он подошел к нему, взял из рук его бумаги, не говоря ни слова, распечатал и начал пробегать глазами. Кемский боялся, что граф, по обыкновению, станет шутить с ним, говорить вздор, расспрашивать о пустяках. Ничуть. Просмотрев бумаги, граф кликнул камердинера своего Прошку и, велел ему позвать сухощавого бригадира, обратил проницательные глаза свои на Кемского и сделал ему несколько вопросов о Петербурге,

о Вене и вообще о делах того времени. Кемский, имевший время собраться с духом, отвечал твердо, решительно. Это понравилось графу. Он стал расспрашивать молодого человека о его родственниках, хотел знать, не служил ли кто-нибудь из его родных в армии.

- Зять мой, генерал-поручик Элимов, имел счастье служить под вашим начальством в Польше и положил там голову.

- Знаю, помню! - поспешно отвечал Суворов. - Он был храбрый человек, рассуждал не много, говорил не красно, а где надобно было постоять за матушку-государыню, там другого не спрашивай, царство ему небесное! (В это время вошел в палатку высокий, худощавый человек в гражданском мундире.) Возьми, мой дипломат, эти бумаги, поразбери их, а потом мы прочитаем их вместе. Вот родственник нашего храброго Элимова. Поди, любезный, отдохни с дороги! Бог с тобою! - С этими словами он перекрестил Кемского и поцеловал его.

Кемский вышел из палатки с радостным сердцем: ему удалось видеть русского героя, на которого обращены были взоры всего ми-

ра, видеть его с глазу на глаз, наедине, когда он не прикрывался плащом диогеновским. Весь тот день прошел для Кемского как быстрое свидание: жизнь, движение, шум военного стана занимали его каждую минуту. Он ходил из полка в полк, отыскивал и находил корпусных товарищей и в беседе с ними услаждал душу.

Вечером стоял он в кругу офицеров неподалеку от палатки фельдмаршала. Когда забили зорю, граф вышел в сопровождении русских, австрийских и пленных французских генералов. Завидев Кемского, он подошел к нему скорыми шагами и спросил насмешливо:

- Сколько у вас в Петербурге тетушек, храбрый князь?

- Ни одной, - отвечал князь, принимая это за шутку.

- Быть не может, - вскричал фельдмаршал, - у вас их тьма тьмуцая! А если нет тетушек, так есть бабушки, двоюродные сестрицы, братцы камергеры. Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит! Далеко ли ему до генеральства! (Кемский смутился.) А вот был

адъютант у вашего зятя, не помню, как звали его... нихтбештимтзагер, унтеркунфтцик - тот и без бабушек успел улизнуть из армии. Храбрый офицер, миролюбивый офицер! - С сим словом он отвернулся, заговорил с одним из генералов и пошел далее.

Кемский был в неопisanном волнении: такое приветствие, совершенно противное утреннему приему, изумило и испугало его. В это время подошел к нему секретарь, которого он видел поутру в палатке. Заметив замешательство Кемского и зная тому причину, он сказал ему с участием:

- Мне жаль, что вы ошиблись, князь! На что вам было такое множество рекомендательных писем? Через час после вашей явки граф получил ординарную почту и удивился множеству ваших заступников. Неужели его еще не знают? Он враг всякой протекции и назло делает противное тому, о чем его просят. Теперь вообразил он, что ваши покровители желают побережь вас, надеются, что граф при первом случае отправит вас обратно в Петербург с реляциею о победе.

- Могу вас уверить честью, - отвечал Кем-

ский с досадою, - что я вовсе не знал об этих рекомендациях и не понимаю, как это могло случиться. Меня послали в армию без моего ведома и почти против желания, когда я не успел даже проститься с женою... (Голос его задрожал.)

- Верю, охотно верю вам, - с чувством отвечал ему секретарь, убежденный тоном истины. - Но письма эти в моих руках, и так как в них нет секретов, то вы сами можете удостовериться. Между тем это дело надо поправить. Я попрошу князя Петра Ивановича Багратиона, чтоб он употребил вас в первом деле, и тогда фельдмаршал увидит, дорожите ли вы рекомендациями.

В это время скомандовали на молитву. Князь, снимая шляпу, пожал руку доброму своему ходатаю.

После зори пошли они в палатку секретаря, и там Кемский увидел действительно, что в пяти или шести письмах знакомые и родственники Суворова рекомендовали ему назначенного к посылке в Италию гвардии офицера князя Кемского. Иные просили его победить молодого человека, слабого здоровьем,

последнюю отрасль знаменитой фамилии, единственную отраду сестры и племянников. Кемский остолбенел: в числе просителей видел он некоторых знакомцев Алевтины, других не знал вовсе.

- Несносная страсть вмешиваться в чужие дела, - вскричал он, - навязывать свои услуги тому, кто их не просит и не хочет! Ради бога, помогите мне изгладить это неприятное впечатление в уме графа! Я жизнь пожертвую, чтобы этот великий человек не имел обо мне ложного понятия.

Секретарь успокоил его честным словом. Князь пошел в раздумье в свою палатку, где ожидал его добрый Силантьев. Кемский рассказал ему случившееся и объявил, что непременно хочет кровью смыть с себя это постыдное пятно.

- Поверьте мне, ваше сиятельство, - сказал ему Силантьев, - не любовь и не усердие к вам заставили Алевтину Михайловну искать вам покровителей. Это...

- Молчи, Миша, - вскричал Кемский с жаром, - не договаривай того, о чем я сам страшусь подумать! О люди, люди!

Это происходило в последние дни июля. Суворов, поразив на Треббии Макдональда, готовился, как разъяренный (тенетами гофкригсрата) лев, броситься на Жубера, который в обаянии славы, любви и надежды юных лет спускался с Пеннинских Альпов на северного Аннибала. Обе армии кипели нетерпением. Сначала полагали, что французы произведут первое нападение, но мнение благоразумного Моро одержало верх в военном совете: решено было занять неприступную позицию на скате гор и ждать подкреплений. Суворов, взглянув орлиным оком на положение врагов, решился двинуться на них грудью. Начальник авангарда князь Багратион на другой день получил приказание: лишь только услышит пальбу австрийского генерала барона Края на правом фланге, открыть неприятеля на левом и завязать с ним дело. До отбытия своего он пригласил к себе Кемского и объявил ему, что, узнав о случившейся с ним неприятности, берет его с собою за адъютанта.

- Позвольте мне вступить во фронт, ваше

сиятельство, - возразил Кемский, позвольте сражаться в рядах храброго вашего авангарда. Не довольно быть в деле: непременно хочу и действовать.

- Извольте, - сказал генерал с приветливою улыбкою, - ваше желание будет исполнено.

Через час объявили Кемскому, что он прикомандирован к егерскому князя Багратиона полку и имеет немедленно явиться к своей должности. Он не мешкал в главной квартире, посетил только доброго секретаря графского и отправился вперед с своим Силантьевым, кипя ревностью загладить вчерашний позор. Ему казалось, что все офицеры, все солдаты знают, какое дурное мнение имеет о нем Суворов, казалось, что над ним издеваются, указывают на него пальцами.

Авангард выстроился впереди деревни. Генерал в раздумье разъезжал пред фронтом. Кемский явился к нему и получил приказание стать в шефской роте. Все хранили глубокое молчание. Вот летит казак к генералу с донесением, что на передовых пикетах слышна пальба. Через несколько минут пушечные выстрелы справа сделались явственнее. По-

том стал перекатываться и батальный огонь из ружей.

- Теперь пора, - сказал генерал, - охотники вперед!

Надлежало послать отряд для открытия неприятеля. Надобно было тридцать человек, а охотников высыпало вдесятеро более. В минуту кинули жребий, и счастливицы с радостною улыбкою выступили вперед. Кемский обратился к баталионному командиру с убедительною просьбою поручить эту команду ему.

- Невозможно, - отвечал командир. - Штабс-капитан Леонов, ваша очередь! сказал он, оборотясь к фронту.

Вышел молодой человек. Кемский узнал в нем корпусного товарища.

- Леонов! - вскричал он. - Уступи мне свое место!

- Так это ты, Кемский! - воскликнул с радостным изумлением Леонов. - Так ты тот гвардейский офицер, о котором я сегодня слышал! Сердце мое говорило, что этот упрямый храбрец должен быть наш кадет. Радуюсь, что вижу тебя, но места своего не уступлю ни за что в мире. Я две недели ждал очереди. Про-

сти!

Он стал впереди отряда, отдал честь генералу и скомандовал: "Марш, марш!" Через несколько минут храбрая дружина исчезла за кустами. Авангард медленно двигался вперед.

Не прошло получаса, как впереди послышались ружейные выстрелы. Авангард прибавил шаг; пред ним открылась лощина, в которой передовой отряд наткнулся на неприятеля. Французы скакали назад, в лес; наши отступали в свою сторону. Из тридцати осталось человек двенадцать. Впереди вели троих пленных и несли убитого: это был Леонов. Старший унтер-офицер донес генералу, что по вступлении в эту лощину высыпала на них французская кавалерия. Наши стали было отстреливаться и отступать, но, когда пали несколько человек, ярость заглушила голос благоразумия. Защита превратилась в атаку. Один французский генерал, один полковник и еще человек двадцать пали от русских штыков. Но роковая пуля сразила Леонова, и весь отряд увидел себя обреченным на неизбежную смерть, когда звук русских барабанов в подступающем авангарде заставил

Французов отступить. Невольный трепет пробежал по всему телу Кемского, когда он взглянул на бледное, недавно цветшее здоровьем и юностью лицо Леонова. Мысль о Наташе мелькнула в душе его, но вскоре гром боя, чувство мщенья, голос чести заглушили легкий шепот любви.

Авангард двинулся вперед. Вскоре открылись пред ним ряды неприятельские, и завязалось жаркое дело. Кемский послан был с застрельщиками. Одушевленный какою-то высшею силою, он подавал своим товарищам и подчиненным пример блистательнейшей храбрости. Его линия непрерывно подвигалась вперед. Французская отступала, сражаясь неустрашимо. Вдруг почувствовал он, что его чем-то ударило в левую руку выше локтя. Он оборотился в ту сторону и увидел подле себя Мишу.

- Ваше сиятельство! Вы ранены! - закричал Миша.

- Нет, братец! Тебе так кажется!

- Ей-богу, ранены, ваше сиятельство! Посмотрите на левую вашу руку.

Кемский взглянул, увидел, что весь рукав

его покрыт кровью, и в ту минуту почувствовал боль.

- Нужды нет, - сказал он хладнокровно, - эта рана не важная; не для чего оставлять сражение.

- Правда, - сказал ему командир его в цепи, старый армейский капитан, восхищавшийся во все время мужеством молодого воина, - она, может быть, не опасна, но я вижу: вы потеряете много крови и ослабеете. Велите себя перевязать и потом можете воротиться.

- Ей-так, ваше сиятельство! - примолвил Миша умоляющим голосом.

Кемский согласился и в сопровождении верного слуги своего отправился к отряду.

- Поздравляю, - закричал ему генерал, - вот вам и обнова! Теперь, кажется, довольно?

- Нет, генерал, - отвечал ему Кемский, - только в позорном поединке достаточно первой крови, а здесь присягали мы драться до последней капли. Велите перевязать меня, а потом отпустите опять в цепь.

Явился лекарь, осмотрел рану, объявил ее неопасною и начал перевязывать. Вдруг раздались громкие, единогласные восклицания

во фронте и заглушили на минуту звуки ружейной пальбы.

- Это что значит? - спросил Кемский у лекаря.

- Ничего, - ответил лекарь, разматывая бинты, - это, видно, старик фельдмаршал едет.

И в самом деле появился Суворов верхом, в каске австрийского гренадера, без мундира, с голубою лентою по рубахе.

- Славно, помилуй бог, славно! - кричал он войску. - Вперед, чудо-богатыри! Чего жалеть супостатов: перекрестясь, да и в штыки!

Новые усердные клики были ему ответом. Генерал подъехал к фельдмаршалу и стал докладывать об успехах дня. Суворов слушал его со вниманием, потом с улыбкою удовольствия обратился в ту сторону, где в интервале взводов перевязывали Кемского. Проницательный взгляд седого героя осчастливил, воскресил юного воина: он видел, что прежнее неприятное впечатление уже изглажено. Фельдмаршал поскакал по линии далее. Кемский возвратился на свое место.

Бой крепчал. Ужасная канонада, повторя-

емая эхом соседних гор, превратилась в непрерывный гул, пересекаемый ружейными выстрелами. Земля в точном смысле стонала под ногами сражающихся. Неприятель усиливался. Генерал хотел послать за подкреплением, но не успел. Из-за кустарников показалась сильная колонна французов; скомандовали: вперед, в штыки! Русские бросились, рассекали густой строй неприятелей и довершали их поражение, но вдруг наскочили на них два французских эскадрона, отрезали сражавшихся спереди, и за конницу появилась сильная пехота. Русские видели себя на краю гибели. Тут подоспела к ним помощь. Корпус Дерфельдена показался на высотах, и передовой отряд под начальством храброго Милорадовича вскоре примкнул к ослабевшим батальонам Багратиона. Неприятель открыл огонь из двадцати орудий, но все его усилия были тщетны. Натиск свежих войск решил дело. Французы поколебались, начали отступать и потом обратились в совершенное бегство. Ночь прекратила убийство и прикрыла бегущих крылом своим. Наши остановились, утомленные дневным жаром, усилием боя,

жаждою мести, избытком славы. Взводы по-редели.

Стали считать уцелевших. С горестным чувством увидели, что Кемского не было в числе их. В один день успел он приобрести общее уважение, общую доверенность. Покрытые пылью, не слишком видные и опрятные армейцы вначале с недоверчивостью и досадою смотрели на молодого гвардейца, отличавшегося осанкою, светским обращением, щегольским мундиром, полагали, что его выслали в армию за какую-нибудь шалость, но когда он вышел вперед и выдержал жестокий огонь в передовой цепи, когда объявил, что не хочет воспользоваться предлогом раны и воротился в сражение, - искреннее почтение и усердная любовь заменили прежние чувства в груди честных воинов. Товарищи положили непременно отыскать его тело и отдать ему особо последнюю воинскую почесть, но никак не могли доискаться. После многих расспросов нашли одного раненого егеря, который был в отряде князя. Егерь объявил, что офицер был впереди со стрелками, когда появилась неприятельская конница, что он хо-

тел было отступить и примкнуть к своим, но не успел: его отрезали. Французские драгуны окружили горсть храбрых егерей и с диким воплем изрубили всех. Этот егерь видел, как пал князь Кемский; сам же он, быв ранен прежде, притаился в кустарнике и, не ведая как, один из всего отряда очутился посреди своих.

Искренний вздох братского сожаления и краткая солдатская молитва к богу за упокой души храброго товарища были панихидою по Кемском.

XXXI

Кемский не погиб. Атака неприятельской конницы изумила, но не испугала его. Видя себя отрезанным от своих, он выстроил всю свою команду в каре и начал отстреливаться. Французы нападали на него с зверским ожесточением.

- Нет пощады! Нет вам помилования! - кричали они. - Австрийцы убили Жубера, а вы - нашего Гаро! Вы! Вы! Мы узнаем ваши мундиры! Смерть! Смерть вам!

Наши, в безмолвии отчаяния, не понимая кликов неприятельских, сражались и умира-

ли. Силантьев пал из первых, придерживавшись рукою за полу своего господина. Кемский, видя, что нет спасения, решился умереть. Он чувствовал, что ранен несколько раз; уже близко блистали вражеские сабли; уже падали последние из храбрых егерей. Вдруг пуля ударила ему в грудь и придавила медальон с портретом Наташи в его записной книжке. Мысль о жене возвратила ему чувство и любовь к жизни. Он схватился за книжку, вынул ее из-за пазухи, чтоб еще раз взглянуть на милые черты, развернул ее; из нее выпала бумажка, и он увидел слова, начертанные другом Алимари при последнем прощании. Не зная сам, что делает, он громко произнес эти слова - не помнил, какие именно, но они были французские. В то же мгновение почувствовал он удар сабли в плече, и вдруг в ряду неприятельском раздался голос:

- Остановитесь! Не рубите его! Именем республики, он мой пленник!

Сабли опустились, выстрелы умолкли, драгуны расступились. Французский полковник приблизился к Кемскому, взял его за руку и повел с собою, прежде нежели он мог опом-

ниться.

- Берите пленника, - бормотали драгуны, - но деньги и вещи его принадлежат нам.

- Молчать! - воскликнул полковник грозно. - И он и его вещи принадлежат мне.

- Они правы, - возразил Кемский, - я отдам все, что у меня есть!

- Нет, брат мой, - отвечал ему полковник дружеским тоном, - вы изранены, вы в плену.

- В плену! - с горестью повторил Кемский.

- Что делать? Такова участь войны! - возразил полковник. - Вам теперь деньги нужны, но если б их не стало, располагайте моими.

- Великодушный человек! - сказал тронутый Кемский. - Не деньги мне нужны, но если уже вы хотите довершить доброе дело...

- Говорите! Говорите! - воскликнул полковник. - Минуты дороги. Я должен воротиться на свое место.

- В моем отряде был один человек, дорогой моему сердцу. Он пал, но, может быть, он жив. Умоляю вас, отыщите его на месте сражения.

- Охотно, но как его узнать? Он, конечно, офицер?

- Нет, - отвечал Кемский, - он простой солдат; скажу более: он был у меня тем, что вы называете невольником, но он вырос со мною, он мне друг! Узнать же вы его легко можете. Все мои егери были в мундирах с зелеными воротниками; он один с красным.

- Извольте! - отвечал полковник. - Непременно его отыщем.

В первом жару Кемский не чувствовал ран своих, но вскоре природа взяла свое. Едва пришли они к первой французской перевязке, он почувствовал ослабление сил. В глазах его затуманилось. Он помнил только, что полковник сдал его на руки военному лекарю, старичку приятной наружности; его ввели в полуразрушенную хижину, положили на скамью - и все пред ним исчезло.

Через несколько часов он очнулся. Вокруг него было темно. Кто-то охал подле его скамьи, на полу.

- Кто тут? - спросил он по-французски. Ответа не было. Он повторил этот вопрос по-русски.

- Я, сударь! - отвечал слабый голос.

- Да кто ты?

- Силантьев, рядовой мушкетерского барановского полку. Левую руку отняли, ваше благородие!

- Миша! - закричал в радости Кемский.

- Ваше сиятельство! Это вы! - воскликнул Силантьев. - Слава богу, что он привел меня к вам. Встать не могу.

- Да как ты здесь очутился?

- Сам не знаю, ваше сиятельство! Когда меня ранили, я упал подле вас и вскоре обеспамятел. Вдруг слышу, шарят вокруг меня. Открываю глаза и вижу французов. Ну, думал я, последний час мой наступил, и уже хотел сотворить молитву. Они, увидев меня, будто обрадовались, подняли на ноги, посадили на лошадь и привезли сюда. Здесь, на дворе, лекарь посмотрел на мою руку, сорвал с меня мундир, засучил себе рукава, да и давай резать; я было не давался, да двое драгун меня держали. Он как ни в чем не бывало отпилил мне руку, перевязал и положил меня на траву. К ночи меня внесли сюда. Ах, больно, ваше сиятельство! Одна отрада, что я с вами.

Послышался шум у дверей; показались огни; двери растворились, и в избу внесли двух

раненых французских офицеров.

- Посторонитесь! - вскричал провожавший их унтер-офицер.

Кемский хотел привстать, но не мог.

- Долой с кровати, проклятый казак! - закричал унтер-офицер еще громче и готовился стащить раненого. В это время вбежал в комнату лекарь.

- Что ты делаешь, гражданин! - закричал он унтер-офицеру. - Эти пленные находятся под покровительством законов!

- Вздор! - отвечал тот. - Это неприятели: безоружных не обижу, но и не уступлю им места, которое принадлежит французам. Долой!

- Удержись, гражданин! - воскликнул лекарь. - Знаешь ли, кто отдал их мне на руки?

- А кто? Хоть бы все пять директоров, чтоб их черт побрал!

- Нет! Полковник Уде!

- Полковник Уде? - повторил, понизив голос, унтер-офицер. - Что ж ты мне не сказал этого ранее, гражданин лекарь? Нешто! Только полковник, конечно, не захочет, чтоб и наши раненые валялись как собаки. Позволь по-

ложить их здесь в комнате, хоть на полу.

В это время раздались издали ружейные выстрелы и озарили блеском своим темноту ночи; слышались крики на улице: "Неприятели! Русские! Казаки! Спасайся, кто может!"

- Вот-те черт! - закричал унтер-офицер. - Ну, ребята! Скорей поднимайте раненых; поплетемся как-нибудь, чтоб они не достались неприятелю. - С этими словами подняли безмолвных страдальцев и поспешно вынесли из комнаты.

- И нам надобно убираться! - торопливо сказал лекарь. - Вставайте, господин офицер!

- Оставьте меня, - сказал Кемский, - и спасайтесь одни: я не боюсь ваших неприятелей; напротив, рад их видеть.

- Помилуйте! - воскликнул лекарь жалобно. - Неужели вы хотите меня погубить? Когда я дам вам уйти, меня расстреляют. Вы не знаете полковника Уде!

Звуки выстрелов приближались. Лекарь, не дожидаясь ответа, выбежал из комнаты и воротился с солдатами. Они подняли раненых, вынесли на улицу и положили на телегу, покрытую соломою. Лекарь взмогся,

как говорится по-французски, кроликом (en lapin) подле фурлейта, ударили по лошадям и поскакали. Ружейные выстрелы вскоре затихли вдали, и, по просьбе Кемского, телега пошла шагом.

- Скажите, пожалуйста, - сказал он лекарю, - кто этот полковник Уде, которому я обязан жизнью?

- Как? Вы его не знаете и не слышали о нем? Да этакой сорвиголовы у нас нет в целой армии. Храбр как шпага, умен как черт, упрям как бретонец. И что за взгляд! На кого посмотрит, тот так и съежится. Это один человек во Франции, пред которым и сам Бонапарте не устоит. Экая голова! Однажды заспорил он (это было в Милане) с нашим главным доктором об одной ране, утверждая, что она была не смертельна. Доктор заставил его молчать двумя анатомическими терминами. На другой день полковник возобновил спор и сбил доктора с поля доводами, основанными на самом глубоком познании анатомии. "Что ж вы не отвечали ему вчера?" - спросил я потом у полковника. "Да вчера, - отвечал он с простодушной улыбкою, - я сам не знал того,

о чем говорил сегодня". Вообразите: он, после первого спора, купил руководство к анатомии и в ночь выучил. Сущий чародей! Да ему несдобровать у нас. Таких людей в свободных землях не любят. Бонапарту и одному тесно было во Франции, так отправился в Египет, а вдвоем с полковником он и на целой планете простора не найдет. - Лекарь продолжал свои рассуждения без умолку. Кемский и Силантьев, качаемые на повозке, заснули.

XXXII

Проворный лекарь спешил с своими пленными в безопасное место, боясь погони русских и взгляда полковника. Через несколько дней привез он их благополучно в Ниццу и сдал на руки старшему врачу тамошнего госпиталя. Кемский, не чувствовавший в первые минуты никакой боли, дорогою разнемогся и привезен был в Ниццу почти в беспамятстве. Между тем Миша, страдавший только телом, выздоравливал со дня на день. Недели чрез три левая рука его почти совершенно зажила, он вскоре выучился действовать одною правою и жалел о потере левой только потому, что не мог так ловко и проворно обслуживать

своему господину, как прежде. Понимая по-французски, он выучился говорить с тамошними жителями и в короткое время снискал знакомых и приятелей. К счастью пленников наших, они снабжены были средством купить в свете все, разумеется, кроме счастья, которое не покупается. Миша честно и бережливо распоряжал казною: нашел для князя покойную квартиру в доме одной семидесятилетней старушки, платил врачу за визиты, строго соблюдал все его предписания и берег своего барина, как нежный сын отца.

Кроткий благодатный воздух Ниццы, тишина и спокойствие оказали ощутительное влияние на здоровье страдальца. Раны его стали закрываться, лихорадка уменьшилась. Он вскоре начал ходить, прихрамывая, по комнате: пуля, пролетевшая сквозь пятку левой ноги, оставила на всю жизнь его воспоминание о битве при Нови. Но с возвращением сил и здоровья возникало в душе его страдание: он видел себя в стране чуждой, далекой от отечества, вражеской, в плену, не постыдном, но убийственном для благородного русского воина. А она? А Наташа? За эту

мыслию возникал в душе его ряд горестных ощущений, одно другого мучительнее, одно другого ужаснее. Он искал средств дать весть о себе на родину, но не было никакой возможности: все сношения Франции и Италии с Россией были в то время совершенно прерваны. Между тем, на авось пересылал он ежедневно по письму чрез Париж, Лондон, Стокгольм в Санкт-Петербург.

Наступил ноябрь месяц - не наш ноябрь, угрюмый, дождливый, снежный, морозный, а время прохладное, приятное, живительное после зноя летнего. Прогулка по возвышенной аллее на берегу морском сделалась ежедневным времяпровождением Кемского. В глубокой задумчивости глядел он на темные волны, рассыпавшиеся жемчужною пеною, на быстрый бег судов, являвших зрелище свободы на непокоренной стихии, зрелище мучительное для унылого пленника! Из глубины растерзанной души его стали возникать те видения, которые исчезли было при полуденном свете счастья и довольства судьбою. Часто сумерки заставляли его на этих прогулках. Тогда, в полусвете, в борьбе тьмы с вла-

дычеством солнца, чудился ему давно знакомый призрак: в конце аллеи появляется белая точка, развивается, развивается и наконец принимает вид черной женщины, которой воображение духовидца придавало любезные ему черты Наташи. Она, казалось ему, поглядывала на пего печально и покачивала головою, как будто к словам: "Нет, не верь!" - садилась на скамью и в задумчивости облокачивалась на ручку. Он быстро подходил к скамье, но призрака уже не было. Обманутый мечтою, садился он на то место, где видел незримую, и таинственный шелест листьев, колеблемых вечерним ветром, нашептывал в слух его что-то знакомое, что-то родное. Люди переменяются по временам и странам: природа везде одна и всегда неизменна. Везде говорит она человеку языком, ему понятным: и сибирский кедр, и италийнский каштан говором листьев своих ему знакомы.

К тоске о милой жене присоединилась питаемая неизвестностью скорбь об участи соотечественников, о судьбе русского оружия. Бедный пленник не знал, что в точности стало с русскою армиею. Лживые бюллетени,

издаваемые тогдашним слабым и презренным правительством Франции, смешивали его мысли и догадки и не могли сообщить ему правды. Из всего однако ж мог он заключить, что наши войска, потерпев урон, вышли из Италии и из Швейцарии; но мысль, чтоб Суворов мог быть побежден, не находила места в голове его. "Нет! Суворов не может быть разбит никем в мире!" - повторял он громко, в порывах благородного патриотизма. Он не ошибался: северный лев, брошенный завистью и недоброжелательством в непроходимые дебри, проложил себе кровавый путь к свободе и дорого заставил заплатить тех, которые дерзнули мыслить, что могут его остановить, стеснить, уничтожить.

Редко случается, чтоб истинная горесть, истинное несчастье не нашли себе отголоска в сердце ближнего. Старушка, хозяйка того домика, в котором остановился Кемский, сначала не хотела пускать к себе на квартиру варвара, казака, людоеда, а согласившись на убеждения и посулы врача, прятала от постояльца осьмилетнюю внучку. Кротость Кемского, его томный взгляд, которым выража-

лись страдание, добродушие и терпеливость, учтивость его со всеми вскоре переменили мнение старушки: из неприятельницы сделалась она усердным его другом и защитницею москвитянина от злобных наветов ее соседок. Правда, она испугалась и побледнела, когда однажды Кемский, встретив на крыльце прекрасную Лоретту, стал ее ласкать, хвалить ее прелестные глаза, играть каштановыми ее кудрями, стал просить, чтоб милое дитя иногда посещало его в грустном уединении. Мало-помалу нелепые опасения суеверной старушки рассеялись: она позволила Лоретте ходить к доброму казаку. Кемский находил развлечение своему горю в беседе с Лореттою, учился у ней тамошнему наречию, сам учил ее читать и писать и после уроков строил для нее карточные домики, вырезывал игрушки из бумаги. Детский возраст чувствителен к добру и благодарен: девочка душою привязалась к Кемскому, который в невинном взгляде, доверчивой улыбке ее находил облегчение своим страданиям. "И я, может быть, теперь отец!" - думал он, глядя на ее детские игры с чувством горести и отрады, мучения и утеше-

ния.

Однажды у этих новых друзей не стало материялу на постройку бумажного домика.

- Я тотчас принесу еще бумаги, - сказала Лоретта, - у соседки нашей, Симони, есть пре-большой запас. Я побегу к ней и возьму охапку; она не поскупится. - Лоретта побежала и через несколько минут воротилась, неся в переднике множество бумаги. - Посмотрите сколько! - вскричала она вошед в комнату. - Мы можем выстроить целый город.

- Хорошо! - сказал ее архитектор. - Начнем!

С сими словами стал он разбирать принесенные от соседки бумаги, но в какое пришел удивление, когда в числе их увидел множество писем на русском языке!

- Это что? Откуда это? - спросил он вошедшую в комнату его хозяйку, с радостным взглядом, как будто отыскал старых друзей.

- Это из того глупого чемодана, который сосед наш, Симони, раненный где-то далеко за горами, кажется, в Швейцарии, привез сюда, думая, что захватил бог знает какую добычу. Видно какой-нибудь курьер обронил этот чемодан. Ни денег ни вещей в нем не было, од-

ни письма, в которых толку не добьешься. Соседка Симони вытопила с этих писем сургучу фунта два - вот и вся прибыль.

Между тем Кемский с жадностью читал разбросанные пред ним письма - то была почта из Петербурга в армию. Видно, курьер был убит или ограблен в дороге...

XXXIII

Алимари остановился пред домом, в котором, как ему сказали, живет раненый русский офицер, и готовился постучаться в двери. Вдруг они распахнулись, и из дому выбежал опрометью человек.

- Батюшки! Помогите! Помогите! - кричал он по-русски. - Князь умирает!

Слезы градом катились по бледному лицу; он дрожал, как в сильнейшей лихорадке.

- Кто умирает? Какой князь? - спросил у него Алимари.

- Мой барин, то есть мой начальник, князь Алексей Федорович Кемский! отвечал Силантьев, протягивая оставшуюся правую руку свою к Алимари и как бы прося о помощи.

- Боже мой! - вскричал Алимари. - Так это он точно! И умирает! Веди меня к нему!

- Извольте! - отвечал Силантьев, в отчаянии своем не удивившийся и тому, что услышал в Ницце звуки русского языка.

Они вошли в комнату Кемского.

Какое печальное зрелище представилось им! Кемский в беспмятстве, бледный, бездыханный, лежал на диване. Перевязки ран его были сорваны; из некоторых выступила кровь. Перед ним на столе разбросаны были бумаги. Одна бумага сжата была в левой его руке.

Алимари поспешил помочь своему другу и вскоре привел его в чувство, но рассудок несчастного был расстроен. Он не узнавал окружавших его и только повторял: "Несчастный случай - предмет разговоров!"

Явился врач, употребил некоторые средства, и больной поуспокоился, но все еще был очень слаб, горел и бредил.

Алимари взял бумагу, бывшую в руке князя и нашел, что это письмо из Петербурга, неизвестно к кому писанное. Между прочим нашел он в нем следующее: "Несчастный случай составляет здесь предмет разговоров во всех обществах. Ты знал, я думаю, князя Алек-

сея Кемского. Он послан был отсюда курьером к вам, в армию, оставив беременную жену свою в тоске и горе. За месяц пред сим получен здесь и обнародован список убитых, князь был первым в числе их. Эту бумагу по неосторожности показали княгине. Она до того испугалась, что родила преждевременно. Дочь ее не прожила часу. Сама она, недели через три, воспользовавшись небрежностью ходивших за нею, в припадке отчаяния и сумасшествия ночью убежала из дому и утопилась в Неве". Засим следовали обыкновенные при таких случаях рассуждения.

Ужасная тайна открылась изумленному Алимари. Он не знал, чего желать своему другу для его счастья - исцеления ли, для того, чтоб влачить жизнь в одиночестве и горести, или смерти, которая соединит его с любезными для него существами. Между тем прилагал он самое нежное, самое усердное старание к облегчению его мучений, к возвращению ему рассудка. Долгое время все его труды, все пособия врача были тщетны; наконец удалось переломить горячку, с которою прекратился бред, и раны его стали заживать снова. Кем-

ский как будто проснулся от глубокого сна, но ни с кем не говорил ни слова; узнал Алимари, но не изъявил ни удивления, ни радости, что видит его у себя. Казалось, он припоминал прошедшее и шарил у себя в постеле, будто ища чего-то. Пыл и бред горячки превратились в тихую задумчивость и почти совершенное безмолвие. Окружавшим больного часто казалось, что он хочет обмануть их притворным спокойствием, что он высматривает удобное время и случай для того, чтоб освободиться от их надзора. Они усугубили свою бдительность, и все покушения несчастного к прекращению ненавистой ему жизни были тщетны.

XXXIV

Кемский лежал в безмолвии на диване и смотрел пристально на потолок комнаты. Алимари стоял у окна и глядел на улицу. Вдруг раздался глухой бой барабанов, и вслед за тем послышались унылые звуки погребальной музыки.

- Хоронят французского генерала, - сказал Алимари, как будто желая успокоить Кемского, который мог быть изумлен и испуган эти-

ми необыкновенными звуками; но Кемский не обратил внимания на эти слова; казалось, и вовсе не слышал их. Печальное шествие проходило мимо окон.

- Почий с миром, храбрый, благородный воин! - говорил Алимари вполголоса. - Ты совершил свое земное поприще как честный человек и усердный гражданин! Обагрённая кровию врагов твоего отечества шпага лежит, как должное украшение, на гробе твоём, но в самом гробе покой, мир и отдохновение во трудах. Ты храбро и мужественно сражался с врагами явными и скрытными; враги чтили и уважали тебя, соотечественники преследовали; но ты не совершил с пути, предначертанного честью, долгом, присягою. Ты не уныл, не упал духом под ударами судьбы, преследующей человека в земной жизни. Ты имел в виду цель высшую, благороднейшую и теперь достиг ее: претерпел до конца и положил страннический посох свой лишь там, где провидение назначило предел твоей жизни. Теперь ты освобожден, успокоен, награжден. Блаженство там благословения здесь!

Кемский начал прислушиваться. Алимари,

заметив это, умолк. Кемский спросил:

- Какого генерала хоронят?

- Шампионета, - отвечал Алимари сухо.

- Как, Шампионета? - спросил Кемский с горестным изумлением. - Покорителя Неаполя и Рима, победителя Мака?

- Того самого, - отвечал Алимари, - того самого, которого уважал и чтит Суворов. За подвиги и услуги отечеству был он награжден гнусною неблагодарностью, и, когда отечество, на краю гибели, воззвало к нему, он вновь взялся за оставленный меч и стал на страже. В несчастии, в гонениях он не унился, не возненавидел жизни, зная, что человек сам в ней не властен. Настала его черда - и он успокоился.

- Преследование, гонение, тюрьма, - возрадил Кемский, - все это ничто, когда в сердце хранится еще надежда, когда мы знаем, что есть в мире люди, которые одним словом, одною улыбкою наградят нас за претерпенное нами.

Алимари обрадовался этому ответу: кто спорит, кто доказывает, тот уж не в отчаянии.

- В этом мире, говорите вы? Жалко утеше-

ние, которое ограничивается этим ничтожным, временным миром рабства и тления! Жалок человек, который, от обыкновенных неизбежных всякому бедствий в жизни, может впасть в отчаяние, презреть провидение, восстать против своего творца! Он не знает, чего лишается в вечности.

- Неужели, - возразил Кемский с видом оскорбленного самолюбия, - нет случаев, нет горестей в жизни, которые не могли бы преодолеть слабого человека?

- Слабого, конечно, но человек слабый не есть человек истинный, царь земного творения.

- Нет, - сказал Кемский, - часто случается, что долг и совесть, честь и правила веры приходят в борение между собою, и человек, впрочем сильный характером и твердый духом, падает от ударов высшей силы.

- Вы говорите о тех случаях, в которых долг гражданина и сына отечества находится в борении с правилами человека и христианина. Не вам, русским, упоминать об этих случаях: у вас один бог, один царь, одно отечество! Живите и умирайте за них: вы исполните все

свои обязанности, и они никогда одна другой противоречить не будут. Чтоб доказать вам, до какой степени можно из любви к своему долгу заглушить в сердце голос природы, приведу еще пример: я должен взять его в рядах ваших неприятелей. Пример этот представляет вам генерал Моро. В то время, когда он, сражаясь за Францию, оборонял ее от натиска сильных врагов, неистовые изверги, называвшиеся правителями его отечества, казнили родного его отца. Человек слабодушный, хотя б и добрейший сердцем, бросил бы службу неблагодарному отечеству, но Моро умел отличить Францию от ее притеснителей: проливая слезы о невозвратной потере, он не забывал обязанностей гражданина, не унывал душою, не ослабевал в усердии к родине жестокой, но всегда любезной!

- Так! - сказал Кемский сквозь слезы. - Моро поступил в этом случае, как истинно великий человек; но вы не знаете, как жестоки могут быть иногда удары судьбы, как неисцелимы раны сердца! Вы не знаете...

- Не знаю? - вскричал Алимари с жаром и в некотором исступлении. - Не знаю? Нет, друг

мой! Я знаю, слишком хорошо знаю эти потери, эти страдания, которым предел - только во гробе! - Сказав эти слова, он громко зарыдал.

Кемский изумился: он никогда не видал своего друга в таком положении. Твердый, благоразумный, убеленный сединами, охлажденный летами, Алимари рыдал, как дитя, как юноша, лишившийся подруги своего сердца.

Через несколько минут Алимари обратил наполненные слез глаза свои на Кемского.

- Молодой человек, - сказал он ему, - это невольное изливание чувств старика, стоящего уже одною ногою в гробу, вас изумило. Но я не в состоянии был удержаться от слез при воспоминании об одном ужасном случае моей жизни. Я никому не говорил о нем, потому что не надеялся найти человека, который мог бы постигнуть и оцепить всю жестокость моих страданий. С вами же разделю воспоминание, которое с лишком сорок лет тяготит мое сердце.

Кемский при этих словах друга забыл на минуту собственное горе и страдание, не от-

вечал ни слова, но любопытным взглядом дал знать, что готов слушать.

XXXV

- Я не буду много распространяться, не буду искать, выбирать выражений. И простой рассказ этого периода моей жизни едва ли не истощит сил моих. Слушайте!

Вы помните, думаю, что я, сообщая вам историю свою, умолчал о десяти годах моей жизни; вы помните, что я вам говорил о нежелании моем вступить в духовное звание. Я умолчал тогда об истинной причине моего отказа: причина эта была любовь. Любовь - чувство благороднейшее, святейшее из вложенных творцом в сердце человеческое, чувство, которое, как по всему видно, становится реже и реже в свете, которое вскоре будет пылать в сердце только немногих избранных, а прочим известно будет лишь по сказаниям минувшего века. Предания и развалины священной старины, заветы родительские, игры детских лет, мечтания юношеские все это истребляется тлетворным дыханием эгоизма, властолюбия и алчности к золоту, все поглощается так называемою политикою, равен-

ством, свободою, как цветущие города и поля покрываются истребительною лавою, составляющею на них, по охлаждении, ровную поверхность. Мы мечтали, мы любили, мы блаженствовали! Вы еще видите закат того светила, которое лучами живило мир пиитический, волшебный. Близкие наши потомки станут читать в книгах повесть о бывшем, неизвестном им веке Астреи: одни не будут верить, чтоб он когда-либо существовал; другие станут осыпать его насмешками и презрением. Едва ли немногие избранные будут питать в сердцах огонь священный. Но, может быть, все клонится к лучшему, только не для нас, запоздалых в мире гостей из прошлого века!

Вы знаете, что я учился в Павийском университете. Я учился прилежно, неутомимо, страстно. Особенно занимала меня древняя литература, преимущественно греческая, занимала не столько важностью своих произведений, сколько священным благоговением, возбуждаемом во мне помыслами о юных днях мира, о свежей жизни эллинов. Мне не довольно было книг печатных: я списывал их

на свитках, стараясь подделываться под самую древнюю скоропись; стихи Гомера писал уставом по образцам, оставшимся на памятниках и медалях. Профессор мой полюбил и отличил меня за это предпочтение его предмета, но не мог заняться мною исключительно. Он познакомил меня с своим бывшим учителем, осьмидесятилетним иезуитом, который, отслужив в профессорской должности пятьдесят лет, посвящал остальные годы жизни своей изучению любимого предмета.

Он жил уединенно, в предместьи города. Я приходил, когда мог удосужиться, к почтенному старцу и читал с ним авторов, поэтов греческих. Вскоре увидел я, что нашел клад в этом старике: он любил древнюю Грецию до исступления и, как я слышал, за это страстное обожание языческого времени и народа был в самой молодости притесняем начальниками своего ордена. Его употребляли как знающего и искусного профессора, приносившего честь обществу св. Игнатия, но не давали ему ходу в иерархии: он всегда оставался простым монахом. Это стеснение отнюдь его не огорчало; напротив, он радовался, что занятия ду-

ховные не мешали его любимым упражнениям. Жизнь отшельническая и непрерывное занятие ума одним и тем же предметом неминуемо должны были подействовать на его душевные силы: он действительно помешался на греческом языке, утверждал, что нашел истинное греческое произношение и открыл настоящую мелодию древнего напева эллинов. Можно вообразить, как он обрадовался, найдя во мне ученика прилежного и страстного. Я проводил у него целые утра. Старик с восторгом сообщал мне свои правила, наблюдения и открытия, но иногда в середине речи останавливался и, пристально посмотрев на меня, говорил: "Жаль!" Потом обращался опять к любимому предмету.

Я был бы еще вдвое прилежнее, если бы одна мечта не отвлекала меня от древней Эллады. Я заметил в одно воскресенье в иезуитской церкви молодую, небогато одетую девушку, молившуюся с выражением глубокого чувства. Она стояла на коленях, обратясь к главному алтарю. Сначала не мог я видеть ее в лицо: гибкий стан, лебединая шея, херувимская головка - все обличало в ней красавицу.

Я протеснился к ней сбоку и ждал окончания молитвы. Незнакомка приподнялась и обратилась к образу, висевшему на той стороне, где я стоял. Облик ангела, взгляд праведницы, слезы христианского умиления - поразили меня. Я едва не закричал, чуть не упал, удержавшись за перила ограды. Легкое дымчатое покрывало спустилось на прелестное лицо. Девушка, преклонив еще раз колени пред алтарем, пошла из церкви, сопровождаемая другою женщиною. Я не смел следовать за нею. Неизвестная дотоле новая жизнь возникла в душе моей: все предметы облеклись в глазах моих радужными цветами; на лицах женщин искал я, чего и сам не знал, искал выражения лица знакомки. Я искал и ее самой, но напрасно. В церкви она не являлась. Впрочем, как ни желал я увидеть ее еще раз, как ни горел нетерпением узнать, кто она, - душа моя довольствовалась воспоминанием: она питалась лицом божественным, явившимся на минуту и заронившим в нее искру вечного огня. И рассудок говорил мне, что я не должен доискиваться того, что благодетельное провидение, может быть, с умыслом, от меня скры-

вает: пусть одна душа наслаждается тем, что для души создано! Мечтания юных лет! Но стоит ли вся остальная существенная жизнь наша этих мгновенных мечтаний?

Мысль о незнакомке наполняла меня всего: я учился и занимался прилежно по-прежнему, но только механически. Все греческие буквы старинных манускриптов казались мне обведенными красною каемкою; только те места классиков занимали меня, где говорилось о женщинах. Этих жен, этих дев юной Эллады, думал я, давно уже нет в мире: так и моя мечта существует для меня только в воображении. Мой наставник стал замечать мою рассеянность, невнимательность, забывчивость и, видимо, этим огорчился. Он начал сперва стороною, а потом и прямо упрекать меня в небрежении, в холодности к великому предмету изучения древности. Я пытался было возобновить в себе прежнее рвение к любимой науке, но оно улетело невозвратно. Наконец решился я сказать почтенному старцу, что сухость предмета наших занятий убила во мне всю охоту к учению и что молодому человеку нет возможности долго заниматься

исследованием мертвого языка.

- Мертвого! - вскричал оскорбленный старец. - Мертвого! Сын мой! Что ты сказал? Мертвы только те языки, которыми человек выражает свои земные нужды и страсти. Но язык Греции, язык Платона и Демосфена, Гомера и Софокла, язык Божественного Откровения - ты называешь мертвым! Он жив, как живо солнце Адама!

Я извинился в неосторожности выражении, но присовокупил, что подробное изучение столь великого предмета превосходит мои силы.

- Твои силы! - воскликнул он. - Твои силы! У тебя силы атлета, у тебя память железная, у тебя... довольно! Я докажу тебе, что не нужно исполинских сил, не нужно продолжительного занятия для постижения предмета, если только мы обнимем его душою. Приходи ко мне сегодня вечером, когда смеркнется. Теперь ступай, подумай на свободе о неразумии слов своих и принеси чистое покаяние! Неужели я в тебе ошибся! Неужели одна... ступай с богом, сын мой!

Последние слова произнес он дрожащим

от душевного волнения голосом. Мне жаль стало почтенного старца. Я повиновался: вечером, лишь только смерклось, отправился я к нему, нетерпеливо желая знать, чем он докажет обязанность мою учиться греческому языку. Он встретил меня на пороге дома, ввел в приемную комнату, в которой не было свеч, велел мне сесть в углу и молчать, а сам вошел в кабинет, не запирая за собою дверей, и только задернул их занавесью.

- Продолжай, Антигона! - сказал он кому-то. Женский голос начал читать Софоклова "Эдипа в Колоне", именно приветствие хора несчастному слепцу. Невидимая читала смело, чисто, с строгим наблюдением размера. Когда она начала вторую антистрофу, старик потребовал объяснения некоторых мест. Тот же голос отвечал ему. Засим началось пение: приятнейший женский голос, какой когда-либо раздавался под сводами неба Италии, запел прочитанные строфы на мелодию, вымышленную стариком: он сам дрожащим голосом стал вторить - и я перенесся мыслию в глубокую древность, в то судилище, которое, выслушав эти стихи Софокла, отринуло

донос неблагодарных детей, обвинявших его в безумии. Когда утихло пение стихов Эдипа, началось чтение прозы Демосфеновой. Старик останавливался на каждом периоде, на каждом сомнительном слове, требовал объяснения и получал его. После такого подробного разбора тот же голос женский прочитал разобранные периоды по правилам декламации моего учителя. Голос был так же чист и приятен, как прежде, но нежность и мягкость его уступили место величию и твердости. По окончании чтения раздался звук одобрения: старик поцеловал эллинистку. Свет в кабине исчез. Он вышел ко мне, взял меня за руку, подвел к двери на улицу и сказал торжественным голосом:

- Ты слышал, чего может достигнуть слабая женщина. Стыдись. Теперь ступай с богом!

Голос невидимки проник глубоко в мою душу и сначала едва не изгладил из нее прежнего впечатления, произведенного зрением. Но потом слились обе мечты, и я начал воображать себе, что невидимая Антигона была действительно слышанная мною девица. Эта

мысль возбудила во мне прежнее рвение к эллинской древности. Старик видел чудесное действие примера и восхищался своею стратегмою. Так неопытный поэт радуется успеху актрисы, читающей его стихи, и приписывает произведению своей фантазии действие прекрасных глаз! Но для меня мои идеалы оставались идеалами: незнакомки я по-прежнему не встречал нигде; невидимки не слыхал, ибо старик принимал меня лишь по утрам в своем отдельном кабинете, сообщавшемся с сенями посредством приемной залы: я никогда не видал у него никого постороннего. Иногда слышались шорох и невнятные отдаленные голоса из жилых покоев. По вечерам дом был неприступен. Однажды я с умыслом забыл у него книгу и вечером пришел за нею, но не мог достучаться. Утром, видно, мой старик жил в кабинете ученого; вечером - запирался в келье монаха.

Чрез несколько месяцев после того единообразные занятия мои прерваны были поездкою к дяде, в Виченцу. Пробыв там недели две, я воротился в Павию и тотчас по приезде пошел навестить почтенного моего наставни-

ка. Двери его дома были заперты, по обыкновению, но в этот раз я не мог достучаться. "Странно! подумал я. - Неужели никого в доме не осталось?" - и опять начал стучать. В соседнем доме высунулась в окошко старуха и с недовольным видом спросила, кого мне нужно.

- Отца Валентина! - сказал я.

- Он умер, - отвечала она, - сегодня хоронят его в иезуитской церкви.

Эта весть поразила меня: я был молод и не привык еще к утратам; теперь, если умрет кто из приятелей моих, мне кажется, что мы с ним были в гостях, и он только ранее меня пошел домой, где я вскоре найду его. Я побежал в иезуитскую церковь. Там, в одном скромном приделе стоял гроб, освещаемый тусклыми лампадами. Хор иноков окружал почившего брата и пел хвалебные гимны неисповедимому. Поодаль у стены стояло несколько женщин в траурной одежде и покрывалах. Они тихими голосами вторили пению; иногда казалось мне, что я в этих унылых звуках слышу что-то знакомое. По окончании обряда братия подняли гроб и понесли

на близлежащее кладбище. Женщины последовали за ними. Я шел подле.

- Не вы ли синиор Алимари? - спросила одна из них дрожащим от старости голосом.

- Я Алимари, - отвечал я.

- Покойный брат мой искренно вас любил и, чувствуя приближение кончины, хотел видеть. Но вас не было в Павии. Это его огорчило. Он скончался, твердя ваше имя.

- Так вы сестра моего почтенного наставника! А это? - сказал я, указывая на женщину, которая шла подле нас, тихо рыдая.

- Это дочь моя, его крестница и ученица, теперь совершенная сирота: я ей не подпора!

Мы подошли между тем к могиле, опустили гроб при молитве священника, при пении монахов и при общих рыданиях. Покрыв хладною землею останки друга, мы воротились в город. Я шел за сестрою покойного, сам не зная для чего. Она остановилась с дочерью у одного дома и спросила, не хочу ли я посетить ее на минуту. Я согласился; мы вошли в комнаты, убранные не богато, но чисто и со вкусом.

- Антигона! - сказала старушка дочери. -

Помоги мне принять нового гостя.

"Антигона? - подумал я. - Это она - невидимка". В эту минуту они сняли с себя покрывала. В матери увидел я женщину почтенного вида, как казалось, кроткую и добродушную, когда же обратил глаза на дочь, узнал мою незнакомку. Мечта моя осуществилась: Антигона была действительно та самая девица, которая красотой своею поразила меня в церкви. Я смутился. Хозяйки мои приписали это застенчивости, начали говорить со мною, старались ободрить. Я оправился, вслушался в их речи, стал отвечать и чрез час познакомился с ними, как будто знал их несколько лет. Вскоре узнал я все подробности их состояния и жизни. Мать была вдова художника, умершего, когда Антигона едва начала себя помнить. Дядя взялся за воспитание племянницы и, преподавая ей уроки в первоначальных знаниях, заметил в ней необыкновенные дарования и способности. Это родило в нем желание воспитать племянницу, как бы племянника, познакомить ее с высшими науками, с языками и литературою древности. Антигона училась охотно и прилежно, радова-

лась своим успехам, ибо они восхищали ее благодетеля, но не догадывалась, что познания ее редки и необыкновенны в женщине, потому и сохранила скромность, смирение, кротость своего пола; твердя стихи Гомера и Софокла, готовила умеренный обед своего семейства и пела строфы Анакреона как обыкновенные народные песни. Старик дядя жил в одной с ними квартире, имевшей выходы на две улицы. Приходившие к нему поутру не догадывались, что он живет в семействе. Вечером уходил он в другую половину дома и занимался обучением Антигоны.

Через два года я сочетался браком с Антигоною. Не буду говорить вам, как я был счастлив, счастлив несколько лет: на это не станет у меня слов. Дядя не соглашался на брак мой, готовя меня в духовное звание, и, когда узнал, что я женился, написал ко мне, чтоб я не ожидал от него никакого пособия, что он предоставляет меня судьбе моей... судьбе моей! Мать моей жены в том же году скончалась. Нам нечего было делать в Павии. Один университетский товарищ, родом португалец, пригласил меня к себе, в Лиссабон, обещая до-

ставить мне хорошее место. Мы туда отправились. Я поступил в службу под начальство министра Помбала, одного из величайших государственных мужей истекающего столетия, Досушие часы проводил я в беседе моей Антигоны, в занятиях науками. Бог даровал нам двоих детей. И ныне, по истечении полувека с того времени, каждый день, отходя ко сну, я молю неисповедимого подателя благ душевных воскресить для меня в мечте дни молодых лет: иногда молитва бывает услышана, и это случается только тогда, когда в течение дня мне удалось сделать что-либо доброе, укротить в сердце чувство самолюбия или нетерпения, помочь ближнему. Тогда переносюсь я во сне в Лиссабон; сижу в саду моем, под тению каштанов; подле меня сидит Антигона. Антонио трехлетний играет у ног наших. Елена у ней на руках.

Алимари при сих словах затрепетал всем телом, слезы навернулись у него на глазах, голос его пресекся. Кемский взял его за руку с выражением сердечного участия - и сам заплакал.

- Что ж с ними сделалось? Где они? - спро-

сил он.

- Первого ноября пятьдесят пятого года, - продолжал Алимари, - я был счастливейшим человеком в мире, но какое-то мучительное волнение, как бы предчувствие несчастья волновало грудь мою. Воздух в тот день был необыкновенно тяжел. Густые тучи носились над Лиссабоном. Зловещие птицы хриплым криком предвещали жестокую бурю. Я лег спать в ожидании какого-то неизвестного бедствия. Странные мечты вскоре разбудили меня. Проснувшись, вижу Антигону: она стоит на коленях пред распятием и, заливаясь слезами, усердно молится.

- Что с тобою, друг мой? - спросил я в беспокойстве.

- Мне страшно! - сказала она. - Хочу подкрепить и успокоить себя молитвою!

Я хотел было отвечать ей, но вдруг ужасный грохот и треск на улице изумил и ужаснул меня.

- Что это? - закричала с трепетом Антигона и кинулась к спящим детям.

Я набросил на себя платье и поспешил выйти из дому. На улице, полной уstraшен-

ного народа, раздавались вопли ужаса и отчаяния. Земля колебалась под моими ногами, стены огромных зданий падали, как карточные домики, и давили людей под собою. Ночь была темная. Гром небесный вторил подземному грохоту. Молнии ежесекундно освещали картину опустошения. Сделав несколько шагов по улице, я обратился назад к своему жилищу, но уже бездонная пропасть отделяла меня от моих. Я стоял в двадцати шагах от своего дома, в мертвенном оцепенении, сам не зная, где я и что со мною делается. Вдруг сверкнула молния: Антигона стояла у окна, держа в руках детей; увидев меня, она закричала: "Прости навеки!" Еще молния - и я видел, как дом мой рухнул в бездну. Я чувствовал, что на меня посыпались камни, и больше ничего не помнил. На другой день, говорят, меня вытащили из-под груды развалин. Не знаю, что происходило со мною с того времени. Я очнулся, как говорил вам, чрез год после того, в Бадахосе - на руках добрых монахов, одинокий сирота, забвенный в мире. Я пошел в Лиссабон; на том месте, где был дом мой, лежали груды камней. Все исчезло наве-

ки.

- И вы остались живы? - спросил Кемский.

- Живу, ибо так угодно создавшему меня; живу и жизнию стараюсь заслужить место подле жены и детей моих.

- И вы не находите в этом случае, что судьба жестоко поступила с вами, что она с адским злорадством погубила невинных, а вас пощадила, вам дала долголетие, чтоб ежедневно возобновлялись в вашем сердце мучительные воспоминания! И вы не клянете часа своего рождения?

- Нет, - отвечал Алимари тихо и протяжно, - ежедневно благословляю и благодарю Провидение: оно знает, что делает. И чем долее живу, тем тверже, усладительнее становится во мне мысль о премудрости, правосудии и благодати божиих и в самых грозных для человека явлениях. Признаюсь, иногда возникал в душе моей ропот на непостижимость судеб человеческих, но он утихал при первом взгляде моем на этот свет, при помышлении о таинственности духовного мира. В ту ночь, которая разрушила все мое земное счастье, одна великая государыня, вели-

кая в женах, Мария Терезия, дала жизнь принцессе, рожденной со всеми правами и надеждами на счастье в мире. Я был свидетелем торжественного въезда Марии Антонии в Францию, неоднократно видал ее и посреди великолепного двора, и в простом одеянии помещицы трианонской и при взгляде на нее не мог удержаться от тайного трепета, от тайного негодования на судьбу, в одно и то же мгновение отнимающую у одного человека все и все дающую другому. Но потом, когда душевные страдания, все жесточайшие удары судьбы посыпались на эту несчастную принцессу, когда она сведена была с трона в темницу, лишилась супруга, разлучена была с детьми, когда в одну ночь поседела ее голова, и на другой день она взошла на эшафот, - тогда в растерзанной страданиями ближних душе своей я принес покаяние господу, что дерзаю роптать на него, видя счастье, возникшее в один день с моими страданиями, и благословил невидимую десницу, меня покаравшую.

- Удивляюсь вашей твердости, вашей покорности судьбе, - сказал Кемский, но не по-

стигаю, как можно пережить тех, для кого мы жили в мире. Для меня, в нынешнем моем положении, смерть, и самая мучительная, была бы благодеянием. Что мне осталось в мире?

- И русский спрашивает об этом! - сказал с жаром Алимари. - У вас осталось отечество, и в отечестве вашем люди, достойные вашей любви, вашего попечения.

- Отечество? - возразил Кемский. - Где оно? Я пленник, на чужбине, может быть, осужден несколько лет томиться в неволе. И что отечеству во мне! Я отжил свой век!

Алимари хотел возразить, радуясь, что Кемский начал спорить - знак, что раны сердца его заживают. В это время постучались у дверей, и на отзыв Кемского вошел французский офицер, держа в руках шпагу с русским темляком.

- Вы ли поручик князь Кемский? - спросил он учтиво.

- Я, сударь. Что вам угодно?

- Республика Французская заключила мир с Империей Российской. Первый консул, чтя вашего императора, уважая храбрость русских, возвращает всем пленным свободу. Я

прислан сюда для извещения об этом пребывающих здесь офицеров. Вот ваша шпага; примите ее из рук недавних врагов ваших, умеющих чтить воинские доблести. Все приготовлено к вашему отъезду. Вы можете ехать в свое отечество когда угодно.

Изумленный Кемский, взяв в безмолвии шпагу, не знал, что отвечать. Офицер поклонился и вышел.

- Верите ли теперь, что есть Провидение, которое посреди жестоких испытаний указывает нам путь долга и чести? - сказал Алимари.

- Верю! - воскликнул Кемский и бросился в объятия друга.

Книга третья

С.-Петербург, 1816. Июль

XXXVI

Запыленная дорожная бричка остановилась у Московской заставы. С козел соскочил безрукий денщик и отправился в караульную с подорожною. Через несколько минут он вышел, вскочил опять на козлы, и унтер-офицер закричал часовому: "Подвысь!" Бричка влетела в Петербург и застучала по мостовой. У

Обухова моста поворотила она направо по Фонтанке и, когда доехала до Аничкова моста, сидевший в ней приказал остановиться. Денщик сошел с козел, отпер дверцы и помог выйти из брички человеку лет под пятьдесят, в мундирном сюртуке и фуражке. На лице его начертаны были страдания многих лет; глаза светились темным огнем безотрадной старости; левая, израненная рука была подвязана; на левую же ногу он прихрамывал. Вышед из брички, он снял фуражку и перекрестился. Ветер поднимал редкие черные с проседью волосы на челе его.

- Ступай с экипажем в трактир "Лондон", - сказал он денщику, - а я прибреду туда кое-как пешком.

- Да не устанете ли, ваше сиятельство? - спросил денщик, с участием поглядывая на его хромую ногу.

- Так возьму извозчика, - отвечал кротко князь Кемский. - Да здесь и не устанешь: посмотри, какую аллею насадили для меня, увечного, посередине проспекта.

- Как изволите! - сказал Силантьев, взобрался на козлы и закричал: - Пошел прямо!

Князь не последовал за экипажем, а пошел по левой стороне проспекта, от моста к Литейной улице, считая дома: первый - старый знакомец времен Петра Великого, второй, вот и третий. Но третий дом был уже не тот, которого искал наш странник. За двадцать лет пред сим стоял тут небольшой зеленый деревянный домик, принадлежавший русскому серебрянику; теперь на месте его возвышались огромные палаты. Князь вздохнул тяжело. "И следу не осталось тех мест, где я был так счастлив!" - сказал он про себя и опять обратился к мосту. Разнообразие и новость предметов, казалось, развлекали и облегчали его тяжкие думы и горестные воспоминания. "Вот Аничковский дворец, - говорил он про себя, - как он теперь чист, красив, великолепен: за семнадцать лет оставил я его почти в совершенном запустении. А сад! Какое это странное, широкое здание посреди двора? Это должен быть театр. На полуразрушенной стене уцелела еще колоннада, написанная Гонзагою, а вот и маленький храмик правосудия, с греческою надписью! Гостиный двор - старый знакомец, но исчезли низенькие, безобраз-

ные шляпные лавки, теперь на их месте великолепный портик. На месте Казанского собора, здания простого и ветхого, возвышается новый храм с величественным куполом и колоннадою". Но каким образом странник наш очутился у Казанского собора, не переходив через Казанский мост, крутой, тесный, грязный? Мост исчез или, лучше, превратился в широкий проезд над Екатерининским каналом, едва приметною выпуклостью изменяющий своду над водою. Прекрасный старинный дом графа Строганова на том же месте, но за Полицейским мостом, который из зеленого деревянного превратился в чугунный с прекрасною балюстрадаю, между Большою и Малою Морскими, где были деревянные заборы, возвышаются великолепные дома в пять этажей. А Адмиралтейство? Вот оно. Уцелел только прекрасный шпигель его, главное же строение, низкое, небеленое, похожее на фабрику, преобразилось в здание величественное, оригинальное. Валы исчезли; рвы засыпаны, и на месте их красуются тенистые аллеи.

Не одни улицы, не одни дома сделались

чужды бедному пришельцу! Ему казалось, что он перенесен на край света: везде раздаются звуки родного языка, но выражение встречающихся ему лиц иное, чуждое, незнакомое. Семнадцать лет половина поколения! Бывало, не мог он пройти двадцати шагов, не встретив знакомого, приятеля, сослуживца. Теперь он прошел вдоль всего проспекта, не видав приветного лица. В раздумье воротился он опять на аллею за Полицейским мостом и сел на скамью. Мимо его мелькали пешеходы. По улице мчались экипажи. Шум оглушал непривычного к городскому волнению. Он встал и хотел отправиться домой; вдруг окружила его ватага хорошо одетых молодых людей.

- Забавен! - сказал один из них, смотря на него в лорнет.

- Что за костюм! - вскричал другой. - Позвольте спросить (оборотясь к Кемскому), кто шьет на вас? Буту, Люйлье, Фромм, Зеленков! Mais il est délicieux!

- Оставьте меня в покое, - сказал Кемский с досадою.

- Сперва отвечайте на мой вопрос! - закри-

чал молодой человек.

- Ответы бывают различные, - сказал Кемский равнодушно по-французски, поглядывая на свою трость с костыльком.

Французская фраза, произнесенная чисто, правильно и решительно, подействовала на негодьяев. Один из них, военный, как казалось, посоветовал прочим оставить угрюмого старика в покое. Они засмеялись, чтоб скрыть свое замешательство, и пошли. Кемский поплелся вслед за ними и вскоре потерял их из виду. "Я, по крайней мере, этого не заслужил, - думал он про себя, - в молодости моей я всегда уважал старших, а смеяться над изувеченным воином это уж никак не простительно!"

При восходе на Полицейский мост он, заглядевшись в сторону, столкнулся было с двумя молодыми генералами, шедшими к нему навстречу. Помня недавнее приключение, он спешил отойти в сторону, но каково было его удивление, когда молодые люди, с внимательным и ласковым на него взглядом, посторонились сами и, дав ему пройти, на воинское его приветствие отвечали учтиво, как

будто старшему по службе. Кемский заметил, что они пристально смотрели и на Георгиевский крест его, и на следы тяжелых ран. Он остановился и глядел за ними. Народ пред ними расступался; прохожие останавливались и снимали шляпы. Кемский догадался, с кем встретился случайно, и усладительное чувство проникло в его осиротелую душу. Волнуемый различными ощущениями и помыслами, он добрал до трактира, где Силантьев, привычный к дорожной жизни, уже нанял для него квартиру и сделал все приготовления к его принятию.

XXXVII

После обеда Силантьев отправился разведать, где живет Алевтина Михайловна, и узнать, когда можно ее видеть. Он воротился с ответом, что ее превосходительство, госпожа действительная статская советница баронесса фон Драк изволит квартировать в Большой Садовой улице, но ныне, по летнему времени, имеет пребывание на даче, на Аптекарском острове. Его же превосходительство, барон Иван Егорович, ежедневно по утрам, с десяти до двенадцати часов, изволит приезжать

в городской дом для приема просителей. "Баронесса? Барон? - думал про себя Кемский. - Откуда эти титулы? Фон Драк - не помнящий родства немец, и фон приклеен к его прозвищу по ошибке пьяного полкового писаря при определении его в службу. А теперь он и барон! Вероятно, какая-нибудь ошибка. Славятся же некоторые книги одними опечатками: так почему же и словесной твари не почерпнуть славы из того же источника?"

На другой день Кемский поплелся пешком, в сюртуке, к новому барону. На вопрос его, приехал ли его превосходительство, швейцар отвечал грубо:

- Ступайте вверх.

(Первый признак худого приема!) Привратник бывает обыкновенно представителем обхождения и нрава господского: Кемский замечал неоднократно, что швейцары вельмож благородных, кротких и учтивых отличаются вежливостью, предупредительностью; привратники надутых, спесивых и грубых сатрапов только барину своему уступают в дерзости и нахальстве. Он поднялся по великолепному крыльцу и вошел в большую

приемную залу. Человек пятьдесят просителей, в том числе и несколько женщин, ждали восхода ясного солнышка. Один сидел на стуле, устремив неподвижные глаза в паркет, другой смотрел на потолок, третий разглядывал картинки на стенах, заимствованные из басен Езоповых: здесь волк душил овцу; там осел лягает больного льва. Иные зевали, расхаживая по зале и переминая в руках прошения и записки. Кемский обратился было к слуге с просьбою доложить барину.

- Извольте подождать, сударь! - отвечал холоп с сердцем. - У нас и генералы в звездах по часам дожидаются.

"Что делать, - подумал Кемский, - подожду и я". Он сел в углу комнаты на порожний стул и сделался невольным слушателем разговора двух просителей.

- Вот уже четыре недели, - сказал один, вздыхая, - что я дежурю здесь по два раза в неделю, а не могу добиться толку. Генерал принимает просьбы, обещается исполнить и только передает бумаги своему правителю дел, а у этого все пропадает.

Другой: - Нельзя понять, как господин ба-

рон мог ввериться такому негодяю, как этот гнусный Тряпицын. Невежда, безграмотный, взяточник, обманщик, а начальник этого не видит.

Первый: - Эх, батюшка! Видно, вы не знаете в подробности здешних обрядов. Тряпицын держится милостью генеральши. Грешно сказать, чтоб Иван Егорович сам взял с кого-либо копейку, а между тем дом его как полная чаша. Барыня его дает обеды; один сынок метит в камер-юнкеры, другой офицером в гвардии; дочке приданое, сказывают, припасли изрядненькое. Тряпицын дерет с живого и с мертвого и платит ее превосходительству кварту с аренды. С некоторого времени казалось было, что он приутомонился. "Слава богу! - заговорили все. - Видно, вдоволь насосался". Да не прошло полугода, как он опять начал давить челобитчиков без милосердия. Причина тому, говорят, вот какая. У генеральши брат, человек богатый, уже несколько лет обретается в походах. С год тому назад пришла весть, что он взят в плен и убит черкесами на Кавказской линии. Сестрица - и бух просьбу в суды о введении ее во владение. С кредитом Ивана

Егоровича и умом Якова Лукича не трудно уладить и не такое дельце. Справили и отказали за нею. Вдруг чрез несколько месяцев получили известие, что братец ее был в плену, да освобожден. А между тем она, в надежде будущих благ, начала было жить и кутить не в свою голову, позадолжалась. Что делать! Вот и предписали Тряпицыну усугубить усердие к службе, а для поощрения представили к награде. Я было сладил с ним одно дело, и довольно сходно, а на другой день он заломил такую сумму, что мне невольно пришлось, и я решился прожить здесь долее, чтоб обождать время; авось либо спустит. А вы, сударь, также за делом изволите сюда ходить?

Другой: - За делом, но не за тяжёлым. Я служил под начальством барона в Вятской губернии, вызван был сюда для перемещения в другую должность - и вдруг нечаянно лишился места.

Первый: - Как же это, батюшка?

Второй: - А вот как. Однажды прихожу я к Тряпицыну в канцелярию и, не застав его, дожидаясь. В это время собрался у барона какой-то комитет, в котором он председателем.

Прибегает от него в канцелярию дежурный за правителем дел. Отвечают: нет его! Прибегает вторично и спрашивает, нет ли в канцелярии кого из чиновников. Нет, кроме писцов и такого-то приезжего, то есть меня. Прибегает в третий раз: пожалуйста хоть вы, генерал просит! Я пошел. Барон вертелся на председательском месте в отчаянии. "Сделайте одолжение, сказал он мне жалобным голосом, - помогите нам в беде. Мы сегодня же должны представить начальству донесение о важном деле. Донесение и написано, но оно у правителя дел, а его отыскать не могут. Потрудитесь написать. Вот все материалы". Он вручил мне кипу бумаг. Члены посторонились за столом. Я посмотрел в дело, оно было мне знакомо. Я сел и набело написал требуемое донесение. Прочитал, и все были довольны. В это время явился Тряпицын, держа в руке своей проект донесения. "Уж не нужно", - сказал один из членов. "Как не нужно?" - спросил Тряпицын, грозно взглянув на барона. "В самом деле, господа, - сказал фон Драк, - я думаю, лучше будет подписать донесение, сочиненное Яковом Лукичом: он и дело это знает

основательнее, и притом он отличный стилист". - "Как изволите, - сказал член, - послушаем". Тряпицын начал чтение. "Не то! Не то!" - закричали члены. "Выслушайте же до конца", - возразил барон. Выслушали и громче прежнего возопили: "Не то! Не то! Это сущий вздор и бессмыслица. Подпишем прежнее: оно коротко и дельно". - "Очень хорошо!" сказал фон Драк и наклоном головы дал мне знать, что я могу выйти. Не знаю, что за этим происходило, только на третий день я получил уведомление, что уволен из-под начальства барона с самым сухим аттестатом. Я решился искать правосудия, и во что бы то ни стало...

- Ст! ст! - раздалось в зале.

Все сидевшие просители привстали, ходившие остановились. Растворились двери из передней, и появился Тряпицын. Он прошел важно, пыхтя и кряхтя, в кабинет барона и не отвечал на поклоны и умильные взгляды челобитчиков.

Кемский едва узнал его: он растолстел до невероятности; широкий подбородок покоился на узеньком галстухе; красный нос свис

на губы, безвласое чело лоснилось; ноги едва передвигались. Жадность, бессовестность, шампанское и подагра наложили на него тяжелую печать свою. Шествие его по зале, подобно течению грозной планеты, расстроило прежний порядок. Толпы расступились, разговаривавшие умолкли: взоры всех устремились на таинственные двери кабинета.

Ожидание было не слишком продолжительно: вскоре двери распахнулись, и оттуда вышел размеренными, важными шагами барон Иван Егорович фон Драк, напудренный, во фраке со звездой. Кемский с трудом узнал его: казалось, что он в течение семнадцати лет вырос, лоб его лоснился, подбородок и нижняя губа высунулись вперед; один зуб, оставшийся в нижней челюсти, как Лотова жена в пустыне, подпирал верхнюю губу; неопределенные в прежнее время черты лица преобразовались в решительные морщины, видимо напечатлевавшие на лице клеймо: "Дурак". Он важно поклонился собранию и начал принимать просьбы. Всякому безмолвному просителю он улыбался довольно приветливо, брал бумаги, развертывал, пред-

ставлялся, будто читает, хотя по большей части держал их низом вверх, и потом отдавал провожавшему его дежурному. Не так мило- стиво поступал он с теми челобитчиками, ко- торые дерзали сопровождать подание бума- ги словесным объяснением или являлись с изустными просьбами. Подбородок его задро- жит, уединенный зуб забьет в верхнюю губу, нос покраснеет, и нетерпение изольется из уст в самых неучтивых выражениях. Проси- тель, обыкновенно, поклонится и замолчит. Но не все были так скромны: некоторые непременно домогались, чтоб барон их вы- слушал и понял. В такой крайней беде фон Драк останавливался и, обратясь к дверям ка- бинета, жалобно вопил: "Тряпицын!" Тряпи- цын, стоявший дотолe в дверях и разговари- вавший с раболепными чиновниками и важ- нейшими просителями, иногда явно насмеха- ясь над своим начальником, подходил к нему медленно и принимал объяснение на себя, а освобожденный барон подвигался далее.

Кемский, боясь своим неожиданным появ- лением расстроить аудиенцию и тем причи- нить неудовольствие многим беднякам, до-

ждидавшимся с самого раннего утра, отступал далее и далее и старался не слушать речей своего зятя, но наконец невольно принужден был сделаться зрителем и слушателем.

Одна женщина, подав бумагу, присовокупила изустно, что она и семейство ее разорены пожаром, что муж ее болен и пр.

- Пожарный случай? - сказал фон Драк. - Что ж я могу для вас сделать? Все это произошло на основании законов и по распоряжению местного начальства.

- Да у нас нет насущного хлеба! - продолжала она жалобно.

- Я вам повторяю, - сказал он с досадою, - что я не вижу в сем обстоятельстве никакого нарушения существующих постановлений и помочь вам не могу. А вы что опять? - вскричал он, обратись к молодому человеку. - Чего вы еще хотите?

- Прошу ваше превосходительство возвратить мне мое место, которое я с честью занимал пять лет.

- Какое место?

- Я был контролером при департаменте, могу еще служить - и вдруг меня перечисли-

ли в архив. За что это?

- За неповиновение начальству, - сказал фон Драк важным голосом, - вы явно противоречили коллежскому советнику Тряпицыну. Я не терплю своевольства: повинуйтесь начальникам или ступайте куда угодно.

- Генерал прав, - пробормотал второй из прежних собеседников.

- Да знаете ли, в чем состояло неповиновение этого чиновника? - спросил шепотом первый. - Он не хотел жениться на падчерице Тряпицына, бывшей за три года пред сим у отца его прачкою.

Фон Драк мало-помалу дошел до Кемского и, взглянув на его подвязанную руку, на Георгиевский крест, закричал с гневом:

- Оставьте меня в покое! У меня нет для вас места. На то учрежден Комитет 18-го августа.

Кемский, не ожидавший такого родственного приветствия, несколько времени не мог опомниться и, когда зять его подошел уже к другому просителю, сказал ему тихо:

- Иван Егорович! Вы меня не узнаете?

Фон Драк, услышав знакомый голос, остановился как громом пораженный, присталь-

но поглядел на князя и, побледнев, закричал:

- Тряпицын! Тряпицын! Это он!

Тряпицын, услышав трепещущий голос своего покровителя и питомца, подбежал и, взглянув на Кемского, остолбенел.

- Я не к Тряпицыну пришел, - возразил Кемский, - Иван Егорович! Извольте кончить прием, а потом, прошу вас, свезите меня к сестре!

Тряпицын отретировался в кабинет, а Иван Егорович, ни живой ни мертвый, продолжал начатое дело.

XXXVIII

Никакая кисть не изобразит того смешения изумления, испуга, злобы и лицемерия, которое мгновенно овладело Алевтиною, когда князь в сопровождении фон Драка вступил в гостиную ее загородного дома. Чтобы скрыть душевное волнение, яркими чертами изобразившееся на лице ее, она кинулась обнимать и целовать его.

- Братец, голубчик, ангел мой! Наконец услышал бог мои молитвы: ты жив и невредим, после таких трудов и страданий! - кричала она, рыдая; потом, воскликнув: - Умираю! -

бросилась навзничь в кресла и в самом деле побледнела, как мертвая. Явились прислужницы, стали спрыскивать, оттирать ее, и она чрез несколько минут очнулась. Кемский хотел быть равнодушным, хладнокровным, но искусные маневры Алевтины сбили его с толку: он невольно принял участие в ее положении и старался помочь ей, утишить ей волнение. И она, заметив успех своей роли, мало-помалу пришла в обыкновенное положение, усадила брата на софу, стала расспрашивать о его житье-бытье, рассказывать ему о своих детях, о кончине незабвенной матери и т.п. Слабый и чувствительный Кемский разжалобился ее повестью, слушал ее внимательно и с участием и почти забыл, что сидит подле злодейки всего своего рода и племени. Иван Егорович сидел в той же комнате, молчал и удивлялся уму, ловкости и присутствию духа жены своей: "И Яков Лукич струсил, - думал он про себя, - а она - как ни в чем не бывало - дока! Дока!"

Алевтина не умолкала в похвалах своим детям и только жалела, что не может тотчас представить их дражайшему дядюшке: Гри-

ша в канцелярии министра; Платоша на разводе.

- Позовите же Китти! - сказала она вошедшему в комнату человеку. - Я думаю, уроки уже кончились.

"Что это за Китти!" - подумал Кемский.

- Не поверите, милый братец, - продолжала Алевтина, - как меня радует моя Китти! Скромная, благородная, страстная к занятиям науками, ненавидит шумные общества...

Растворились двери, и вошла Китти, то есть Катерина Сергеевна Элимова, в загородном неглиже на английский манер: талья низкая и плотная, юбки короткие, на ногах ботинки, на голове пуховая шляпа, в правой руке хлыстик. Вместе с нею вбежала с ужасным лаем английская охотничья собака. Алевтина встала и с замешательством пошла к ней навстречу:

- Наконец дождались мы, милая Китти, дорогого нашего друга, твоего дядюшки. Вот он! Вот любимец моего сердца! И если ты любишь мать, то будешь любить и того, кто ей дороже всего в жизни!

Кемский подошел к племяннице и друже-

ски ее приветствовал. Она поморщилась и пробормотала что-то сквозь зубы по-английски.

- Извини, милая Катерина Сергеевна, - сказал он. - Я не говорю и не понимаю по-английски.

Она улыбнулась насмешливо и сказала:

- Я говорю, что имею большое удовольствие видеть почтеннейшего дядюшку! и небрежно кинулась на диван.

Алевтина и Кемский сели на прежние места и тщетно искали предметов для разговора. Он между тем рассматривал племянницу: стройная, ловкая, слишком ловкая, резкая в движениях, без всякой грации; лицо правильное, бледное, с выражением гордости, суровости и насмешки. Она повертывала хлыстиком, хлестала им слегка собаку, приговаривая по-английски: "Oh! You pretty creature!"

Алевтина была в крайнем смущении и старалась как-нибудь завести разговор.

- Где сир Горс? - спросила она наконец.

- Вы меня выводите из терпения, - закричала дочь с гневом, - тысячу раз я говорила вам, что у нас так не говорят: слово сер, а не сир,

присоединяется к имени, а не к фамилии: сер Уиллиам, а не сир Горс.

- На старости трудно привыкать к новым языкам и манерам, - отвечала Алевтина, краснея от стыда и досады.

Кемскому стало жаль сестры, но он вспомнил, как дерзко она сама в молодые лета насмеялась над своею матерью, которая не умела говорить по-французски. "Правосудие небесное! - думал он. - Свет переменяет мундир, а в существе остается тот же. В молодости мы чванились пред стариками французским болтовством; теперь наши дети вымещают это языком английским, а их чем накажут внуки? Пожалуй, еще персидским или арабским!" Разговор томился. Все глядели друг на друга с недоумением и робостью.

- Надеюсь, вы будете сегодня у нас обедать? - сказала Алевтина. - Мне хотелось бы представить вам сыновей моих.

- С удовольствием, - отвечал Кемский, - а теперь позвольте мне погулять у вас за городом. Я лет двадцать не видал здешних мест.

Хозяева его не удерживали. Он вышел из дому, теснимый тяжелым чувством, и в раз-

думье шел сам не зная куда. "И вот те люди, которым я должен оставить отцовское свое наследие! - думал он. - Алевтина не стоила моей дружбы. Она... (тут мелькнула в уме его черная полоса). Но я надеялся найти что-нибудь в ее детях; надеялся, хоть на старости, увидеть людей близких мне по родству близкими и по сердцу. Посмотрим, что будет далее. Но я не предвижу ничего хорошего..."

Стук каретный прервал его размышления. Он поднял глаза и увидел, что находится на Большом Каменноостровском проспекте. Широкая, мощеная дорога пролегает между великолепными дачами и милостивыми сельскими домиками. Этого не было здесь в его время. Но где та роща, березовая и сосновая, в которой он иногда прогуливался с приятелями? Исчезла. Место ее - большая равнина, на которой изредка поднимаются отдельные деревья, обнесено красивым забором. "И то было хорошо - в свое время!" - подумал он. Вышед на берег Невы, он очутился на прекраснейшем мосту, какой только случилось ему видеть. Легкая филиграновая арка перегибается линией красоты чрез быструю Неву. Он взо-

шел на мост - пред ним открылась очаровательная картина: с одной стороны дачи по обоим берегам Невы, и в числе их старый знакомец, алый дом барона Колокольцева с резным бельведером; вдали Крестовский остров. С другой стороны влево - прекрасный Каменноостровский дворец, пред ним две яхты и фрегат; направо - чья-то прелестная дача на островку - белый дом, опущенный густою зеленью; прямо - сад Строганова и знакомые желтью каменные ворота. Наглядевшись на эту очаровательную панораму, Кемский сошел с мосту и повернул направо мимо дворца.

Вокруг дома государева господствовала тишина. Все дышало порядком, чистотою, спокойствием. Простота жилища усугубляла уважение к хозяину. За воротами сада, идущими к Неве, Кемский увидел мост, перешел - и очутился в Строгановом саду, где бывал с нею. Поднялся ветерок. Листья деревьев зашумели: в густом кустарнике что-то зашевелилось и опять умолкло. В саду было тихо и уединенно. Дом графский заперт, но все в прежнем виде: Геркулес и Флора по сторонам крыльца, Неп-

тун посреди пруда, ветхий мостик с березовыми перилами, моховая пещера, Гомерова гробница. Вот и Чёрная речка. На другом берегу ее жизнь и движение. Рядом красуются чистенькие домики. Группы гуляют по берегу. Дети резвятся...

XXXIX

В час обеда Кемский воротился на дачу фон Драка. В гостиной были Алевтина, муж ее, дочь, Тряпицын и несколько человек ему неизвестных. Алевтина между тем успела обратиться с духом и приняла брата еще с большею твердостью, нежели утром.

- Gregoire! Platon! - громко сказала она сыновьям своим. - Presentez done vos respects a votre oncle!

Два молодые человека, один статский, другой военный, отделились от толпы и подошли к Кемскому. Он хотел пойти к ним навстречу и вдруг остановился, узнав в них тех самых молодых людей, которые вчера атаковали его на бульваре. И они его узнали. Старший, Григорий, более другого виноватый, побледнел было, но скоро оправился, улыбнулся насмешливо, закусил губу и небрежно покло-

нился. Младший, Платон, тот самый, который удерживал своих товарищей от шалости, бросился на шею Кемскому и с жаром обнял его.

- Наконец дождались мы счастья вас видеть! - вскричал он и залился слезами. "Добрая душа, - подумал Кемский, - он один мне обрадовался". Минута смущения пролетела. Никто того не заметил.

Пошли к столу. Алевтина подала руку Кемскому и посадила его подле себя. Подле него села Китти, а к ней подсел рябой, бледный, рыжий англичанин, ньюмаркетская конская физиономия. С левой стороны сидели сыновья Алевтины и другие молодые люди. Иван Егорович с своим причтом расположился на противоположном конце стола. По правую руку от него сидел Тряпицын, по левую домашний доктор, род коновала. Всего сидело за столом человек четырнадцать. Кушанье и вина были отборные, сервированы со вкусом и великолепием. Разговор сначала тянулся медленно, но после третьего блюда пошел быстрее.

- Что нового в свете? - спросила Алевтина чрез стол у Тряпицына.

- Важного нет ничего, ваше превосходительство, - отвечал Тряпицын, только получено известие о кончине бывшего министра юстиции, действительного тайного советника Гаврила Романовича Державина.

- И Державин умер! - с уважением сказал Кемский.

- Так точно, ваше сиятельство! Его высокопревосходительство изволил скончаться в поместье своем, в Новгородской губернии.

- Великая, невозвратная потеря! - прибавил Кемский.

- Так вы знали его, князь! - спросил фон Драк, выпучив глаза.

- Я русский, и мне не знать Державина! - отвечал Кемский. - Кто из нас (обратясь к Григорию Сергеевичу) не знает наизусть его стихотворений? Не правда ли?

- Меня из того числа исключите, - отвечал Григорий с презрительною насмешкою, - стихи Державина могли нравиться за тридцать, за сорок лет пред сим, но теперь!

- Помилуй, Григорий Сергеевич! Побойся бога! Много ли таких поэтов в мире, не скажу в России! - примолвил Кемский.

- Точно, точно! - подхватил Платон. - И наш штабс-капитан...

- Так вот из чего биться изволите, - сказал с презрительною усмешкою Тряпицын, - дело идет о стихах! А главное вы забыли: он был действительный тайный советник, александровский кавалер. Покойная императрица пожаловала ему несколько сот душ, и уж, верно, не за стихи.

- Он соединил в себе свойство двух лиц: и государственного человека и писателя. Награждали за одно, чтили за то и за другое.

- Ой уж мне эти господа сочинители! - сказал Тряпицын. - Вот, например, есть у нас в канцелярии...

Кемский прервал его с нетерпением:

- Если вы не понимаете, что значит великий писатель, так извольте молчать. - Все смутились: Алевтина покраснела, фон Драк побледнел, Тряпицын посинел: такого позора не было ему давно, и еще в доме его покровителя! Молодые люди не могли удержать смеха, и бесчувственный Григорий улыbnулся.

- Впрочем, - сказал фон Драк, - Яков Лукич прав: господ писателей балуют непомерно. Не

знаю, известно ли вам, князь, что одного из них недавно, вопреки указу 6-го августа 1809 года, произвели без экзамена в статские советники и дали ему анненскую ленту. Ленту - новопроизведенному статскому советнику, к которому еще накануне того дня надписывали: его высокоблагородию! (Тряпицын что-то подсказал ему на ухо.) Да, и еще шестьдесят тысяч чистогану. А что он сделал? Вот наш брат (поглядывая на Тряпицына) трудится весь век с крайним опасением, а на старости того и смотри что с голоду по миру пойдет! - Кемский удивлялся красноречию фон Драка: видно было, что его задели за живое.

- Да кто этот писатель? - спросил он.

- Право, запомнил имя, - сказал фон Драк. (Тряпицын что-то пробормотал про себя.) - Да, да, да! Это тот самый, который написал сказку о Бедной Лизе.

- Карамзин! - воскликнул Кемский с восторгом. - Карамзин, который уже несколько лет занимается сочинением русской истории. Так, видно, он ее кончил?

- Написал и представил государю восемь томов, - отвечал Платон.

- Так это он награжден государем с истинно царскою щедростью! В этом я узнаю нашего императора! Дай бог ему многие лета!

- Против высочайшего повеления, - продолжал фон Драк, которому Тряпицын служил суфлером, - ни толковать, ни спорить не смею-с, но удивительно, как можно было дать такую награду за восемь томов! Да наш годовой отчет будет и толще и дельнее! - Кемский не отвечал.

- Однако согласитесь, дядюшка, - возразил Платон учтиво, - что Карамзин испортил русский язык. Наш штабс-капитан...

- Может быть, очень хороший человек, но если он утверждает эту нелепицу, то достоин сожаления! - отвечал Кемский. - Знаете ли вы, в каком детском состоянии был русский язык, как бесцветна была русская литература до Карамзина? Он первый заговорил чистым русским народным языком, и все сердца русские отозвались на его голос. Слог времен предшествовавших был какою-то безобразною смесью условных, чуждых нам оборотов. Нелепая мысль, будто латинский язык есть корень, основание и образец всех прочих, убивала дух

языка русского. Правда, что некоторые писатели и прежде Карамзина пытались писать по-русски, но решительно начал он первый.

Платон возразил:

- Но штабс-капитан Залетаев утверждает, что Ломоносов...

- Был гений, оратор и поэт, но не прозаик. Впрочем, это не служит к его унижению: и Лейбниц в свое время не знал, что существует планета Уран. Если б вы были свидетелями того радостного изумления, в которое мы, тогдашние молодые люди, следственно готовые к принятию всех впечатлений, приведены были первыми книжками "Московского журнала"! Это волнение душевное можно сравнить только с ощущением человека, которому вдруг возвратили зрение или развязали язык! Кемский, воспламененный предметом разговора, долго не замечал, что проповедует в пустыне. Все занимались своим делом: кто ел, кто разговаривал с соседом никто не слушал. Платон устремил глаза в тарелку, как будто отрекаясь от того, что слышит. Кемский обратил вопросительный взгляд на Григорья; тот посмотрел на него равнодушно, выпил

залпом бокал шампанского и, отворотясь, спросил кого-то громко чрез стол:

- Pourquoi avez-vous quitte hier de si bonne heure la comtesse Basile?

Кемский увидел, что у его сестры обедают как в стойлах: едят, пьют, иногда ржут, но не беседуют, не рассуждают, не думают, и решил следовать домашнему обычаю. Он молчал во все продолжение стола, размышляя о том, как человек общественный и образованный возвышает и облагораживает душою вседневные, телесные, можно сказать животные свои действия. Чувственное сближение полов становится благородною любовью, союзом священным и угодным небу; темное чувство самки животных, побуждающее ее жертвовать своею жизнью для сохранения жизни детенышей, превращается в нежную, попечительную, благотворную любовь родительскую, а ежедневное утоление голода становится трапезою дружбы, семейной и общественной. За обедом и ужином собирается семейство, разделенное в течение дня трудами общественными и домашними: отец в дружеской беседе сообщает семейству

свои наблюдения, мнения, уроки; дети дают ему отчет в своих занятиях и намерениях; он слушает их рассказы, направляет их мнения и толки, указывает на хорошую и слабую сторону их дел, помыслов и чувствований; веселость, возбуждаемая досугом, отдохновением и взаимными шутками, услаждает и сокращает время стола, и душа питается за благоустроенною трапезою не менее тела. Древние язычники только ели и пили. Трапезы любви и дружбы установлены религиею христианскою, и величайшее из таинств ее получило начало свое за вечерею...

Разговор за столом продолжался прежний, бессвязный, отрывистый. Только Китти без умолку толковала по-английски с своим соседом и частенько чокалась с ним рюмкою. Григорий иногда вмешивался в их беседу, и несколько раз у них поднимался спор, в котором большая часть бывших за столом, по незнанию английского языка, не могли принять участия. Наконец встали из-за стола. Кемскому подали трубку; он совестился приняться за нее, но увидел, что почти все молодые люди, в том числе безбородые недорос-

ли, взялись курить; между тем он никак не решался нарушить правила учтивости своего времени и, по указанию Платона, отправился на балкон светелки его во втором этаже. Там, смотря на прекрасную Неву, опущенную густою зеленью, он с горестью размышлял о виденном и слышанном...

Когда он часа через два сошел вниз, гостиная была наполнена множеством разнокалиберного народу. Шесть карточных столов заняты были ревностными игроками, между которыми отличалась Алевтина жаром и бранчивостью. В числе игроков было человек шесть пожилых людей, все прочие люди молодые, но эти последние были самыми усердными и страстными игроками. Молодые дамы и девицы сидели в отдельной диванной и перешептывались между собою. Из мужчин были при них рыжий сир Уиллиам Горс, какой-то французик лет в семьдесят и два юнкера. Кемскому стало и жалко и смешно: он не думал найти такую перемену в нравах и обычаях столицы. В его время молодые люди искали общества дам, старались быть любезными, иногда и чресчур; в карты играли только

старики и пожилые люди, а табак курили одни немцы-ремесленники.

- Не составить ли вам партии, братец? - умильно спросила Алевтина.

- Покорнейше благодарю. Вы знаете, я никогда не играл в карты, и со времени разлуки нашей не успел выучиться.

- Что ж прикажете делать со скуки? - спросила она.

- Что делать летом на даче? - возразил он с изумлением.

- Именно, - отвечала она, - ведь не все же гулять да гулять. Надобно и поотдохнуть.

- Но что за отдых за картами, - спросил он, - особенно молодым людям? По мне, я бы отучил их корпеть за карточными столами.

- И, братец! Как вы строги. Они играют в коммерческую. Эта игра не разорит именья.

- Да иссушит ум и сердце! Уж по мне, если играть, то лучше в банк: направо, налево! Там, будто подобие войны: сердце приходит в движение, кровь кипит, а тут сделаешься карточной машиною, без ума, без толку, без чувства! (Один старик со звездою поглядел на него грозно.) Я говорю о молодых людях, про-

должал Кемский, - люди пожилые пусть отдыхают за вистом.

- Брюзга несносный! - проворчала Алевтина. - Вечно умничал не в свою голову, а теперь сделался еще нестерпимее, нежели когда-нибудь.

Кемский не долго оставался в этом обществе. Ему там было чуждо, неловко, можно сказать, страшно. И хозяева и гости казались ему если не врагами друг друга, то, по крайней мере, чужими, незнакомыми, неприязненными между собою. Свет и в его время был не слишком откровенен, доверчив и дружелюбен в своих связях, но тогда это взаимное недоверие прикрывалось лоском вежливости и предупредительности. Теперь же, казалось, люди умышленно выказывали презрение ко всем и ко всему. При входе каждого нового лица князь вставал и кланялся, но на его приветствие не отвечали: обыкновенно представлялись, что не видят поклона, иногда пристально смотрели ему в глаза с улыбкою жалости и презрения. Старомодная учтивость его возбуждала в гостях насмешливый шепот, а на лице хозяйки досаду и смущение.

Сначала казалось ему, что его простой, неловкий наряд возбуждает это изъятие высокомерия и грубости, но впоследствии заметил он, что и с людьми светскими знакомые их обходятся точно так, что в этом высшем, по чинам и богатству, обществе учтивость не только не нужна, но и не терпима!

"Где я? Что я здесь?" - повторял он несколько раз в уме и с стесненным сердцем прокрался до своей фуражки, а там и до дверей. На дворе стояли тесными рядами экипажи. Новоприезжие кучера здоровались с товарищами своими, снимая шляпы, кланяясь и называя друг друга по имени и отчеству.

XL

Кемский на другой день сидел у растворенного окна своей квартиры и, пуская голубые кольца табачного дыму, наслаждался тихою картиною летнего утра. Солнце поднималось на горизонте, легкие пары редели. На Неве свежий ветерок развеивал вымпелы судов, коих мачты поднимались из-за Адмиралтейства. На улицах еще было тихо; изредка слышались клики ранних разносчиков; большой свет еще дремал от вчерашней усталости.

Вдруг раздались громкие звуки военной музыки. Кемский выглянул в окно и увидел батальон Измайловского полка, идущий к Дворцовой площади. При взгляде на этот батальон, при звуках знакомого марша воспоминания прошедшего затеснились в голове его с той самой минуты, в которую он за семнадцать лет пред сим оставил гвардейскую службу.

Он вспоминал, как в такое же прекрасное утро он пустился в Гатчину, чтоб уже не возвращаться под родимый кров. Италия, война, раны тела и души - все это попеременно воскресало в его памяти.

Он принужден был оставаться за раною в Ницце до самого лета. По возвращению в Россию Кемский, по просьбе своей, был переведен в армейский полк, расположенный на Кавказской линии: он не имел духу вернуться в Петербург. Там решил он совершенно посвятить себя службе тяжелой, непрерывной, опасной. Через несколько месяцев поручено было ему командование полком, и он в исполнении обязанностей своего звания начал находить себе отраду и облегчение. Он

познакомился в точности с образом войны кавказской, с характером тамошних наших неприятелей, с свойствами русского солдата, переселенного в те воинственные и грозные страны. Изучение это происходило на самом деле. Полк его всегда находился впереди, всегда там, где грозила ему большая опасность. Кемский не страшился смерти, напротив - видел в ней конец своим страданиям. При первом выстреле перекрестится, помолится, вздохнет - и готов умереть. Но меткие пули неприятельские в него не попадали, а если которая, бывало, сдуру и заденет, то не смертельно, не опасно.

Офицеры и солдаты с благоговением глядели на своего мужественного предводителя, и все наперерыв старались не отставать от него. Вскоре полк Кемского снискал общую славу в войсках Кавказской линии, и где грозила опасность, где свирепствовала смерть, туда начальники посылали отряды княжего полку - так его называли. Отряды не всегда возвращались из своих экспедиций, но если возвращались, то всегда с победою. Кемский отказывался лично для себя от всех наград, но

ревностно ходатайствовал за подчиненных. Достаточное состояние при ограниченности собственных его нужд давало ему средства помогать своим сослуживцам. Уверенные во внимании и правосудии своего начальника, обеспеченные в жизни, они усердно ему содействовали. И он не ограничивался одним денежным и вещественным пособием: он был их другом и отцом. Каждого новопоступившего в полк офицера принимал он к себе, старался узнать его характер, воспитание, наклонности, укреплял в добре, предостерегал от ошибок, с отеческою нежностью упрекал в слабостях, строго наказывал за умышленные нравственные проступки; строжайшим у него наказанием считался перевод в другой полк. Не довольствуясь образованием и наставлением молодых офицеров, поступавших в полк его прямо из кадет и юнкеров, он возложил на себя обязанность несравненно труднейшую - перевоспитывать молодых и немолодых людей, переводимых к нему в полк за проступки: сколько душ он спас таким образом от гибели! Сколько возвратил отечеству полезных слуг, которые при жестоком с

ними обхождении сделались бы, может быть, преступниками и злодеями! Пример благородного начальника и достойных товарищей, обращение учтивое и кроткое, совершенное забвение прошедшего, внимание ко всякому доброму делу, ко всякому честному помыслу и человеколюбивому движению - снимало кору с глаз и сердца заблудшего; он становился иным человеком, начинал новую жизнь, иногда и сам не догадываясь, кому этим обязан.

В дикой и пустынной стране, посреди племен иноверческих и враждебных, полк князя Кемского был кочующею колониєю людей просвещенных и благородных: он непременно требовал, чтоб все наличные офицеры всегда обедали у него, за столом усаживал подле себя самых неистовых; поддерживая общую беседу и давая всякому полную свободу говорить что угодно, возражал на мнения ошибочные, изобличал софизмы иногда шуткою, иногда и нешуточными замечаниями. Собственным примером, а не запрещением изгнал он из полку карты, невоздержание, разврат. Он завел при полку библиотеку отборных русских книг; заставлял молодых офице-

ров переводить лучшие места из иностранных историков и военных писателей. Эти переводы, читаемые в кругу офицеров, распространяли их познания, изоцряли рассудок, короче знакомили с военным делом. Плоды сих благородных трудов вскоре сказались: офицеры княжего полка служили примером всем своим сослуживцам и храбростью, и образованием, и поведением. Добрые дела Кемского и слава его полку не ограничивались пределом русских владений: нередко являлись к нему независимые владельцы ближайших горских племен и представляли на разрешение свои споры. Приговоры его честно исполнялись и правым и виноватым.

Таким образом протекли двенадцать лет. Новый 1813 год отпраздновал он на штурме Ленкорана и был тяжело ранен в левую руку. Едва оправившись от продолжительной болезни, бывшей последствием этой раны, он впал в другое несчастье, еще чувствительнейшее для благородного воина. В числе офицеров, переведенных в его полк за проступки, находился один молодой италиянец Вестри, прекрасный собою, умный, образованный,

ловкий и вкрадчивый. Причиной перевода его в войска закавказские была, как он утверждал, несправедливость полкового командира. Кемский с первого взгляда привязался к этому офицеру: в произношении его было нечто италиянское, напомилавшее ему друга Алимари. Осторожный и проницательный в обращении с новичками, Кемский, казалось, в этот раз хотел сделать исключение из своих правил. Вестри сделался постояльцем, поверенным, другом полкового командира и, должно сказать, несколько времени действительно заслуживал доверенность князя, хотя беспрестанное его пребывание у начальника видимо удаляло прежних ежедневных гостей. Вестри не имел дара нравиться всем одинаково и очень искусно умел устранять тех, которые не нравились ему самому. Князь был добр, ласков, снисходителен, гостеприимен ко всем по-прежнему, но это казалось только наружным продолжением старой жизни: дух ее переменился по водворении у него италиянца, который нечувствительно прибрал в свои руки всю власть в доме. Но заблуждение Кемского не могло быть продолжительным.

Слабодушие поручика Вестри впервые обнаружилось на поле сражения. Долгое время он очень искусно уклонялся от военных действий: умел всегда уладить так, что его накануне, за час и менее пред делом, ушлют куда-нибудь с поручением. Однажды был он так несчастлив, что не нашел никакого средства освободиться от дела. Неприятель нечаянно напал на отряд, в котором находился Вестри под начальством баталионного командира. "Застрельщики, вперед! - закричал полковник. - Поручик! Ведите их!" Поручик побледнел, как мертвец, сделал было с солдатами несколько шагов вперед, но лишь только за-видел пред собою горских наездников, повернул налево кругом и ударился бежать за фронт при громком смехе солдат. Между тем благоприятный момент был потерян: подполковник принужден был сам идти вперед, с трудом поправил дело и воротился раненный. Не желая огорчить Кемского, он смолчал пред ним о трусости его любимца и запретил прочим офицерам говорить о том. Вестри не умел ценить великодушия благородных товарищей. Чтоб лучше скрыть свое ма-

лодушие, он стал обходиться с ними гордо и дерзко, начал обижать и чернить их пред начальником. Дерзость его дошла до такой степени, что и доверчивый Кемский стал замечать перемену в его обращении и тоне. Товарищи долго сносили его грубость, но наконец терпение их лопнуло, и однажды за столом у князя подполковник, выведенный из себя одною дерзкою насмешкою наглеца, открыл начальнику в присутствии всех офицеров и храбрый подвиг Вестри и благородные средства, которыми он старается прикрыть свою трусость. "Что вы на это скажете?" спросил Кемский у Вестри. "Это гнусный заговор, - вскричал Вестри, побледнев от злости. - Ваши офицеры согласились погубить меня!" - "Докажите!" - сказал князь с кротостью.

Доказывать было нечего. После нескольких уверток, оправданий и тщетного отнекивания Вестри должен был признаться, что бежал с поля сражения, но прибавил, что можно быть весьма благородным человеком - и бояться пуль. "Хотя это и не доказано, - сказал Кемский строгим голосом, - однако положим, что так. Но можно ли быть трусом и в то же

время воином? Можно ли носить почетнейшее в государстве титло защитника его и не исполнять своей обязанности? Господин Вестри! Знайте, что в русской армии трусов нет и быть не может. Советую, предлагаю, приказываю вам выйти из военной службы. Я предложил бы вам место у себя по гражданской части, но средства, которыми вы старались оправдаться, и туда заграждают вам путь. Советую вам оставить наш круг как можно скорее".

Вестри не ожидал этого от своего начальника, кроткого и терпеливого. Встав из-за стола, он ударился бежать и чрез несколько часов прислал просьбу об увольнении от службы за болезнь, а между тем сказался больным. Кемский исполнил все, что требовали от него долг службы и обязанности справедливого начальника, но жестокий урок, который должно было дать при всех офицерах прежнему товарищу и другу, сильно взволновал и огорчил его. Несколько раз порывался он послать за Вестри и просить его, чтоб он оправдался; к счастью, голос строгого рассудка на этот раз заглушил вопль слабого сердца.

Но Вестри, Вестри не мог забыть и простить оскорбления и поклялся отомстить бывшему своему благодетелю. От товарищей своих не ожидал он лучшего обращения и потому не злобствовал на них, но скорая и решительная к нему перемена Кемского заронила в пылкой душе его искру смертельной мести. Через несколько недель он отпросился в отпуск, и его уволили охотно. С удалением интригана очистился воздух: все начали дышать свободнее, прежняя дружественная доверчивость возродилась между начальником и товарищами. Кемский, по удалении духа злобы, увидел все его козни, увидел терпение, любовь и покорность своих добрых сослуживцев и собственную свою слабость. Он усугубил внимание, ласку, откровенность свою, и в скором времени все вошло в прежний порядок. Но мщение злодея не дремало.

Через месяц после происшествия с Вестри полк Кемского был послан в экспедицию в горы, где возмутился один князек, бывший до толе приверженцем России и недавно приставший к стороне врагов ее. Приблизясь к логовищу неприятелей, русский отряд распо-

ложился с обыкновенною в таких случаях осторожностью. Все позиции были осмотрены и заняты; в надлежащих местах расставлены пикеты. Ждали нападения. Вдруг, вовсе неожиданно, появился Вестри и объявил командиру в присутствии всех офицеров, что желает загладить прежнюю вину свою и просит дать ему какое-либо поручение. Офицеры не радовались этому быстрому переходу к храбрости. Кемский был приведен в смущение: внезапное прибытие Вестри казалось ему как бы появлением зловещей птицы. Но делать было нечего: Вестри все еще считался в полку, и нельзя было не принять его; особой команды ему не дали, а велели стать во фронте.

В ту самую ночь сделалась тревога. Горцы высыпали со всех сторон, нашли офицера на передовом посту спящего глубоким сном, вырезали его отряд и кинулись на главные силы. Воины наши встrepенулись, бросились к оружию и после упорного сопротивления отразили нападающих, но с чувствительною потерей. Несколько человек из самых храбрых было убито и ранено, несколько пропало

без вести, и в том числе князь Кемский и Вестри. Через два дня узнали, что князь был схвачен горцами, которые, как бы ведомые чутьем, пробрались до самой его палатки. Куда девался Вестри, не могли доискаться.

Князь действительно был взят горскими наездниками в ту самую минуту, как он, выбежав при звуке ружейных выстрелов из палатки, готовился сесть на коня, чтоб встретить нападающих. В темноте, в суматохе, при громких кликах и выстрелах ничего нельзя было ни видеть, ни расслышать. Лихой всадник с добычей своею пустился, как из лука стрела, и на рассвете прискакал в аул своего князя. Чеченец встретил своего пленника с восторгом, и Кемский узнал в нем одного из узденей, приезжавших к нему для разбора тяжбы: этот оказался виноватым и должен был подвергнуться решению посредника. "Теперь я твой судья, князь Алексей! - закричал уздень. - Ты в моих руках". - "Неужели станешь мстить безоружному?" - спросил Кемский. "Да сохранит меня от этого Аллах! возразил уздень. - Я доволен, что поймал тебя. Теперь твой полк без начальника; теперь нам

легче с ним управиться, а то от тебя житья не было. Да в том признайся: ты напрасно оправдал моего соперника; он был кругом виноват". - "Мой полк, - отвечал Кемский, - и без меня будет храбр и страшен неприятелю. У нашего государя много офицеров и лучше меня. Но оправдать тебя я не мог: ты не представил никаких доводов в своем деле". - "Хорошо, это дело прошлое, но теперь я докажу тебе, что я человек честный и справедливый. Приведите изменника! - Чрез несколько минут привели связанного Вестри. - Князь Алексей! Знаешь ли ты этого человека?" - "Знаю. Это офицер моего полка, теперь в плену у тебя". - "Нет, князь Алексей! Он здесь не в плену, а по доброй воле. За неделю пред сим он прокрался в мой аул и сказал мне: "Хан! Полковник, князь Алексей тебя обидел?" - "Крепко обидел!" - "Хочешь ли, я предам его в твои руки?" - "Как не хотеть!" Вот он вчера напоил сонным зелием караульного офицера и проводил моих удальцов до твоей палатки. В награду требует он, чтоб я отправил его к князю Аббас-Мирзе, обещаясь служить ему верою и правдою. Но как можно верить словам преда-

теля? Он жил с тобою под одним кровом, ел с одного с тобою блюда, пил из одной чаши - и предал тебя. Чего нам ждать от него? Злое зелье вырывают с корнем. Вот тебе награда, изменник!" - воскликнул он и острым кинжалом поразил предателя. Вестри пал мертв на землю. Наказание постигло злодея, но не спасло невинного... Кемский был увлечен в горы и содержал в тяжелой неволе. Тщетны были все старания, все покушения начальника, товарищей и подчиненных освободить его из плена. Упрямый уздень отвечал, что мстит князю за личную обиду и, пока жив, не выпустит его из когтей своих. По истечении двух с лишком лет совместник узденя, обязанный князю благодарностью, напал на врага своего, разбил, умертвил его, освободил всех бывших у него русских пленников и нашего страдальца привез в его полк.

Кемский был освобожден на страстной неделе и прибыл к своим товарищам в самую заутреню светлого Христова воскресенья. Кто может изобразить, кто может хотя мысленно представить себе, что он почувствовал, когда звуки православной службы божией, восхи-

тительное пение "Христос воскрес!" коснулись его слуха! В немотствующей благодарности, излившейся потоком жарких слез, пал он пред алтарем бога хранителя и спасителя.

Товарищи приняли его с искренним, нелицемерным участием. Полком командовал бывший помощник его, храбрый подполковник. Кемский, долгое время не подававший о себе вести и, по слухам, считавшийся умершим, был уже исключен из списков; но все обходились с ним, как с начальником. Подполковник подал ему рапорт на разводе, и общество офицеров пригласило его к обеду, где он должен был занять первое место. Сняв с тарелки салфетку, нашел он Георгиевский крест за двадцатипятилетнюю службу с грамотою, подписанною государем. Крест был прислан за месяц до того; подполковник готовился за смертью князя отправить его обратно в Думу, но в то самое время пришло известие, что он жив и вскоре будет свободен. Князь не гонялся за почестями и отличиями, не раз отказывался от них в пользу своих подчиненных, но этот крест принял с чувством искреннего умиления и с восторгом поцело-

вал подпись на грамоте. День сей заключен был веселым пиршеством.

Между тем Кемский объявил, что не в состоянии продолжать службу. Долговременный плен довершил расстройство его здоровья. Уздень обходился с ним не жестоко, но от непривычной пищи, от худых жилищ, от недостатка движения и помощи врачебной раны его не могли закрыться совершенно и приняли характер болезни хронической. Просьба его была уважена: его уволили от службы. Он собирался ехать в свои поместья, которыми управлял в отсутствие его друг и корпусный товарищ Хвалынский, теперь женатый, степенный и рассудительный. Но одно обстоятельство расстроило его планы: молодой офицер, стоявший в карауле в тот день, когда Вестри повел горцев на отряд Кемского, обвиненный в оплошности и даже в том, что после дела нашли его в совершенном опьянении, был предан суду и при тяжких обвинительных обстоятельствах приговорен к строгому наказанию. Дело его находилось на ревизии в Петербурге, а сам он, в ожидании окончательного приговора, содержался в од-

ной из кавказских крепостей. Кемский не поколебался ни минуты: поспешил в Петербург, чтоб лично объяснить дело начальству и, если можно, спасти невинного, сделавшегося жертвою своей оплошности и доверчивости. Притом же Кемский не мог простить самому себе легковерия, с каким предался хитрому Вестри, и хотя по мягкосердию своему мог опять сделаться жертвою первого лицемера, но твердо решился загладить прежнюю вину свою.

XLI

Воспоминания и размышления Кемского были прерваны приходом обоих его племянников. Они явились с почтением, но каждый выражал его почтение по-своему. Григорий дал знать, что он случайно ехал мимо и, вспомнив невзначай, что дядя остановился в "Лондоне", зашел к нему. При этих словах он без всяких околичностей взял со стола сигарку, добыл огня и закурил, глядя на улицу. Платон, напротив того, уверял, что он во всю ночь не мог сомкнуть глаз, ожидая минуты свидания с почтенным своим дядюшкою. Лицо его принимало на себя выражение усер-

дия, и даже слезинки выдавливались из глаз. Кемский старался найти тон, которым мог бы говорить с племянниками, но тщетно: оба они были эгоисты и бездушники, но старший примешивал к этому самую отвратительную спесь, безусловное презрение ко всему роду человеческому и бесстыдную грубость. Второй приправлял душевные свои качества низостью. Он старался угадывать мнения Кемского, боялся отвечать ему и если говорил что свое, то всегда подкреплял ссылкой на штабс-капитана Залетаева.

Кемский несколько раз переменял предмет разговора и между прочим спросил, почему не видать крестного их брата Сергея Ветлина. Платон смешался и не знал, что отвечать; но Григорий с выражением злобы и ненависти сказал:

- Помилуйте, князь! Освободите нас от отчета об этом негодяе. Кажется, матушка довольно подробно описывала вам его поведение, его гнусные поступки в ребяческих летах. Вы утверждали, что это шалости детства, что от них можно отвыкнуть в общественном заведении. Его отдали в Морской корпус: там

держали на привязи, но лишь только выпустили, он впал в совершенное распутство. Хотели было разжаловать его в матросы, но, по ходатайству матушки, сослали в дальний во-
- вож с приказанием: по возвращении в Россию откомандировать как можно дальше.

- Точно по ходатайству матушки, - прибавил Платон, - она упала в обморок в приемной зале морского министра.

- Да что он именно сделал? - спросил Кемский.

- Увольте меня, повторяю вам, - продолжал Григорий, - от исчисления его гнусных поступков. Он пьяница, картежник, забияка.

- Грубиян и нахал, - подхватил Платон, - вообразите: я хотел свести его с порядочными людьми, а он разругал их при первом знакомстве. Штабс-капитану Залетаеву сказал в лицо, что он враль, хвостун и негодный стихотворец. А штабс-капитан...

- Довольно, - сказал в свою очередь Кемский. - Жестокая судьба! (Прибавил он про себя.) Души живой для меня на свете не осталось!

Григорий, выкурив третью сигарку, бросил

огарок в чайное блюдечко князя, взял шляпу, едва поклонился ему, затянул вполголоса арию из "Жоконда" и вышел. Платон истощал все силы, чтоб обратить на себя внимание дяди, старался вовлечь его в какой-нибудь разговор, но тщетно: растерзанный новыми своими открытиями, Кемский молчал или отвечал отрывисто с выражением неудовольствия. И Платон оставил его, но с учтивыми поклонами и с уверениями в почтении, преданности и любви.

И одни ли эти открытия должны были стеснить, истомить душу бедного пришельца с того света! Он принужден был по делу несчастного офицера ездить к знатым и незнатым, к сильным и слабым, должен был каждый день повторять уроки наблюдательной психологии. К этим заботам присоединились еще другие. Имение его было в совершенном расстройстве. В то время, когда пронесся слух о его смерти в Италии, требования, прихоти и нужды Алевтины и детей ее были не так велики, как впоследствии: она довольствовалась только доходами, и князь, возвратившись в Россию, нашел почти все в целости. Но

при взятии его в плен горцами, Алевтина, наученная опытом и опасавшаяся возвращения брата, приняла все возможные средства к переводению недвижимого имущества в движимость: некоторые участки продала, а все прочее заложила в банк и, для довершения начатого, поручила управление деревнями родственнику и приятелю Тряпицына. Хвалынский, живший по соседству, знал и видел все это и, получив известие о том, что Кемский жив и освобожден, поспешил его о том уведомить. По просьбе князя, взял он поместья его в свое управление, но пришел в отчаяние, осмотрев их и увидев, в каком они состоянии: все было разорено, распродано, раскрадено. Только искренняя дружба к Кемскому и уверенность, что сам князь не умеет заняться управлением, побудили Хвалынского обременить себя этим делом.

Что говорила при этом Алевтина? Ничего. Она обходилась с братом учтиво, предупредительно, иногда и слишком раболепно, но ни словом не упоминала о делах, которыми его обременила, не думала давать ни малейшего в том отчета. Князь не имел духу потребовать

у ней объяснения. Хвалынский терпел, терпел, наконец обратился письмом прямо к фон Драку и грозил ему взысканием и уголовным судом, если друг его не получит удовлетворения, по крайней мере, для поправления состояния вконец разоренных крестьян. Фон Драк отвечал, что занимается составлением подробного расчета и в непродолжительном времени уплатит все, причитающееся князю. Заботы не ограничились денежными делами: Тряпицын, в короткое время своего управления, притеснил и разорил несколько бедных соседей: пошли тяжбы, иски - и все это легло на Кемского. Он сделался стряпчим против собственного своего имения и узнал на деле все неудовольствия, затруднения и терзания, обременяющие несчастных челобитчиков. Дни его проходили в визитах по передним, гостиным и присутственным местам.

XLII

Многие из должностных людей, с которыми он принужден был вступить в сношения, были ему знакомы по прежней службе; некоторые были его товарищами в корпусе. Первый, к которому надлежало съездить, был ге-

нерал-майор Лютнин. Кемский знавал его прапорщиком. Он был в девяностых годах модником, ходил в темно-коричневом фраке, в шитом розами белом атласном жилете, в претолстом галстухе, в остроносых сапогах с желтыми отворотами, читал Новую Элоизу, Геснера, Флориана и Бедную Лизу, глядел на небо и плакал. Чувствительный прапорщик влюбился в то время в какую-то Полину, которая слыла чудом красоты, ума и воспитания. Она уехала с родителями из Петербурга в провинцию; он вышел в отставку и, как Дон-Кихот, полетел за нею. Наконец услышали в Петербурге, что верная любовь его увенчалась браком в сенигилеевском селе его тестя. С того времени протекло двадцать лет.

Лютнин занимал ныне важное место в том управлении, от которого зависело решение судьбы подсудимого офицера. Кемский, не доверяя прочности прежних связей, явился к нему не на дом, а в департамент, тотчас был допущен и принят с изъявлением искренней приязни.

- Что привело тебя, любезнейший князь, в наш департамент?

Князь назвал дело, по которому хлопочет.

- Мне совестно, - сказал Лютнин, - что ты посетил меня в департаменте. Позволь пригласить тебя ко мне на дом. Моя Пелагея Степановна будет рада старому моему товарищу.

"Пелагея Степановна? - подумал Кемский. - И он несчастный лишился жены! Полины нет". Он не имел духу сообщить свое замечание Лютнину, дал слово обедать у него на другой день и уехал, полный надежды на помощь приятеля. В назначенный час явился он к обеду. Лютнин встретил его с радушием, но притом с какою-то робостью.

- Пойдем, - сказал он, - я отрекомендую тебя жене! - Взял его за руку и повел чрез ряд великолепных комнат к кабинету, отделявшемуся от большой залы деревянною перегородкою. - *Pauline, ma chere!* - сказал он смиренным голосом, не входя в кабинет. - Позволь мне рекомендовать тебе друга и товарища моего детства, князя...

- Убирайся с своими князьями! - закричали густым басом из кабинета. - Твой экзекутор наделал мне столько хлопот, что я до завтра не справлюсь со счетами об одних канцеляр-

ских расходах.

Лютнин, смешавшись и покраснев до ушей, повел князя назад и в третьей комнате, оглянувшись, не идет ли за ним кто-нибудь, сказал вполголоса:

- Моя добрая Пелагея Степановна - мне правая рука. Она служит мне самым усердным помощником, и я, признаюсь, без ее пособия не успел бы справиться с моим хлопотливым местом. Детей у нас нет, так она все время, остающееся у ней от домашних занятий и сельского хозяйства, посвящает службе. Не поверишь, как я счастлив!

В это время что-то грохнуло в кабинете, и Лютнин вздрогнул, как при громовом ударе, только что не перекрестился. Хозяин всячески старался занимать гостя, который и сам предупреждал его в этом, заводил разговоры о прежнем житье-бытье, о корпусных товарищах и пр. Наконец чрез полтора часа после времени, назначенного для обеда, появилась в гостиной Пелагея Степановна, или Полина, высокая, дородная, черноокая, краснолицая дама. На поклоны и рекомендации мужа не обращала она внимания, а у Кемского, после

первых приветствий, спросила:

- А что, батюшка, конечно, у вас есть дельце? Какое, смею спросить?

- Есть, - отвечал Кемский, - я объясню его Максиму Фомичу.

- И, батюшка! Он все забудет и перепутает. Чиновники его плуты и взяточники; потрудитесь лучше объясниться со мною. И если дело ваше правое...

- Кушанье поставлено! - возгласил дворецкий.

Князь повел Пелагею Степановну. Максим Фомич поплелся за ними. В столовой ожидали их экзекутор и дежурный; они, дрожа и бледнея, также сели за стол.

- Ну что вы, умные люди, - сказала Пелагея Степановна мужу своему, изволили делать сегодня? Чай, все заседание толковали о висте и о погоде! Вы не поверите, князь, что за люди эти мужчины! Настольный реестр для них чума: в дела и не заглянут. Секретари мошенничают, а они и ухом не ведут. Сколько по нынешнее число входящих? - спросила она у дежурного.

Тот вытащил из-за пазухи бумажку и про-

чел:

- Две тысячи семьсот восемьдесят четыре.

- А сенатских указов сколько не исполнено?

- Не могу знать, ваше превосходительство, - отвечал он, запинаясь.

- Вот порядок! - вскричала она. - Что это у тебя за уроды, Максим Фомич?

- Канцелярские служители, - отвечал он, также заикаясь, - канцелярские служители не могут и не должны знать о течении дел.

- Да вы и сами того не знаете: ай да государственные люди! Того и смотри что в министры махнет, а теперь и с дрянным департаментом не справится. Что подряд на курьерских лошадей? - спросила она у экзекутора.

- Никто не берет ниже цены, объявленной Лысовым.

- Мошенники, плуты, злодеи! Берут деньги безбожные, а ставят лошадей прескверных. Вчера мой курьер проездил за шляпкою к мадам Мегрон два часа с половиною. Слыхано ли это?

Таким образом продолжалось во весь обед. Кемский рад был, что генеральша при теку-

щих делах забыла о его иске. Лишь только встали из-за стола, князь улучил минуту, когда Полина толковала дежурному о неподскабливании бумаг в титуле, и поспешил выйти из этого канцелярского аду.

Другого чиновника, не менее важного по этой части, князь также знавал в молодости. Волочков был, что называется в свете, добрый малый: весельчак, забавник, любил попировать, поиграть в карты, волочился за всякою хорошенькою женщиною, представлялся или был в самом деле вольнодумцем и безбожником, но в обхождении с сверстниками и приятелями был учтив, услужлив, снисходителен к слабостям ближнего, и когда имел время от непрерывных развлечений, то делал и добро, не разбирая, впрочем, кому и за что. Ныне, слышал он, Волочков остепенился. Кемский отправился к нему рано утром. В передней встретил его бледный, сухощавый лакей в разодранной ливрее и, на требование князя доложить о нем, объявил, что Капитон Кузьмич теперь молится богу.

- Хорошо, - сказал Кемский, - я подожду его, - и вошел в залу, уставленную простыми

мебелями. На стенах не было зеркал, а висели раскрашенные картинки с странными изображениями пронзенного стрелами сердца и т.п. На столе лежали сочинения Эккертсгаузена. Через полчаса Волочков вышел из внутренних комнат. Князь едва узнал его: статный, ловкий гвардейский офицер превратился в длинную, бледную мумию. Глаза его, в молодости сверкавшие огнем жизни и ума, потускли и выкатились; лицо высохло и обложилось морщинами. На устах видно было выражение принужденности и лицемерия. Кемский хотел было поспешно подойти к нему и поздороваться с ним, как с старым приятелем, но грозный и в то же время печальный вид Волоčkова остановил его. Волочков подошел к нему шага на три, низко поклонился и, не переменяя выражения лица своего, произнес глухим, торжественным тоном:

- Все ли вы в добром здоровье, князь Алексей Федорович?

- Здоров, слава богу, - сказал Кемский, запинаясь, - а вы, Капитон Кузьмич?

- Грешное мое тело, - отвечал тем же тоном Волочков, - преисполнилось новою силою с

тех пор, как прозрела душа моя, с тех пор, как луч света озарил темную храмину ветхого человека.

Вслед за тем понес он такой великолепный и непостижимый вздор, что Кемский стал сомневаться в целостности его мозга. Не прерывая нити разговора, Волочков ввел князя в гостиную и посадил на жесткую софу. При первой точке, князь объяснил ему причину своего посещения и предмет своей просьбы. Услышав, что дело идет о спасении человека, провинившегося по службе, Волочков побледнел, задрожал, и слезы навернулись у него на глазах.

- И вы ходатайствуете за изверга, за изменника, за подлеца, поправшего ногами присягу и заповедь божию!

- Нет! - сказал Кемский твердо и спокойно. - За неопытного, неосторожного человека, вовлеченного в преступление злодеем; ищу правосудия и снисхождения в судьях; не найду у них - обращусь к верховному судье нашему, государю, и уверен, что он вникнет в это дело.

- Но во всяком деле непременно кто-ни-

будь должен же быть виноватым? возразил Волочков.

- Так пусть же буду виноват я, что поручил важный пост молодому, ненадежному офицеру. Я сам себе этого век не прощу.

- Это в вашей воле, - сказал Волочков, - но во всяком уголовном деле по точному, буквальному смыслу законов кто-нибудь должен быть наказан. И в этом состоит обязанность всякого судьи. К несчастью, - прибавил он со вздохом, - по внушению ложной филантропии XVIII века, ныне слишком часто прощают виновных под тем предлогом, что они впали в преступление неумышленно. С умыслом или без умысла - не наше дело, а преступление совершено, следственно, и наказание должно последовать. Если б и случилось, что накажут невинного, то пострадавший отнюдь не потеряет: бог вознаградит его.

Таким образом продолжал он толковать о необходимости наказаний, потом перешел к толкам о наказаниях на том свете, о внутреннем человеке и тому подобных предметах. Первая фраза каждого из его рассуждений была ясная, правильная, иногда блистательная

и красноречиво сказанная, но следствия, выводимые из этого начала, отнюдь из него не проистекали, иногда прямо ему противоречили и часто заключали в себе совершенную бессмыслицу. Волочков говорил, как попугай, затвердивший несколько человеческих фраз и сопровождавший их своими скотскими вариациями. Кемский высидел у Волочкова два часа, выслушал тома четыре нелепостей с великолепными заголовками и отвратился от него без надежды на спасение своего клиента этим путем, без надежды на выздоровление Волочкова. Последним, решительным ответом Волочкова было:

- Не хочу знать и имени изверга, за которого вы просите: я должен сохранить в сем деле величайшее беспристрастие.

Когда князь вышел из гостиной, куча грязных ребятишек окружила его в зале и в передней с кривляньем и криками.

- Что это за дети? - спросил он у слуги, подававшего ему шинель.

- Это, сударь, наши дети! - отвечал слуга улыбаясь. - А вот и маменьки их! - прибавил он, указывая в окно на двор, где несколько

прачек работали за лоханью.

Потом Кемский узнал, что Волочков славитя в свете милосердием своим к сиротам, берет их неизвестно откуда, пристраивает в учебные заведения, а потом под самодельными прозвищами, при пособии друзей своих, определяет в службу. Впоследствии задача о преобразовании Волочкова решилась очень легко. Рожденный без характера, не приучившийся рассуждать сам с собою, Волочков всю жизнь свою провел, так сказать, на буксире. В молодости своей подражал он модному в то время вольнодумству и составил себе невыгодную впоследствии репутацию. Неудачи всякого рода заставили его переменить не образ мыслей, ибо он их не имел никогда, но образ речей и рассуждений. Он втерся в знакомство к одному человеку, известному своею набожностью и строгостью правил, умел к нему подделаться и перенял у него несколько фраз, которые передавал и разукрашал по-своему. Нравственность его осталась прежняя, но нашлись люди, которые, не понимая разглагольствий Волочкова, провозглашали его человеком глубокомысленным и благочестивым.

вым. Хор этих статистов громогласно вознес достоинства плохого актера; сокровищница мест, почестей и наград отверзлась пустому человеку, который не умел даже быть и порядочным лицемером.

Кемский, посещая дельцов и значительных людей, слушал, скрепив сердце, нелепые толки, странные правила, кривые суждения, но не приобрел новых понятий о людях: они были все те же. В свете господствовали по-прежнему четыре темперамента, о которых за тридцать лет толковал ему профессор философии в корпусе: сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. По-прежнему три любия разделяли людей на классы: сребролюбия, честолюбия, сластолюбия. Вера его в человечество не поколебалась: он видел, что в толпе людей вседневных, дюжинных, сотенных проскакивают ревнители добра, чести и правды; уверялся более и более, что в редком человеке нет каких-нибудь хороших качеств и что всякий платит дань слабой и испорченной натуре. Так, например, он наслышался о Досканцове как о бессовестном взяточнике; познакомился с ним поневоле и

нашел, что Досканцов, конечно, не отказывается от гостинца, но поступает с просителями вежливо, не позволяет себе несправедливости, обходится ласково и почтительно с своими подчиненными и в семействе своем любим и уважаем. После того обратился он к Сушилину, который слыл в мире другом правды и чести, Катонем и Сократом. Но каков был этот Сократ вблизи? Жестокосердый счетчик, неумолимый обвинитель и гонитель всех и каждого, не умевший и не хотевший отличить слабости от порока, ошибки от преступления. "Возьми пятьсот рублей, думал Кемский, слушая его толки о честности, бескорыстии и правосудии, - да будь человеком!"

Прискорбнее всего было слышать Кемскому толки о Вышатине. Он служил с отличием, занимал важное место, славился своим умом, деятельностью и благородством, но слыл несносным гордецом. Кемский несколько раз порывался посетить старого друга, но не мог на то решиться, не хотел расстроить в воображении своем того милого лика, в котором с самой нежной юности являлся ему Вышати́н, добрый, любезный, благородный. Воротясь

однажды домой, измученный странствиями по передним и приемным комнатам, он нашел на столе своей записку следующего содержания: "Ты, бессовестный человек, забываешь своих товарищей. Вот я четвертый раз приезжаю к тебе и не застаю. Приходи, душа моя, к твоему верному другу, Вышатиному".

Кемский обрадовался этому приглашению, как голосу с того света, и на другой день утром отправился к прежнему товарищу. Вышатиным жил барином в просторном великолепном доме. Прислуга опрятная, учтивая; комнаты убранные со вкусом. Швейцар вежливо спросил у Кемского, не он ли князь Алексей Федорович; получив ответ, позвонил и отправил слугу вверх. Кемский едва успел взойти на лестницу, как очутился в объятиях Вышатины. Дружелюбный прием тронул князя до глубины души: никто ему в Петербурге так искренно не радовался. Вышатиным с беспрестанными отрывистыми вопросами, упреками и восклицаниями привел Кемского в свой кабинет, где царствовали порядок, чистота, роскошь и удобства. На одной софе лежал какой-то человек в синем сюртуке, под-

няв ноги вверх и разглядывая живопись на потолке кабинета. Послышав стук открывающихся дверей, он обернулся и, увидев Кемского, вскочил, выпятил глаза, закричал: "Князь!" - и бросился к нему на шею. Кемский узнал Берилова... Слезы их смешались. Они не говорили о былом, глядели друг на друга и утирали глаза. Вышатин был не лишним и не чуждым в этой сцене.

Кемский провел у старого друга своего несколько часов и, уходя, дал ему слово видаться с ним как можно чаще. Берилов нисколько не переменялся: на нем, казалось, был прежний его сюртук, он постарел немного, но не остепенился, говорил что на ум взбредет, приходил в восторг от каждой картинки и теперь не мог налюбоваться новорасписанным плафоном в кабинете: ложился то на софу, то на пол, разглядывал живопись и в художественном исступлении размахивал руками и ногами.

Не прежде как в карете Кемский вспомнил о репутации Вышатины в свете. "Как несправедливы люди в своих толках и суждениях, - подумал он, - этого благородного, прямого,

простодушного человека прославили гордецом и высокомерным. Положим, что в обхождении со мною ему нельзя было важничать, а как он принимает Берилова!"

Кемский стал посещать Вышати́на очень часто, всегда находил удовольствие в его беседе, всегда услаждал свою душу его искреннею дружбой и только у него отдыхал от мучительных сцен, которые на каждом шагу поражали его в свете. Вскоре однако заметил он, что дурная слава о Вышати́не не вовсе была незаслуженная. Однажды, когда друзья сидели с Бериловым в кабинете, доложили Вышати́ну, что пришел какой-то чиновник. "Зови!" - сказал он слуге. Через несколько минут вошел в комнату человек немолодых лет, в орденах, с портфелем под мышкою и, низко поклонившись, подошел к письменному столу, за которым сидел Вышати́н. Не отвечая на поклон, Вышати́н стал принимать бумаги из рук чиновника: рассматривал их и подписывал или, отметив карандашом, отдавал докладчику с словами: "Не то: толку нет; переделать; гадко, скверно, чтоб было переделано к завтрашнему утру". Чиновник, стоя подле

стула Вышатины, после каждой подписи засыпал ее песком и откладывал бумагу в сторону, а подвергнувшись критике брал обратно в портфель, примолвив: "Слушаю, ваше превосходительство!"

Окончив рассмотрение всех бумаг, Вышатины отворотился, закурил трубку и начал разговаривать с Кемским, а чиновник собрал между тем бумаги, поклонился своему начальнику заочно и вышел из кабинета на цыпочках. Через несколько времени явился другой чиновник, был принят и выпровожден так же грубо. Кемский не мог скрыть своего изумления.

- Помилуй, Вышатины, - сказал он тихо, - можно ли так обращаться с людьми? Этак я и слуги своего трактовать не стану. Теперь меня не удивляет, что я слышал о твоей гордости.

Вышатины улыбнулся:

- Знаю, - сказал он, - как обо мне толкуют в свете. Но люди, с которыми я должен иметь дело, лучшего обхождения не стоят. Это пресмыкающиеся гадины; терпят все и подличают пред сильными и знатными. Я не могу

уважать их, не могу скрывать моего к ним презрения.

- Может быть, ты ошибаешься, - сказал Кемский, - подчиненность, уважение, чувство расстояния, в котором они от тебя находятся, одно это виною мнимого их унижения.

- То-то мне и противно! - вскричал Вышати́н. - Года за два пред сим был я в размолвке с министром; все полагали, что я пойду в отставку; многие воображали, что я дорого заплачусь за свое упрямство. Что ж ты думаешь? Все эти низкопоклонники, старавшиеся до того по глазам угадать мои мысли и желания, вдруг оборотились ко мне спиною, перестали меня слушаться, встречаясь со мною на улицах, отворачивались; иные и не отворачивались, а глядели мне насмешливо в глаза, как будто желая сказать: теперь, лих, не боюсь тебя! Признаюсь, что это обстоятельство отчасти заставило меня покориться воле министра. Мы с ним помирились; он отобедал у меня, и на другой день вся эта мелкая канцелярская сволочь явилась у меня в передней с поклонами, поздравлениями и доносами. Суди, могу ли я уважать таких людей!

- Но прежде этой истории, - кротко сказал Кемский, - как ты обращался с ними? Как и теперь: недружелюбно, гордо, жестоко! Удивительно ли, что они тебя не любили, повиновались тебе из одной необходимости и при первом случае изъявили радость, что от тебя освободились? Извини мою откровенность, Вышатин! Люди не так худы, как ты воображаешь, и в толпе этих приказных, конечно, найдутся люди истинно благородные, может быть, и герои добродетели. Мы обвиняем их, судим о них по себе, но какие правила внушены нам, и как воспитаны они? Мне кажется, долг наш есть ободрять, облагораживать, возвышать этих людей.

- Ты вечно носишься в своем мечтательном мире, - улыбаясь отвечал Вышатин, - поживи с этими праведниками на земле, так запоешь иную песню. Ну, скажи правду, Андрей Федорович, - примолвил он, обращаясь к Бериллову, - горд ли я? Спесив ли я?

- Помилуйте, Владимир Павлович! - сказал Бериллов. - Да я просто в вас человека не видал. Ваш камердинер Федька гораздо вас спесивее! - Оба друга рассмеялись, но Вышатин

не от чистого сердца: он почувствовал невинную и неумышленную эпиграмму простодушного артиста.

XLIII

Старания и труды князя не имели успеха: дело бедного его офицера длилось и тянулось. Затруднения и хлопоты по имению возрастали ежедневно, и он отказался бы от всего своего имущества, если б оно состояло в движимости или в вещах бездушных, но обязанность доброго помещика, наследовавшего своих крестьян от предков, не позволяла ему легкомысленно передавать их в другие руки, играть судьбою себе подобных, вверенных ему Провидением. К тому же в главном из имений его, селе Воскресенском, погребены были его отец и мать. Хвалынский писал ему, что отчаивается разделаться со всеми требованиями, которыми обременено имение, советовал продать и наконец, после долговременной переписки, объявил, что есть еще надежда спасти недвижимую, если князь лет на пять откажется от доходов. Князь согласился и на это, решился жить одним своим пенсионом, лишь бы не изменять тому, что

почитал своим долгом. Пришлось отпустить экипаж, оставить приятную и удобную квартиру в Большой Морской и переселиться в какое-нибудь предместье.

В одно ясное зимнее утро князь пошел отыскивать себе квартиру: останавливался везде, где видел прибитые к воротам билеты, осматривал, приторговывался, но все, что он видел, казалось ему слишком дорогое. Между тем цена, по мере удаления его от центра города, уменьшалась. Он прошел уже далеко в Коломну и, может быть, в двадцатый раз с утра, взобрался на лестницу дома, где был прибит билет с надписью: Здесь отдаются в наем пакои с кухню. Дворник показал ему в четвертом ярусе, в конце темного коридора, три комнаты, низкие, грязные, в которых пахло чем-то очень неприятным после прежних жильцов.

- Нет, друг мой, - сказал князь, - эта квартира для меня не годится.

- Так извольте повременить денек, - отвечал дворник, сходя с крыльца, - у нас опростается другая в третьем этаже: та и просторнее и чище. Там живет теперь маляр, да он, вишь,

худо платит, так хозяин его сегодня выгоняет. И квартального позвали. Слышите ль, как спорят?

В самом деле раздавался громкий крик разных голосов из-за дверей, с которыми князь поравнялся. Вдруг дверь распахнулась, кто-то выскочил и чуть не сбил его с ног.

- Тише, тише! - сказал князь, останавливая беснующегося, и узнал в нем Берилова. - Помилуйте, это вы, Андрей Федорович!

- Князь! Князь! - закричал Берилов. - Это вы! Сам бог послал вас ко мне. Помогите мне, ради Создателя! Меня губят, режут!

С сими словами схватил он его за руку и втащил в комнату. Столы, стулья, шкафы, посуда, картины, вазы, бюсты, модели были складены в одну кучу посреди комнаты. На ветхой софе сидел какой-то красноносый толстяк с нависшими на глаза бровями, с отвисшею нижнею губою. Подле него стояли полицейский офицер и несколько человек в русских кафтанах.

- Что, бешеный, воротился? - спросил толстяк с улыбкою, в которой соединялись спесь, презрение к человечеству, жестокосердие и

глупость. - Полно противиться правительству!

- Спасите меня, князь, от этих душегубцев! - кричал иступленный Бериллов. - Они давят, режут меня.

- Скажите мне, в чем дело? - спросил Кемский.

- Дело, сударь, очень простое, - отвечал толстяк холодно. - Андрей Федорович не хочет платить за квартиру, и я принужден был прибегнуть к помощи правительства.

- Не хочет платить? Ах ты разбойник, барышник, то есть лавочник, гнусное, продажное создание! Я не хочу платить! Врешь, жид проклятый! Вот в чем дело, ваше сиятельство! Я нанимаю квартиру у этого варвара по пятнадцати рублей в месяц. Срок прошел тому назад недели три. Я забыл, что наступило первое число, и живу себе да живу. Он - что бы напомнить, так нет. Вдруг сегодня - шасьт ко мне Гаврила Григорьевич, то есть наш надзиратель да и с оценщиком. "Ба, ба, ба, Гаврила Григорьевич! Откуда?" - "Со съезжего двора, - отвечал он, - пришел описать ваше имение". - "Мое имение - за что?" - "Вот предписание: вы

не платите за квартиру, несмотря ни на какие понуждения". - "Да разве уже наступило 1 ноября?" - "Сегодня 29 ноября". - "Помилуйте, Гаврила Григорьевич! Дайте день сроку". - "Не смею, Андрей Федорович! Частный пристав съест". "Так дайте, я схожу сам к частному приставу". - "Извольте, повременю".

Я - к приставу, а того нет дома. Я опять домой, а хозяин уж нагрязнул со всею своею сволочью, то есть с приказчиками, сидельцами, мальчиками. Дураки, невежды, злодеи вздумали оценивать произведения художеств. Вообразите - этот ландшафт, помните, тот, что я написал наобум и который так любила... то есть, вы так любили, оценен в два рубля с полтиною! А сестрица ваша, Алевтина Михайловна, продала его, то есть велела продать на толкучем рынке и взяла четыре рубля. Я купил его за шесть, а Владимир Павлович давал мне шестьсот рублей.

- Он с ума сошел, то есть, его превосходительство.

- Да одна ли только эта картина! Хозяин мой не дурак: начал торговать битыми бутылками да наторговал, то есть наплутовал

четыре каменные дома. Хотел взять за бесценок мои картины, а меня выгнать. - Слезы и рыдания прервали речь Берилова.

- Ах ты, маляр поганый! - закричал хозяин. - Как ты смеешь обижать первостатейного...

- Плута! - прервал Берилов.

- Да знаешь ли, что меня чуть в головы не выбрали? Я было уж и комнаты расписал - не тебе чета у меня работали.

- Потише, сударь, - сказал Кемский, - вы вправе требовать своих денег, вправе наложить запрещение на движимость жильца, но это сущий разбой забирать и оценивать имение без самого хозяина. И вы, сударь, господин полицейский офицер, допускаете такое самоуправство?

- Помилуйте, ваше сиятельство! - возопил квартальный. - Мы люди маленькие, нам ли идти против начальства, когда и сам частный пристав не сладит с этими господами обывателями? Мне велено было - и я явился. Плачешь, сударь, иногда, а волю начальства исполняешь.

- Нет, князь, - вскричал Берилов, - не оби-

жайте Гаврилы Григорьевича: это Рафаэль между полицейскими, честная и добрая душа, а оттого и есть нечего, а как есть нечего, так и повинуюешься тому, кто кормит.

- Перед богом так, Андрей Федорович! - сказал квартальный, утирая слезу синим клетчатый платком.

- А сколько вам должен господин Бериллов? - спросил Кемский у хозяина.

- Да теперь, с завтрашним числом, за два месяца, - отвечал хозяин, усмиренный титулом князя, - всего тридцать рублей. Истинно скажу вашему сиятельству, что сам крайне нуждаюсь.

Князь вынул деньги из бумажника и отдал квартальному.

- Вон отсюда! - закричал Бериллов хозяину. - Убирайся, пока не бит! До завтрашнего вечера я здесь хозяин: все заплачено.

Купец убрался, худо скрывая досаду, что ему не удалось поживиться скарбом живописца. За ним поплелись его клеветы, и шествие заключил добрый Гаврила Григорьевич.

- Ура! То есть наша взяла! - закричал Берил-

лов, и не думая благодарить князя.

В это время появилась из кухни высокая, худощавая старуха.

- Вот что вы нажили своею беспечностью и чванством! - закричала она. Чуть было не пришлось ночевать мне на улице, а я благородная чиновница, не то что покойница, хваленая ваша Настасья Родионовна. Да чего и ожидать от беспутного человека? Когда не пожалел родного детища...

- Тише, тише, матушка, Акулина Никитична! - сказал смущенный Бериллов. Ради бога, перестань! Вот князь, то есть друг мой, помог мне, и когда кончу большую мою картину...

- Да когда кончите, - продолжала Акулина Никитична, изменяя грозный тон на жалобный, - а до того чем проживем? Завтра вы именинник, а мне и пирога не из чего испечь; о кофе и не думай. Житье мое вдовье, сиротское!

Бериллов, храбрый пред хозяином миллионщиком и пред полициею, не знал, что отвечать старухе. Князь вступился за артиста, успокоил старуху уверением, что будет и на пирог и на кофе и, выпроводив ее обратно в

кухню, стал расспрашивать Берилова о его средствах, о его надеждах, о плане будущей жизни. Живописец смотрел на него, вытаращив глаза: он никогда не думал о завтрашнем дне, никогда не помнил вчерашнего и жил, как бог пошлет. Князь предложил ему нанять квартиру вместе. Берилов долго не мог этого понять; потом понял и не соглашался. Князь позвал на помощь Акулину Никитичну, и она вразумила артиста.

При помощи Акулины Никитичны, коротко знакомой со всеми петербургскими предместьями, отыскали удобную квартиру на Выборгской стороне, на месте старинного Самсоновского кладбища, в доме, построенном посреди сада, разведенного на древних могилах. Дом этот имел два выхода, и в верхнем ярусе большую светлую комнату, как будто нарочно построенную для помещения в ней мастерской живописца. Князь уступил большую часть нижнего жилья Берилону, а себе предоставил две комнатки с каморкою для Силантьева. Берилов, постигнув наконец все удобства и пособия, ожидающие его при этом новом образе жизни, пришел в иступление от

радости и просил позволения князя украсить его кабинет лучшими произведениями своей кисти.

XLIV

Перемена образа жизни Кемского и причины, побудившие его ограничиться в своих расходах, вскоре сделались известными его родственникам, виновникам всех его бедствий и потерь. Нельзя было и ожидать, чтоб это гласное объявление князя о расстройстве его имения могло возбудить в них малейшие чувства сожаления, самый легкий упрек совести: вся эта семья принадлежала к числу людей, которым чувствительны одни физические страдания, для которых сожаление, сострадание, голос совести суть вымыслы и предрассудки театральные, Алевтина, побаиваясь иногда, что, может быть, брат вздумает потребовать у ней отчета в разорении имения, скрывала свои чувства и представлялась, будто не замечает, что брат перестал ездить четверткою, что он переселяется в предместье. Иван Егорович трусил еще более и надеялся на одного Якова Лукича, а между тем не переменял, по наружности, обращения своего

с шурином; но пасынки его не хотели и не думали скрывать своих чувствований и мыслей. Григорий перестал говорить с дядею, впрочем, эта перемена не слишком была заметна, потому что он и прежде не соблюдал большой учтивости, но Платон сделался в такой же степени груб и дерзок, как прежде был угодлив и раболепен. Он старался при всяком случае намекать на безрассудство и бессовестность родственников, которые плохим хозяйством, нерасчетливым усердием к службе и доверчивостью к чужим расстраивают имение и уничтожают справедливые и законные надежды своих наследников; он противоречил всем мнениям и словам князя, насмеялся над суждениями умников XVIII века и в этом перестал даже ссылаться на штабс-капитана Залетаева. Китти вовсе не говорила с дядею, вовсе на него не глядела, обратив все свое внимание, всю нежность на собаку и на англичанина.

Кемский ходил к ним редко, но в день переезда на новую квартиру счел за нужное уведомить их, чтоб они знали, где найти его в случае надобности. Отобедав в последний раз

в "Лондоне", он пошел пешком к сестре своей. У ней было несколько человек гостей: все занимались, как обыкновенно, - вистом. Его приняли холодно, сухо, почти грубо. Алевтина, игравшая с какими-то толстыми матадорами, едва приподнялась с дивана и прошептала нечто похожее на *bon soir*. Григорий кивнул головою, не оставляя небрежно-живописного положения своего в креслах, а Платон отворотился от дяди, лишь только вошедшего в двери, отыграл карту и сказал что-то забавное своим товарищам; они засмеялись и обратили глаза на Кемского.

Бывают дни, в которые человек настроен не так, как обыкновенно, в которые он все видит, все замечает, все принимает к сердцу. Дерзкое и непристойное обращение племянников давно оскорбляло чувствительного Кемского, но никогда не поражало его так сильно, как в этот вечер. Он не просидел и полчаса в этом обществе: ему казалось, что он окружен какими-то духами злобы, что стоит в преддверии ада, где ожидают его муки и терзания; казалось, что сатанинские лица, в дыме свеч, кружатся вокруг несчастной, обре-

ченной им жертвы, и, с свирепой улыбкой фурий, готовы терзать ее.

Кемский встал со стула, отыскал глазами фон Драка, подошел к нему и, отдавая записку, сказал:

- Если вам случится во мне надобность, вот мой адрес. Помните обещание ваше об отчете.

Видно, в глазах его выразалось что-то страшное. Фон Драк испугался, смутился и едва проговорил:

- В самом непродолжительном времени!

Кемский поклонился ему, повернулся и вышел. Захлопнув дверь за собою, он услышал, что в гостиной раздался громкий хохот.

XLV

Он вышел на улицу и отправился в новое свое жилище. Освободившись от ненавистных лиц, не терзаясь более шепотом, криком и хохотом бездушных тварей, он погрузился в крепкую думу, шел куда должно, но сам того не зная.

Раны сердца его раскрылись. Чаша страданий его исполнилась последнею малою каплею. "Наташа! Наташа!" - лепетал он, вызывая

облегчительные слезы на потускневшие глаза, но и слезы отказывались ему повиноваться. Стесненный настоящим страданием, дух его перенесся в даль темную, минувшую, невозвратную. Ему почудилось, что он находится еще на корабле, перенесшем его из Ниццы в Триест. Его провожал верный друг Алимари, дважды спасший ему жизнь: в первый раз сообщив условное восклицание, по которому всякой масон (а их было очень много во французской армии) должен был непременно подать ему помощь; в другой раз, исторгнув его из бездны отчаяния... Море волновалось. Солнце скрывалось за горизонтом, золотя последними лучами верхи волн морских и исчезая с ними в бездне. Он сидел на скамье, прислонясь к мачте. Алимари стоял подле него и, держась рукою за канат, глядел молча в даль, теряющуюся на западе. Вдруг послышались вопли из каюты. Из нее выбежал спутник их, старичок, ливорнский купец, и бросился к Алимари. "Спасите, избавьте ее", - сказал он ему, задыхаясь. "Кого? Как?" - спросил изумленный Алимари. "Вы медик и человек сострадательный - не откажите в по-

собии моей бедной Джульетте. Умоляю вас всем, что свято!" - "Он ошибается, приняв меня за медика, - сказал Алимари Кемскому по-русски, - но бессовестно было бы отказать в пособии. Пойдемте со мною, князь!"

Они пошли вслед за трепещущим стариком в женское отделение каюты. Там на койке, спущенной к самому полу, лежала в беспмятстве молодая женщина; смертная бледность покрывала лицо ее, глаза были закрыты, губы шевелились и произносили невнятные звуки, руки сложены были на груди, сильно волновавшейся. Иногда вся она приходила в движение, поднимала руки, как будто прося помощи, и выпускала жалобные вопли. Алимари подошел к ней, вперил свои взоры в закрытые глаза ее - она вздрогнула, и вскоре потом улыбка пролетела по ее устам. "Паоло!" - сказала она тихим голосом. "Паоло! - произнес с горестью старик отец ее. - Это имя жениха ее, убитого французами". - "Паоло! - повторила она. - Наконец ты воротился. И как ты здоров, как весел, а я!.." На лице ее изобразилось внутренне движение тоски. Алимари наклонился к ней, разогнул ее руки,

опустил их вдоль тела и начал водить своими руками по лицу ее, потом, расширяя мало-помалу круги, делаемые руками, опускал их к предсердию. Страдалица поутихла. На лице ее водворилось спокойствие, и она через несколько секунд спросила: "Кто ты, светлый утешитель? Лицо твое мне знакомо. Благодарю тебя, но ты не Паоло. Он скрылся опять. Его увели - увели на смерть!" На лице опять появились признаки страдания и тоски. Алимари повторил прежние движения руками, и она вновь затихла.

"Это чудесные действия ясновидения! - сказал он тихо Кемскому по-русски. Подойдите сюда". Не отнимая левой руки от предсердия больной, он правой взял за руку князя. "И это не он! - сказала больная. - Но этот печален, грустен; утешься, друг мой! Видишь ли - там, там, откуда восходит солнце, откуда веет прохладный ветер, там она, видишь, вот она - в черной мантии, на коленях. Не плачь, сестра моя! Он жив, а мой Паоло! Видишь ли, друг мой: вот она! Она молится богу - счастливая! Пред нею - не распятие - нет! - лик пречистой девы, одетый золотом и блестящими камнями

ми. Вижу, вижу: утешительница небесная лучом отрады проникает в грустное, томное сердце. Она увидела ее, увидела своего ангела небесного: вот летит на крыльях серафима. "Не плачь, маменька!" Но нет! Нет! - вскричала она вдруг диким голосом. - Нет Паоло! Они его ведут, они убьют его!"

Жестокие судороги исказили прекрасное лицо. Алимари, опустив руку Кемского, начал опять водить по лицу и по груди несчастной. Она умолкла, успокоилась и, как казалось, крепко заснула. Ее оставили. Явление это произвело сильное впечатление в Кемском. Незнакомка угадала сон, который преследовал его несколько ночей сряду, с тех пор как он сел на корабль. Ему грезились и черная женщина, и в то же время Наташа. И прежде того казалось ему, что он в чертах Наташи находит какое-то сходство с чертами лица видения, и это сходство влекло его к ней с непонятною силою. Но теперь, по утрате любезной, лишь только он стал приходить в себя после долговременного оцепенения - эти два лика слились в один. С тех пор и во сне и наяву чудилась ему всегдашняя мечта его, при-

нявшая лицо и выражение Наташи - выражение тоски, уныния, изредка сменяемых мимолетною улыбкою, проблеском поднятых к небу глаз, в которых выражалось: люби, верь и надейся! Прежде того, в лета молодости и выпрених порывов, эта мечта его тревожила, наводила на него уныние, но потом, по утрате всего, что ему было дорого и мило в этом свете, сделалась неотлучною любезною его спутницею, всегдашнею подругою и утешительницею. Закрывал ли он глаза для отдохновения после тягостных трудов - первым видением его была Наташа, в черном платье, с печальною на устах улыбкою. Просыпался ли - мечта сновидения та же, все та же, улета-ла, и впросонье казалось ему, будто действительная Наташа подходит к его постеле, нежною рукою приподнимает его голову, другою отгоняет мрачные думы от его чела. "Наташа!" - проговорит он тихо и сим словом, как воззванием к заступнице своей у небесного престола, начнет утреннюю молитву. Но эта светлая тень, эта посланница с того света чуждалась душной атмосферы людских пороков, улета-ла от ядовитого дыхания злобы, ко-

варства и нечестия. Так, во время пребывания его на Кавказе неразлучная подруга стала являться к нему реже, с тех пор как Вестри познакомился с князем, и перестала посещать его вовсе, когда коварный предатель поселился в доме. Она явилась к нему, лишь только он, измученный, растерзанный, отчаянный, смежил глаза в ауле чеченском, и с тех пор его не оставляла. По мере приближения к Петербургу она показывалась ему реже и реже, а по прибытии в столицу вовсе его покинула.

- Наташа! - призывал он ее слабым голосом, идя домой из мрачного вертепа, гнездилища его злодеев. - Наташа! И ты меня оставила! Или уже мне пора переселиться к тебе... туда!..

Он не помнил сам, как пришел в новое свое жилище. Верный Силантьев ожидал его в зале. Кемский, погруженный в глубокую, тяжелую думу, не замечал, что зала была убрана чисто, опрятно, что на стенах висели картины и эстампы в симметрическом порядке. Силантьев, привыкший в течение многих лет к странностям своего господина, не тревожил

его ни докладами, ни вопросами: ему были известны те дни, те часы, в которые князь ходил, как мертвый между живыми; встревожить, испугать его в это время значило положить на несколько дней в постель.

Кемский вошел в спальню и, обратив глаза к образу, пред которым теплилась тусклая лампада, мысленно прочел молитву, перекрестился и лег в постель. Не сон, а какое-то болезненное забвение смежило его вежды: он чувствовал, что не спит, а между тем видел пред собою мечты небывалые и несбыточные. Чрез несколько времени и эти легкие сновидения отлетели; он открыл глаза. Лампада пред образом пылала ярче обыкновенного. В одном углу комнаты сидела Наташа во всегдашнем своем черном платье, облокотясь на стол, и томными глазами, в которых выражались и нежность и грусть, и воспоминание и надежда, смотрела в другой угол, темный, недосягаемый свету лампы. Вдруг и эта сторона стала проясняться: мало-помалу явился там лик младенца, в белой сорочке, опоясанной голубою лентою. Младенец, прекрасный, милостивый, сидел на подушке и с детскою

улыбкою нетерпения протягивал руки к Наташе, как бы говоря ей: возьми меня! Кемский обратил глаза к ней, ее уж не было; посмотрел опять на младенца - лик его тонул во мраке. Лампада тухла, тухла - и вдруг погасла. Колокол прогудел три часа.

Это видение долго носилось в воображении Кемского: он не знал, наяву ли это было или во сне, только последнее явление - явление младенца, померкновение лампы и звон колокола, казалось ему, были не сонными мечтаниями. Милые образы кружились во мраке вокруг страдальца и под утро навеяли на него сон тихий и крепительный.

Он проснулся поздно. Зимние лучи солнца проникали сквозь алые занавески и обливали нежным цветом белые стены комнаты. Припоминая мечты протекшей ночи, стараясь оживить их в своем воображении, Кемский открыл глаза - и что ж? На белой стене, игравшей розовыми отливами, представился ему лик младенца, виденный им ночью. Он протирает глаза; нет, это не мечта, это представляется наяву. Рассмотрев внимательно, он увидел, что это было живописное изобра-

жение прекрасного дитяти, в естественную величину, без рамы, висевшее на стене над письменным его столом, растолковал себе причину ночного видения и догадался, что эта прекрасная картина повешена Берилловым. Другую противоположную сторону стены занимал ландшафт его родины. Такое нежное внимание простодушного Берилова глубоко врезалось в душу князя. Артист был тот же, что и за двадцать лет пред сим: беспечный, равнодушный, даже бестолковый в делах жизни обыкновенной, прозаической, он чуял самые тихие звуки струн сердца человеческого и находил им отзыв в своем сердце - и этот путь шел в сердце его прямо, а не головою. Под сельским видом повесил он собственный свой портрет, с подписью, своего же сочинения: "Князю из людей, человеку из князей благодарный до гроба Андрей Бериллов".

Кемский со слезами умиления бросился на шею Бериллову, вошедшему в его комнату. Артист был вне себя от восхищения, что угодил своему другу.

- Но что это за прелестное лицо, это не

смертная - это ангел! - сказал Кемский, указывая на изображение младенца. - Скажите, где подлинник этой картины! Или она родилась в вашем воображении?

- Нет-с, ваше сиятельство, - пробормотал Бериллов в смущении, - это так, ничего-с, то есть, это не выдумка, это дочь моя.

- Дочь ваша? - спросил Кемский. - Дочь ваша?

Бериллов покраснел, замялся, потупил глаза и не отвечал. Кемский, догадываясь, что в этом скрывается какая-нибудь тайна, заставляющая краснеть Бериллова, перестал спрашивать, но не мог растолковать себе этой странности. Сколько было ему известно, Бериллов никогда не был женат. Но поэтому-то и должен он был щадить его вопросами о дочери. Минута недоумения быстро пролетела.

Кемский жил тихо и спокойно, ходил утром по делам и, пришедши домой после скромного обеда, занимался книгами, приведением в порядок своих записок и мечтами. Бериллова видал он редко. Вначале обедали они вместе, но это продолжалось не более недели. Бериллов никогда не приходил к обеду

вовремя: иногда являлся часу в одиннадцатом утра и спрашивал: "Вы еще не кушали, князь?" Но чаще всего пропускал надлежащее время и приходил обедать, когда другие собирались ужинать или спать. Кемский сносил это терпеливо: он не был педантски привязан к маятнику и циферблату, но Берилов сам догадался, что такое расстройство должно быть неприятно человеку немолодому и нездоровому, да и он, опаздывая приходом домой, беспокоя князя, крайне совестился, сердился на себя, божился, что с завтрашнего числа сделается порядочным, и завтра отлагал исправление до послезавтра. Однажды он со слезами просил князя уволить его от своего стола, просил дать ему прежнюю свободу, позволить ему есть и спать, где, как и когда захочется. Князь без всякого противоречия согласился на это, и Берилов начал бродить куда глаза глядят, начал пропадать на несколько недель. И как это ему сделалось легко! Дом его стерегут, комнату чистят и метут. Вернется к своим пенатам, и все пойдет по-прежнему.

Первым вестником его возвращения был

обыкновенно крик Акулины Никитичны, сначала бранный, а потом ласковый, пробивавшийся сквозь заколоченную дверь. Затем Бериллов являлся к князю.

- Здравствуй, Андрей Федорович! Где побывал?

- В Нарве, в Гатчине, в Кронштадте, в Выборге, в Новгороде, - отвечал артист и вынимал из портфеля свои этюды.

Князь разглядывал, критиковал, спорил. Бериллов принимался исправлять эскизы - и через несколько дней исчезал опять. Потом опять являлся и начинал городскую жизнь бранью с Акулиною Никитичною; но эти побранки, в которых Кемский невольно участвовал слухом, были майским днем в сравнении с сентябрьскими бурями света, от которых князь укрылся. Он был привязан к живописцу какою-то непостижимой силой. Увидев его у Вышатины в первый раз после разлуки, он почувствовал неизъяснимую в сердце отраду: ему казалось, что встретился с давно потерянным другом, с пришельцем с того света. "И это не удивительно, - думал он, перебирая в мыслях свои впечатления, - никто не

знал ее так коротко, как Бериллов; никто из тех, кого вижу ныне, не помнит ее ангельского взгляда, ее божественной души! И с какою пощадою он упоминает о ней в беседах со мною! Если б мне должно было из всех известных мне людей избрать в друзья одного, я избрал бы этого простодушного сына природы, в котором чувство изящного, истинного, великого и бессмертного таится, как неоцененный алмаз, искра луча солнечного, в дикой оболочке".

XLVI

Великолепный бал разгорался. Тысячи свеч озаряли огромные залы, убранные зеркалами, завесами, фестонами. Легкие нимфы, как весенние мотыльки, летали, едва касаясь зеркального пола; вокруг их толпились искатели наслаждений, с готовыми похвалами на устах, с насмешкою на лице, с эпиграммами в уме. Громкая музыка едва покрывала шепот волнующейся толпы. Любители танцев еще не утомились и считали предстоящие им часы удовольствий. Прелестные наряды красавиц еще не увяли от жару, пыли и копоти. Еще было просторно в комнатах, и новопри-

бывающие находили место по выбору.

Кемский вошел в залу. Лет осьмнадцать не бывал он в больших светских собраниях. Беспрерывное движение, шум, блеск произвели в нем странное действие. Напоминая о давно минувших днях молодости и счастья, эта картина удовольствия и великолепия возбудила в сердце его чувство грустное, томительное: в уме его, при громких звуках веселия, возникла мысль о непрочности всего земного, о смерти, о тленности. Он вспомнил о прежних днях, о бывалых увеселениях, об отшедших собеседниках. Дни те улетели, звуки того веселия умолкли, те собеседники истлели под гробовым покровом. Теснимый, волнуемый грустными мыслями, он остановился, сделав несколько шагов в зале, и хотел бежать в свое уединение, но, вспомнив о причине, заставившей его втесниться в эту шумную толпу, заглушил в душе своей волнение воспоминаний и сравнений и пошел отыскивать хозяина или, лучше сказать, хозяйку.

Бал этот давал Лютнин в день рождения Пелагеи Степановны. Увидевшись с Кемским накануне, он пригласил старого товарища к

себе на вечер. Князь с первого слова отказался, но Лютнин не принимал извинений, уверял, что он посещением своим обрадует добрую Полину, которая его истинно уважает, дал знать, что он отказом огорчит друзей своих, что повредит тем делу своего клиента. Одна эта мысль могла заставить Кемского отважиться на все. Он дал слово - и явился, как на дежурство, как на искупление, - в твердом намерении оставить общество как можно скорее. Грустное впечатление, произведенное в нем шумным веселием и ослепительным блеском, еще более укрепило его в этом. Он нашел хозяев, поздоровался с Лютниным, который в суетах праздничных рассеянно отвечал ему пожатием руки, поздравил Пелагею Степановну, а она едва удостоила его взглядом. "Может быть, однако, - подумал он, - хватятся меня; пройдуся раза два по комнатам".

Миновав ряд освещенных зал, он вошел в биллиардную. Два офицера, один гвардеец, другой флотский, играли на биллиарде. Человека три неважных гостей сидели на скамьях и безмолвно смотрели на игру. Здесь было не так шумно, не так душно, как в парадных

апартаментах; по отдалении этой комнаты от других, слышен был в ней и запах табаку. Кемский взмогнулся на высокую скамью. Слуга в богатой ливрее поднес ему сигарку. Он с удовольствием взял ее, закурил и обратил внимание на игру офицеров. Флотский сделал блистательный удар, и гвардеец сказал:

- Лихо! Хоть бы Ветлину так сыграть!

- Не сыграть ему так! - отвечал моряк и сделал еще одну мастерскую билию.

- Но согласитесь, что он играет прекрасно!

- Играл - *tempri passati*, - возразил моряк. - Теперь он у нас в ластовых лодки мажет да деготь крадет.

- Быть не может! Ветлин вышел из флоту?

- Нет! Мундир на нем тот же, да душа зачерствела. Промах!

- Ветлин - этот образец удальца на берегу, отрада в кают-компании, герой в битве, неустрашимый в жесточайшей буре, стал теперь слабее, хилее, глупее бог знает чего! И всего страннее, что эта перемена сделалась с ним в продолжение кампании: безбородые гардемарины воротились молодцами, а он как-ким-то монахом. Всех бегаёт, всего боится -

как мокрая курица. Не поверите, как я удивился, увидев его сегодня здесь, на бале. Сергей Ветлин на бале! В былые времена он бежал парадных компаний, боясь принуждения. Теперь чуждается прежних у товарищей, а на бал явился. Подите, растолкуйте человеческие причуды! Партия. Не угодно ли *quite a double*?

Кемский не проронил ни слова из этого разговора. "Ветлин! - думал он. Сергей Ветлин! Крестник Элимова, этот негодяй, здесь на бале". Ему совестно было обратиться с вопросом к незнакомым, да сверх того нежное и почтительное обхождение племянников так его напугало, что он страшился вступать в разговоры с молодыми людьми. Он решился кое-как сам отыскать Ветлина и, выкурив сигарку, отправился в другие комнаты. Они были наполнены бесчисленною пестрою толпою, которая едва давала место танцующим. Кемский посматривал на все якорные воротники. Вот флотский офицер танцует в кадрили. Нет, это не Ветлин: у того волосы темно-русые, а этот белокур да и глядит каким-то теленком. Вот другой. Нет, этот уж слишком

стар: осьмнадцать кампаний Ветлин не сделал. Еще несколько; по приметам - все не Ветлин. Но вот играют в экарте. За стулом одного пожилого, опытного корифея английского клуба стоит молодой флотский офицер, темноволосый, статный. Может быть, это Ветлин. Он пристально следит игру. На лице его можно видеть, как в зеркале, весь ход карточного поединка. Лицо его правильное, благообразное. Глаза выразительные, но на устах играет улыбка - не улыбка, гримаса - не гримаса - смешанное выражение и ласки, и презрения, и удовольствия, и досады. От нижней губы идет какая-то странная полоса, как борозда, проведенная страстями. И эта полоса по временам, когда душу подернет какое-нибудь чувство досады или нетерпения, становится глубже, явственнее, начинает безобразить лицо, но чрез несколько минут сверкнет в черных, пламенных глазах какой-то яркий луч - и эта полоса исчезнет мгновенно, и на устах пролетит другая улыбка, не прежняя, а отрадная и милая. "Если б это был Ветлин!" - подумал Кемский, подсел к игрокам и под видом наблюдения игры следил незнакомца. Инте-

рес игры увеличивался ежеминутно. С ним наравне возрастало внимание офицера. В антрактах между танцами дамы и девицы, по обыкновению, взявшись за руки, прохаживались по залам. Офицер не глядел на них: дамы карточные занимали его более. Вдруг в перелетном шепоте раздались слова: "Escoutez, Наденька! Надежда Андреевна! Escoutez done!

Офицер при сих словах вздрогнул, пламенная краска пронеслась по лицу его, он быстро обратился к мимоидущим дамам, отыскал глазами ту, которую звали, посмотрел на нее внимательно, потом испустил глубокий вздох, как бы обманувшись в своих ожиданиях, и опять обратился к картам, но спокойствие и внимание его исчезли. Видно было, что Наденька, или Надежда Андреевна, бродила у него в уме. Он постоял еще несколько минут, потом отошел от стола, удалился в другую комнату, опять воротился и стал на прежнее место.

Хозяин подошел к играющим.

- Ты не играешь, Кемский? - спросил он.

- Нет, любезный! - отвечал Кемский. - Только смотрю и учусь.

При произнесении имени Кемского молодой человек изменился в лице и уставил глаза в Кемского. Видно было, что в его душе происходило сильное волнение. "Это Ветлин!" - подумал Кемский, но не знал, как вступить с ним в разговор. И Ветлин был в крайнем замешательстве. В это время прежний офицер, проходя из бильярдной, потрепал его по плечу и, сказав: "Что, брат Ветлин, не разбирает ли тебя опять охотка отведать счастья на зеленом поле? Берегись, помни ревельские штуки!", скрылся в толпе. Ветлин смешался еще более. Тогда Кемский встал, подошел к нему и спросил ласково:

- Вы Ветлин? Сергей Иванович? Конечно, помните Кемского?

- Помню ли! - с жаром сказал офицер, удерживая порыв, неприличный в большом обществе. - И вы здесь, в Петербурге, почтенный благодетель и хранитель моего детства!

- Уже несколько месяцев, - отвечал Кемский, - а вы?

- За неделю воротился из вояжа и третьего дня приехал в Петербург.

- Рад, что вижу вас, - сказал Кемский, ис-

тинно обрадованный тоном молодого человека, - но здесь нам не место толковать. Посетите меня! Вот мой адрес! прибавил он, отдавая ему обертку письма, случайно бывшую у него в кармане. До свидания! - Офицер взял адрес и с чувством пожал ему руку. Кемский вышел из комнаты и уехал домой.

XLVII

На другой день вечером Сергей Ветлин явился к Кемскому. Он вошел в дом с каким-то страхом, раза три спрашивал у Силантьева, точно ли тут живет князь Алексей Федорович, и, вступив в комнату, поздоровавшись с князем, в недоумении осматривался во все стороны. Кемский заметил его любопытство и догадался о причине.

- Вам странно, Сергей Иванович, - сказал Кемский чрез несколько времени, что я живу так уединенно, так просто?

- Признаюсь, - отвечал Ветлин, запинаясь, - что я думал найти вас если не в великолепном, то по крайней мере в удобном помещении.

- Почему ж это неудобно? - спросил Кемский с улыбкою. - Кто несколько лет провел в

землянках да на биваках, тому это помещение должно казаться царским дворцом. Квартира сухая, теплая, для меня довольно просторная. Гостей у меня не бывает.

- Никого? - спросил Ветлин с испытующим взглядом.

- Почти никого, - отвечал Кемский, - иногда зайдет сосед и друг мой, живописец.

- А родственники? А сестрица? А племянники ваши?

- Видно, им некогда, - сказал Кемский и взглянул на картину, как будто желая прекратить или переменить разговор.

- Но я знаю, - продолжал Ветлин, - что Платон Сергеевич радовался вашему возвращению, он писал к одному своему приятелю, моему товарищу, что осчастливлен вашим приездом, что надеется от вас...

- Надежды обманчивы! - сказал Кемский, вздохнув. - Бог с ними. Дело в том, любезный Сергей Иванович (прибавил он поспешно, как будто желая скорее высказать), что во время моих походов имение мое расстроилось; из четырех тысяч душ отцовского имения вряд ли мне что останется по окончании дел; я

должен жить скромно, чтоб на старости не быть в тягость другим; и вот почему не могу принимать родни, привыкшей к богатству и роскоши.

Слова эти произвели глубокое впечатление в молодом офицере: на лице его выразилось чувство уважения к кротости и великодушию, с какими Кемский отзывался о гнусных своих родственниках. Это выражение не ускользнуло от Кемского. "Вот, - думал он, - тот шалун, негодяй, изверг, о котором Алевтина мне писала! У него есть ум, чувство, совесть..." Разговор согрелся мало-помалу. Кемский расспрашивал Ветлина о его походах и вояжах. Молодой человек отвечал умно, живо, выказывал отличные сведения. Вечер пролетел неприметно.

Таких вечеров было еще несколько. Ветлин был всегда тот же. Иногда только проскакивало в его обращении, в его речах какое-то нетерпение, иногда срывались с уст выражения жесткие, неупотребительные в кругу хорошего общества. Но лишь только случится ему сделать или сказать что-нибудь неловкое, неприличное, он спохватится, с досады

покраснеет и потом всячески старается заглядеть свою ошибку. Кемский не понимал его совершенно. Он нашел случай поговорить о нем с бывшими его начальниками в Морском корпусе. Все единогласно утверждали, что Ветлин одарен от природы отличными способностями, но скрытен, коварен, зол, мстителен, рад всякой беде ближнего и чужд всякого чувства любви и дружбы. На деле казалось Кемскому иное: бывали случаи, в коих Ветлин показывал ребяческую слабость и чувствительность, в которых, казалось, он готов был отдать душу за страждущего. "Загадка!" - думал Кемский.

Между тем проблески благородных побуждений и возвышенных мыслей в душе Ветлина, его бескорыстное уважение к благодетелю своего младенчества, его скромность в отзывах о недостойных детях Элимова мало-помалу зарождали в сердце Кемского сначала внимание, потом участие, а там и любовь. Он застал себя однажды готовым броситься в объятия молодого человека, предложить ему свою дружбу и просить взаимности, но мысль о том, что все обращение, вся наружность жиз-

ни Ветлина могут быть притворством, лицемерием, обманом, воспоминание о тех обманах и заблуждениях, в которые впадал он в течение всей бурной жизни, удерживали его. И Ветлин, казалось, замечал эту недоверчивость; казалось, иногда оскорблялся ею, но после мгновенного размышления опять становился прежним.

Когда, бывало, они в беседах своих столкнутся на чувстве, на каком-либо душевном признании, Кемский всегда умел обратить разговор на другое, обыкновенно на искусства, словесность, науки. И здесь Ветлин был действительно приятным собеседником. Он много читал, размышлял, видел много хорошего и любопытного в своих путешествиях, понимал музыку, знал толк и в других изящных искусствах, страстно любил словесность. Эти разговоры между им и Кемским были для них обоих самые приятные и занимательные: они высказывали друг другу свои впечатления, чувствования, мнения, без запинки, без умолчания. Лишь только же, бывало, речь коснется состояния их души, взаимных отношений, князь задумывался, а Ветлин прихо-

дил в замешательство. Казалось, у каждого была тайная мысль, которую один боялся открыть другому. В Кемском это, как сказано, была боязнь разочарования. В Ветлине замешательство проистекало из другого источника.

Однажды под вечер толковали они о преимуществе изящных искусств. Ветлин говорил, что для него дороже, приятнее, восхитительнее всего музыка и поэзия, что поэзия есть целый мир, повторение существенного в высшем, идеальном характере, а музыка перевод поэзии на язык небесный.

- А пластические искусства? - спросил Кемский. - Неужели живопись не может также быть поэзией, быть музыкою?

- Нет, не думаю! - сказал Ветлин. - Живопись искусство слишком материальное: она представляет нам природу украшенную, не высшую, силится постигнуть и изобразить существующее, а до идеала не может возвыситься.

Кемский на это не соглашался. Ветлин оставался при своем мнении.

- Нет, - говорил он. - Живопись, изображе-

ние изящной, но мертвой природы никогда не тронет, не поразит меня так, как стихотворение Жуковского, как музыка Дон-Жуана; она оставляет в душе формы чувственные, постигаемые зрением и толкуемые рассудком.

В это время внесли в комнату свечи. Кемский прервал речь Ветлина:

- А это, например, - сказал он и снял покрывало с изображения небесного своего младенца.

Ветлин остановился, побледнел, потом пламенная краска пробежала по лицу его и слезы выступили на глазах.

- Это... это что? - спросил он, запинаясь, и поднял руки, как бы желая поддержать подавшегося вперед младенца.

- Это живопись! - отвечал Кемский, улыбаясь, и хотел закрыть картину.

- Пойдите! - воскликнул Ветлин. - Дайте мне еще посмотреть на этого ангела! - И он вперил взоры в картину, глаза его горели огнем необыкновенным и наполнялись слезами. - Чей это портрет? Откуда вы его взяли? - спрашивал он, не сводя глаз с картины.

- Право, не знаю, чей, - отвечал Кемский,

щадя тайну Берилова, - мне подарил его приятель.

Ветлин наконец заметил, что его жадное внимание может наскучить, со вздохом отвернулся от картины, сел в кресла и задумался.

Кемский, довольный силою своего довода, опустил покрывало, сел подле Ветлина и старался возобновить разговор. Мало-помалу беседа вошла в прежнюю колею. Ветлин разговаривался о диких красотах Норвегии. Кемский, слушая его внимательно, заметил, что Север обижен путешественниками, что дикие и грозные красоты Скандинавии еще не находили достойного живописца, что Норвегия, Швеция, Финляндия ждут наблюдателей. При сих словах ему показалось, что в уме Ветлина блеснула какая-то счастливая мысль.

- Если б я знал, что искреннее желание и тщательный труд могут заменить талант творческий и живописный, - сказал он, - то попросил бы вас прочитать несколько очерков, набросанных мною в путешествиях. - Он произнес эти слова с усилием и покраснел.

Кемский просил его не слишком скромни-

чать и доставить ему это удовольствие. Они расстались в этот день гораздо знакомее прежнего. Ветлин, уходя, взял князя за руку и посмотрел ему в глаза с неизъяснимым выражением, в котором смешивались боязнь и любовь, недоумение и надежда.

Несколько дней Ветлин не являлся. В одно утро Кемский получил тяжелый пакет со штемпелем: Кронштадт. Это были литературные опыты Ветлина: описание некоторых морских путешествий, картина шторма у Шетландских островов; наблюдения в Норвегии, Швеции, Голландии и северной Франции. Но всего любопытнее была для Кемского одна тетрадка, в которой заключалась какая-то повесть, эта тетрадка была переписана тщательно, на почтовой бумаге, переплетена, как казалось, самоучкою, но опрятно и красиво. Первые строки повести возбудили внимание Кемского в высочайшей степени. Он прежде всего принялся за эту тетрадку и прочитал ее, не вставая с места. Вот ее содержание.

XLVIII

ЖИЗНЬ СИРОТЫ

Не судите, не осуждайте людей с первого взгляда! Храните первое о них впечатление: оно иногда бывает решительно и справедливо; но суд произносите по внимательном исследовании чувствований, мыслей, дел человека, а более всего по рассмотрении обстоятельств его жизни, воспитания и положения в свете. Люди! Люди! Как часто вы бываете неосторожны, несправедливы, жестоки в своих приговорах! Как часто осуждаете на казнь общего мнения того человека, которого сами своею холодностью, строгостью, недружелюбием столкнули с пути добродетели и правды! Счастлив он, когда над ним сжалится небо, когда пошлет ему помощь, отраду, надежду и утешение!

Натуралисты говорят, что человек рождается на свет слабее, беспомощнее всех животных, и самых ничтожных. Они говорят это в отношении физическом, а во сколько крат эта истина истиннее в мире нравственном! Пусть всяк из нас вспомнит, чем он обязан первым ласкам, первым урокам, первым предостережениям матери! Как глубоко врезалось в его сердце каждое слово отца, и невзначай им

произнесенное! Пусть вспомнит он наставления, замечания, поправки своего воспитателя, своего брата, друга, старшего из своих товарищей - и потом исчислит, чем обязан он руководителям своего детства и что останется на долю собственной его деятельности и любви к добру! Теперь отнимите эти пособия, эти уроки, эти поощрения у возрастающего человека: на привет любви младенческой отвечайте холодностью, порыв добродетели называйте как шалость, благородную откровенность называйте дерзостью, любовь к правде - нескромностью, благотворительность - мотовством, давите, истребляйте все зародыши добра, превращайте ближних его в совместников и врагов... что выйдет из такого человека? Нелюдим или злодей, смотря по его темпераменту. И потом вооружитесь всею силою печатной морали и жестоким приговором карайте произведение собственного вашего бездушия, несправедливости и ненависти к добру! Вот ваша людская справедливость! К счастью, она и в этом мире не верховное судилище. Но кто дерзнет искать и, менее того, кто дерзнет требовать правосудия

против большинства голосов?.. К тебе, Небесное Провидение, пославшее человека в мир на испытание, обращается вся его надежда и вера! Ниспошли ему твоего ангела, спаси его на пути жизни и приведи в тихое пристанище... достойным твоего бессмертия!

Я не помню самых первых лет своей жизни. Знаю только, что в самый час моего рождения отец мой пал на штурме Измаила, а мать умерла на девятый день. Я был взят на воспитание крестным отцом, добрым человеком, который когда-то служил под начальством моего отца. Мне было лет пять от роду, когда не стало моего приемника, но он сдал меня на руки одному своему родственнику. Воспоминание об этом родственнике его есть одно из самых ранних и приятных в моей жизни. Он был человек молодой, добрый, ласковый, приветливый. Я жил в доме его сестры с племянниками его, и он навещал нас очень часто. Прихода его ждал я с нетерпением, по уходе его тосковал и грустил несколько часов. Еще одна особа услаждала годы моего младенчества - девица, воспитательница детей моего приемника. Я пом-

ню лицо ее, прекрасное, одушевленное, божественное. Когда я, лишась ее, в тоске и отчаянии призывал моего ангела-хранителя, он являлся моему воображению в чертах лица незабвенной хранительницы моего детства. Счастье мое достигло крайней точки, когда мой благодетель на ней женился. Я перешел в их дом, стал называть их отцом и матерью. Эти дни, немногие, представляются в моей памяти белою светящеюся чертою на темном поприще моей жизни.

Но счастье мое было непродолжительно. Благодетель мой уехал на войну и не возвращался. Жена его умерла с горя. Меня опять взяли в дом сестры его. И как?! Не дали даже проститься с прахом моей доброй мамоньки! Это было первое горестное ощущение в моей жизни, ужасное, жестокое. Мне казалось, что я переселен в другой мир, что надо мною осуществилось священное сказание, которое читал я под руководством моей воспитательницы: об изгнании человека из земного рая. И это произошло в то самое время, в ту самую минуту, могу сказать, когда душа моя прозрела, когда началось умственно мое бытие: до-

толе я неведомо носился в жизни, как мотылек в аромате цветов весенних, чувствовал, а не мыслил, видел, а не знал.

Пробуждение моего ума, помню я, последовало, когда мы сидели за столом: сестра моего благодетеля, второй муж ее, два сына, дочь, учитель, гувернантка и я. Поводом к тому было детское дело, но оно оставило впечатление на всю мою судьбу. В то время был обычай ставить на стол все блюда вдруг, а не вносить одно за другим, как ныне. В числе этих блюд заметил я одно, которое часто бывало на столе у моих воспитателей; им моя благодетельница обыкновенно потчевала своего отца, старичка доброго и почтенного. Это были малороссийские вареники. Я обрадовался им, как старым знакомым. Но причиною этой радости было отнюдь не лакомство: мне почудилось при взгляде на это блюдо, что я сижу в прежнем кругу, между папенькою и маменькою, что подле нее с другой стороны сидит ее отец, что она меня ласкает, что папенька глядит на меня приветливо. Я забыл о еде, проснулся только, когда гувернантка подала мне вареников. Я схватился за тарелку с жад-

ностью, но в то же время почувствовал сильный удар по щеке, и надо мною разразились слова хозяйки: "Обжора ненасытный! Мерзкий лакомка! Ничего не ел, все глаза пялил на вареники! И ты еще смеешь выбирать? Ешь что дадут, нищий! И так чуть было не заел всего добра моих бедных детей!"

Я не мог опомниться, не знал, что делается со мною. Меня ударили по щеке еще раз, и раздались слова: "Вон, побродяга! Прочь от моего стола! Тебе ли обедать с благородными людьми, с князьями! Кормить его вперед с девками! Вон отсюда, ненасытная тварь!"

Меня столкнули со стула и увели в девичью. Я не плакал. Не понимал, что бы это было. Мне почудилось, что свет в глазах моих подернулся какою-то темною завесою. Но с этого часа я стал все помнить, стал рассуждать, сравнивать, и первым моим детским заключением было, что сестра моего благодетеля злая волшебница, что она извела моих родителей и воспитателей, что она из мира людей праведных и добродетельных перенесла меня в какой-то ад, где я окружен одними злодеями и врагами. Мучительница моя выгнала

меня из-за своего стола не на один только обед. Я остался навсегда с служанками и слугами. Меня одели как крепостного мальчишка, на ночь отвели мне место в темном чулане, на грязной, жесткой постеле. Слуги в этом доме были развратные, дерзкие и порочные наглецы. Их держали очень дурно, не давали им наесться досыта, бранили и били виноватого и невинного, а слуги за то поносили, обманывали, обкрадывали господ. И я все это видел! Меня приняли в эту гнусную компанию с досадою и бранью: должно было кормить меня из общего людского харча; порции для меня не отпускалось. Я никогда не мог читать без слез истории младенца, дофина французского, которого из великолепных палат версальских бросили в смрадный вертеп, из рук попечительных наставников отдали во власть пьяного сапожника: я был предан на жертву целой ватаге.

Наконец одно существо сжалилось надо мною - это была старая ключница, которая за что-то помнила моего благодетеля. Она защищала меня от нападений других слуг, кормила остатками с барского стола, мыла, чесала,

одевала меня. Но, мне кажется, лучше б было для моей нравственности, если б я испил всю чашу горя, без всякой помощи. Старуха употребляла для облегчения моего положения не самые позволительные средства: крала у господ хлеб, которым меня кормила, надевала на меня белье своих баричей и каждое благодеяние свое сопровождала проклятиями и бранью на злодейку, как она величала свою барыню, на глупого ее мужа и на все ненавистное их племя. Однажды, когда она истощила все возможные проклятия на своих господ, я спросил у нее: "Что ты, Егоровна, так сердисься на барыню? Мне кажется, она все-таки лучше обходится с тобою, чем с другими своими людьми. Тебя не тревожат, не мучат работою, не бьют". - "Ах, родимый! отвечала на это старуха, залившись слезами. - Она душу мою сгубила! Нет мне спасения ни здесь, ни там, на том свете!" Я стал допытываться, что значит душу сгубить. Егоровна растолковала мне, что госпожа принудила ее взять на душу тяжкий грех, которому нет прощения ни у людей, ни у бога. "Зачем же ты послушалась?" - спросил я простодушно. "Будь я одна,

никакая сила не заставила бы меня сделать то, что она велела. Да у меня дети: Федьку грозила она отдать в солдаты, а Дуняшку продать в Шлюшин на фабрику". Рыдания и слезы прервали речь несчастной. Эти признания смутили меня до крайности: я не допытывался далее, но в душе моей поселилась глубочайшая ненависть к волшебнице, и я старался мстить ей всевозможными средствами. Не было шалости или дерзости, на которую бы я не отваживался. Меня жестоко наказывали. Я терпел. Старуха поощряла меня к новым подвигам против моих злодеев, уверяя, что, делая зло дурным людям, угождаешь господу богу. Вдруг положение мое неожиданно переменилось. Меня одели по-прежнему, начали сажать за стол с господами; люди стали мне служить. Злость и ненависть волшебницы выражались только грозными взглядами и отрывистыми словами. Впрочем, должно признаться, что теперь я лучшего обращения и не заслуживал. В передних, лакейских и людских забыл я скромность, учтивость и послушание и, заметив, что меня приняли в прежнее общество по какой-то необходимости, не

старался заслуживать внимания и похвалы. Старуха моя открыла мне причину возвращения моего в господские покои: получено было известие, что мой благодетель жив, что он воротится в Петербург. "Приедет он, родимый, - говорила она в отчаянии, - я сниму с себя грех! Он меня помилует!" А я думал: "Приедет он, так я расскажу ему все злодеяния волшебницы, и мы заодно с ним станем от ней обороняться". Но он не приезжал. Однажды поутру толстый управитель, один из самых жестоких мучителей в доме, велел мне одеться, посадил меня в сани и повез на Васильевский остров. Я обрадовался катанью, которым давно не наслаждался. Меня привезли в какой-то большой дом: ввели в комнату, где были незнакомые офицеры и за письменными столами сидело еще несколько человек. Меня раздели. Я закричал, думая, что будут сечь по-домашнему. Но нет! Какой-то толстый господин в мундире ощупал меня всего, заставил показать язык и зубы и сказал одному офицеру: "Можно принять". Меня опять одели; явился какой-то сторож и снял с меня мерку. Управитель поклонился офицеру, а этот взял

меня за руку и, сказав: "Ну, душенька! Ты теперь кадет Морского корпуса", - повел из комнаты. Разными коридорами вошли мы в предлинную залу, где сидело за столом множество детей в мундирах. Я обрадовался. "И мне сошьете такой же мундир?" - спросил я у офицера. "Точно такой!" - отвечал он и посадил на порожнее место. Кадеты осматривали меня с головы до ног. Я с жадностью стал есть: за столом волшебницы мне никогда не давали наесться досыта, так что я не раз сожалел о лакейском обеде. По окончании обеда, возвещенном, к великому моему удовольствию, барабанным боем, новые товарищи повели меня с собою в другую залу. Там начали подтрунивать надо мною, начали вызывать меня на спор и на драку. Воспитанный в обществе жокеев и форейторов, я принял вызов и начал бить всякого, кто ко мне подступал. Раздались крики; в залу вошел офицер и спросил о причине шума. "Новенький дерется", - отвечали ему кадеты, показывая растрепанные свои волосы, оторванные пуговицы, подбитые глаза. "А, друг, сказал он, - тебя на новоселье надо проучить. Розог!" Я не успел опамятоваться,

как уже лежал на скамейке под жестокими ударами. Взбешенный, озлобленный, я решил мстить всем и каждому. Вечером подрался я еще с несколькими товарищами; они хотели на меня жаловаться, но вдруг явился мне покровитель. Один двадцатилетний кадет Хлыстов за меня вступился. "Не трогать его! Он лихой малый!" - сказал он громким голосом, и все от меня отлетели.

Хлыстов был, что называлось тогда в Морском корпусе, сбика: первый негодяй, тщеславившийся своею леностью в классах, грубостью в обращении с учителями и офицерами, забиячеством с товарищами. Он был одиннадцать лет кадетом и все это время сидел на ленивой скамье одного из низших классов, окруженный своими подражателями. И наружность такого одичалого кадета была необыкновенная: он насаливал вгладь свои волосы, носил крутой пучок, голенищи на сапогах были у него не гладкие, а состояли из множества мелких складок, ходил он разваливаясь и посвистывая, задевал и бил всех, кто только очутится у него под руками. Одно спасение было - признать его власть и подра-

жать ему во всем: я этим воспользовался и был несколько раз наказан за леность, получил место подле своего наставника и образца. Вся жизнь наша проходила в выдумке и исполнении новых шалостей. Воспитатели и учителя наши перестали заниматься нами, как самыми безнадежными. Между тем я подрос, и дикие, грубые шалости Хлыстова начали мне надоедать: я искал благороднейших средств к тому, чтоб досаждать моим товарищам, и вскоре нашел. Это были так называемые математические пешки: выдумать несбыточную теорему, доказать ее фальшивыми формулами и тем одурачить товарищей, иногда и учителя. Хлыстов сначала косился, видя, что я берусь за книгу и грифель; но когда я растолковал ему, для чего я занимаюсь наукою, когда он сам увидел, что я пристыдил нескольких из первых наших выскочек (так называли мы умных и прилежных кадет: это то же, что у взрослых негодяев, в свете, называется беспокойным человеком), то позволил мне продолжать начатое. Я начал шалостью, а кончил делом. Изыскивая и придумывая пешки, я постиг силу математи-

ки и пристрастился к ней. Учителя заметили эту перемену и стали одобрять меня. Хлыстов начал догадываться. "Э! Брат Ветлин, - сказал он однажды, - да это не по уговору: тебя все зовут к доске. Так-то ты держишься друзей?" - "Помилуй, Хлыстов! - отвечал я. - Это все пешки. Разве ты не видел вчера, как я спорил с учителем?" Наконец я поставил на своем, а он замолчал; между тем все, что я ни говорил, сущий вздор. "Коли так, то изволь тешиться! - отвечал Хлыстов. - Только чур не изменять. Лишь только съедешь с ленивой скамьи, места тебе в корпусе не будет".

Надобно было приискивать новые средства к шалостям, чтоб не лишиться покровительства грозного Хлыстова: он иногда оставлял в покое товарищей, которые всегда вели себя благонравно, но отступникам, ренегатам не было пощады. Я вздумал писать стихи на товарищей и офицеров. Первые опыты мои были так плохи и бестолковы, что безграмотный Хлыстов не одобрил их. Как быть! Надобно поучиться. Мой меценат позволил мне заняться русскою словесностью с тем условием, чтоб я написал длинную сатиру на весь кор-

пус, от директора до привратника. Языкоучение имело на меня то же влияние, что и математика: занявшись прилежно в классе словесности русской, я забыл свое обещание. "Что ж сатира?" - спрашивал Хлыстов угрюмо. "Дай еще поучиться; очень трудно". "Вестимо дело! - отвечал он. - И в чехарду не сразу выучишься. Только смотри: напишешь сатиру, и баста. Полно заниматься пустяками".

Хлыстов не дождался моей сатиры. За одну громкую шалость был он отослан из Корпуса в Адмиралтейств-Коллегию и разжалован в матросы. Его не стало вдруг. Решение корпусного начальства и исполнение последовали во время обеда. В двенадцать часов я с ним расстался при выходе из класса: его потребовали к директору. В два часа мы воротились в классы. Место Хлыстова было не занято, и чрез несколько минут разнесся слух, что его уже увезли. Потеря товарища сильно меня поразила: не то, чтоб меня испугал пример его, мы, негодяи, считали такие наказания делом случайным, несчастием, бедою, а не справедливым возмездием за дурные поступки! Но я лишился в Хлыстове единственного че-

ловека, с которым делился мыслями и чувствами, который любил и защищал меня. Я плакал, горько плакал. И за этими горькими слезами последовало не умиление, но раскаяние, а чувство злобы, ненависти и презрения к людям, которые отняли у меня друга. По удалении Хлыстова, я сделался старшим из удальцов, но мне уже никто не мешал учиться. И я кинулся в занятия, чтоб заглушить свое безотрадное одиночество. Во многом я не мог догнать товарищей моих; только в математике и в русском языке был из числа первых. Меня пересадили с ленивой скамейки, но я не попал в число благонаправленных. Успехи мои в классах, превосходство мое над некоторыми товарищами, унижение пред другими - все это более и более ожесточало мое сердце, заставляло ненавидеть и гнать людей: в каждом из них видел я своего смертельного врага и непримиримого соучастника. По экзамену мне досталось в гардемарины. Мы отправились в кампанию на учебном фрегате. Товарищи меня не любили. Я мстил за эту нелюбовь и в то же время возненавидел жизнь.

Сколько раз, стоя у трапа, смотрел я на пенящиеся волны морские и думал: "Не прекратить ли ненавистного моего бытия? Капитан будет за это наказан, но нет! Товарищи будут радоваться, что от меня освободились. Не дам им этого удовольствия: буду жить, буду их дразнить и мучить". Три кампании кончились. Мне досталось в офицеры. По наукам математическим я был из числа первых, но по нравственности и поведению отмечен минусом. Директор грозил выпустить меня в армию, может быть, и унтер-офицером. Но вдруг отдали в приказе, что я наравне с другими флотский мичман. Как это сделалось, точно не знаю. Я слышал впоследствии, что моя гонительница, узнав о предстоящей мне участи, испугалась того, что скажут в свете, и убедила начальство не лишать меня чина. Я вышел на свободу. В Кронштадте свел я знакомство и дружбу с первыми шалунами, выучился играть, пить. Главною страстью моею была игра в карты, в кости, на биллиарде только бы играть; главным предметом ненависти и презрения всякая порядочная, благородная женщина, всякая честная девица. Я не

верил ни чести, ни добродетели; всякую женщину неразвратного поведения почитал лицемеркою и обманщицею и полагал не только позволительным, но даже и должным преследовать и обижать ее всеми возможными средствами. Меня отправили в Ревель, тогдашнее место ссылки флотских удальцов. Я очутился в своей сфере: сделался грозою и ужасом мирных биргеров, их жен и дочерей, прославился даже между дерптскими реномистами, приезжавшими в Ревель на праздники. "Ein graulicher Kerl!" говорили обо мне кандидаты философии.

Не знаю, чем кончилась бы эта жизнь — разжалованием, поединком или самоубийством, если б не последовало перемены во всем существе моем. Первым к тому побуждением было морское сражение. Я был на корабле "Рогволоде", составлявшем часть Балтийской эскадры. Нам пришлось выдержать жестокий и неравный бой с англичанами и со шведами. Как удивился я тут поведению моих задушевных друзей и товарищей! Храбрейшие сопостаты ревельской полиции, грубые в обращении с порядочными женщина-

ми, дерзкие пред начальниками, побледнели при первом выстреле. Откуда взялось человеколюбие: все они спешили вниз на кубрик, к раненым, для подания помощи. Но те офицеры, которые на берегу вели себя благородно, не проигрывали в карты последней копейки, не утопляли в пунше последней искры рассудка, были спокойны, неустрашимы, храбры. Артиллерийский лейтенант, над которым все мы, молодые шалуны, трунили, который смешил нас своею медлительной исправностью на службе, строгою подчиненностью начальникам, вдесятеро его глупейшим, явился в сражении истинным героем.

Англичане отрезали нас от эскадры; один их корабль бил нас сбоку, другой зашел вперед и очищал палубы продольными выстрелами. Почти все наши люди были убиты или ранены. Капитан был вправе, по морскому уставу, спустить флаг. Он подошел к флагштоку, но тут стоял артиллерийский лейтенант с обнаженною в руках саблею и грозился изрубить всякого, кто только слово вымолвит о сдаче. Я смотрел на него с изумлением. Лицо его пылало, глаза сверкали огнем неесте-

ственным, но во всем его положении, во всех приемах было какое-то величественное спокойствие; такими воображал я себе потом христианских мучеников, шедших с улыбкою и пением на верную смерть. Вдруг одно неприятельское ядро разорвало пополам лейтенанта и переломило флагшток. Флаг упал сам собою, и пальба неприятелей в ту же секунду прекратилась. "Рогволод" сдался. Нас, офицеров, свезли на неприятельский флагманский корабль. Имея о нраве войны самые дикие понятия, я воображал, что с нами будет невесть что. Английский адмирал принял нас с величайшей вежливостью, посадил, угостил завтраком, уверял, что никогда не имел дела с такими храбрыми людьми, возвратил нам шпаги и отправил нас к нашему главнокомандующему с учтивым письмом, в котором засвидетельствовал ему, что мы исполнили долг свой, как честные моряки. Все это сбило, перемешало мои темные дотоле понятия. Мы жестоко дрались с англичанами, нанесли им много вреда - и они нас за это уважают. Мы пользуемся славою и честью, а тот, которому мы более всего обязаны, расторгнутый на ча-

сти, тонет в пучине морской. С одной стороны, великодушные люди, с другой - непостижимость Провидения. Я начал сравнивать, размышлять и наконец добился до того, что есть в мире что-то выше обыкновенного, человеческого, что я сам стою гораздо ниже этого обыкновенного, что по всем законам падший в исполнении долга своего лейтенант не умер совершенно. И так далее. До первой шумной беседы на берегу. Тут прежние буйные потехи, карты, насмешки, кощунства развеяли эти начатки размышления, но не совершенно; семя было брошено и силилось прозябнуть.

Прошло еще несколько времени. Человек пять флотских офицеров, в том числе и я, были откомандированы в Гапсаль. Война с шведами и с англичанами кончилась. Было тихо и спокойно. Наши больные опять отваживались купаться в море. Для этого съехалось в Гапсаль несколько семейств. Однажды в шумной офицерской беседе стали смеяться над дамами, которые купаются в открытом море, и положено было когда-нибудь испугать такую лебединую компанию. Я взялся за исполне-

ние этой низкой шалости и в одно утро, когда от берега отвалило несколько шлюпок, наполненных купальщицами, из-за одного мыска пустился с своим денщиком в лодке вслед за ними. Я сам не знал, как и что сделаю, но твердо положил перепугать их на смерть. Передние шлюпки далеко ушли в море, я греб всею силою, чтоб догнать их. Одна из отставших шлюпок поравнялась со мною.

Ко мне неслись французские слова. "Вот я вас посажу на бонжуре!" бормотал я про себя. Вдруг раздался со шлюпки звонкий женский голос. "Куда вы едете, господин офицер?" Я хотел было отвечать: "А вам какое дело?", поднял глаза и не мог разинуть рта. На краю шлюпки стояла девица лет четырнадцати, в белом платье, в соломенной шляпке. Лицо, глаза, голос ее - все смутило меня. "Куда изволите ехать?" - спросила она твердым голосом. "Рыбу удить!" - отвечал я, едва переводя дух. "Так сделайте милость, выберите другое место!" Я не отвечал ни слова, загреб веслом, поворотил назад и не смел поднять глаз. Неведомый трепет пробежал по моим жилам. Сердце мое стеснилось. Дыхание сперлось в

горле. Я работал веслом, как будто бы за нами гнались корсары.

Через несколько минут злой дух во мне очнулся. "Что ты это, Ветлин? шептал мне тайный голос. - Подлец! Испугался женщины, девчонки! Назад! Будь молодцом! Ай, Ветлин! Струсил". Ветлин действительно струсил. Во мгле черной души моей зажглась какая-то звездочка, к которой невольно обращались мои внутренние взоры. Я не мог дать себе отчета в том, что ощущал в это время. В глазах у меня что-то мелькало, в ушах звенело, сердце сильно билось, дыхание останавливалось, руки дрожали, весло едва мне повиновалось. И все это произошло в течение нескольких секунд; мне же казалось, что с того времени, как в ушах моих раздался ее голос, как взгляд ее сверкнул предо мною, прошло долгое, долгое время. Вдруг пронзительный женский крик вывел меня из забвения. Я оглянулся в ту сторону, откуда он послышался, и увидел в нескольких шагах от себя простую крестьянскую лодку, в которой сидело несколько человек. Одна молодая эстонка рвалась броситься из лодки в воду, другие ее удерживали. Я по-

глядел на воду и увидел тонувшего ребенка. Тут было не глубже аршина. Не зная сам, что делаю, я выскочил из челнока, схватил ребенка и подал его матери. На меня посыпались эстонские благословения. Я не понимал их, но мысль о добром деле, о благодеянии, оказанном мною ближнему, привела меня в умиление. В сердце ощутил я какую-то приятную теплоту. Душа моя проснулась. Звездочка, зажженная в ней незнакомою девицею, окружилась каким-то радужным венцом.

"Что ж, Ветлин! Уж воротился!" - закричали мне с берегу товарищи. "Мне дурно!" - сказал я, с трудом выбравшись из лодки и бросившись на траву. Они мне поверили: с меня лил холодный пот, лицо горело, лихорадка била меня жестоко. Платье мое было мокро. Я рассказал им приключение с крестьянским ребенком. "Так этих лебедек спас их ангел-хранитель!" - сказал один из моих товарищей. "Точно ангел!" - подумал я. Я переоделся, напился теплого; наружная болезнь моя тем и кончилась. Но внутренний жар не простывал.

Дело наше в Гапсале было кончено. На дру-

гой день рано утром отправились мы обратно в Ревель. Неведомый дотоле небесный образ юной красавицы занимал меня таким сверхчувственным образом, что я не думал спросить, кто она такова. Но она должна быть русская, думал я: эстляндки не говорят по-русски, и так чисто, так решительно. По возвращении в Ревель я почувствовал во всем своем составе непостижимую для меня перемену. Шумные беседы, пиршества - все это мне надоедало, и я не мог понять, каким образом когда-нибудь находил в них удовольствие. Все предметы являлись мне в новом свете, как будто покрытые лоском, которого я дотоле не замечал. Всего страннее для меня было то, что я начал смотреть на женщин со вниманием, участием, уважением. "Что бы это было такое? - думал я, припоминая с досадою и стыдом историю всей своей жизни. Где я был доныне? Что чувствовал, что мыслил, что делал?"

При этой перемене моего существа я еще более отделился от людей. Порядочные, степенные люди бегали меня, как шалуна и негодяя; прежние товарищи бросили, как тру-

са и предателя. В одном, признаюсь, я не мог переменить прежних своих привычек - в картах. Прежде я играл из шалости, так, по примеру других: теперь пристрастился к игре с каким-то ребяческим суеверием, заметив, что дама редко мне изменяла и почти никогда, если поставлена была червонная. Когда же, случилось, убьют и эту, я приискивал в уме своем какую-нибудь вину и уверял себя, что за это именно наказан дамою. Между тем я не знал сам, что со мною происходит. Но однажды как-то вздумал я читать (это было в карауле). Смененный мною офицер оставил на гауптвахте какой-то засаленный употреблением роман. Не помню ни содержания его, ни титула, знаю только, что в нем молодой человек описывал рождение и усиление своей любви.

"Да это я! Это любовь!" - воскликнул я невольно и продолжал чтение с жадностью. Роман этот скоро был прочтен. Я за другой, и там то же; за третий еще то же. "Так вот любовь? - думал я про себя. - А я, несчастный, называл любовью..." Вскоре прочитал я все романы, какие только были на эскадре и в пор-

те, но жажда к чтению возрастала во мне по мере мнимого утоления. Однажды жаловался я одному из моих товарищей, человеку образованному и знающему, на недостаток книг. "Русских, конечно, мало, - возразил он, - но кто мешает вам читать французские, немецкие?" - "Кто? - подумал я. - Ненавистный Хлыстов! Он пустил меня на весь век глупцом и невеждою. Но мне двадцать третий год от роду. Неужели прошло время учиться? А как приступить к этому? Где найти учителя? Кому признаться в моем постыдном невежестве и еще в постыднейшем (в глазах некоторых людей) желании учиться". Наконец я решился пойти к директору гимназии и просил его рекомендовать мне хорошего учителя немецкого и французского языка для племянника моего, гардемарина. Он обещал исполнить мое требование. На другой день явился ко мне почтенный старичок в напудренном парике, в кафтане старинного покроя и учтиво объявил, что он по фамилии Дюмон, нацией алзатец и рекомендован мне директором гимназии для моего племянника. Я не знал, как объяснить ему, что не племянник, а сам дядя

имеет надобность в его уроках: языка французского или немецкого у меня бы стало, но признание было тяжело. И в эту минуту вдруг явились ко мне два прежние приятеля, выгнанные из службы уланы: пришли поквитаться. Я был в чрезвычайном смущении. Пред ученым стыдился общества игроков, пред игроками краснел за ученого. Старичок догадался и, сказав: "Вам теперь недосуг, вот мой адрес!" - вышел из комнаты. У меня отлегло на сердце, когда один из негодяев сказал мне: "Так вот у кого ты занимаешь деньги! О, французы молодцы на аферы! Нельзя ли и нас порекомендовать ему на случай нужды? Такие знакомства в свете не лишние!" Я отвечал шуткою, и мы сели за зеленый стол. Я чувствовал все ничтожество, всю низость прежних моих связей, видел, что они не поведут меня к доброму, но не имел духа вовсе от них отказаться. Бесперывное, продолжительное обращение с развратными и порочными людьми рождает вокруг человека какую-то душную, тяжелую атмосферу. Задыхаешься в ней, а выйти на свободу нет сил. На другой день отправился я к Дюмону. Он жил

на Доме, или в так называемом Вышгороде, в одном из домов, которые, как птичьи гнезда, прилеплены к горе. Я позвонил у дверей: вышла чистенькая старушка, эстонка, объявила мне, ломаным русским языком, что хозяин ее скоро воротится, и попросила подождать. Я вошел в его комнату, небольшую, в два окна, но чистую и уютную. Над софою висели портреты Лудовика XVI и Марии Антонии. На окне стояли горшки с пышными розами, висела канарейка. В углу серебряное распятие. В шкапу около ста книг латинских и французских, в старинном переплете. Я подошел к открытому окну. Вид простирался под гору, на море, тихое и гладкое как зеркало. Через четверть часа старичок воротился домой и ласково меня приветствовал. Я дал ему знать, что я сам тот молодой человек, которого он должен образовать. Это его отнюдь не изумило. Мы тотчас принялись за дело. Сначала было мне неловко и трудновато слушаться его наставлений, несколько раз повторять за ним слова и фразы, писать под диктовкою и т.д.; но мало-помалу я к тому привык и стал находить в этих уроках неизвестное мне дотол

удовольствие. Не одним языкам учился я у почтенного старца: его жизнь, его образ мыслей, его правила - все действовало на меня благотворно. Я никогда не видал его угрюмым, нетерпеливым. Приходя поутру, часов в шесть, заставлял я его занимающегося своими книгами, цветами, птичкою. Завтрак, обед его были умеренные. Учтивость в обращении, даже со служанкою, удивительная. Он называл ее не иначе, как "вы" и *madame Marguerite*. Иногда случалось, что я приходил к нему из беседы моих прежних товарищей какая разнища! Мне чудилось, что я из смрадной пещеры, серными парами напитанной, выступил на свежий воздух. Мы с ним познакомились короче и короче. Я остерегался выказывать пред ним мои прежние мысли и правила, удерживался от порывов неукротимого дотоле нрава, но не всегда успевал в этом. Умный старик вскоре проник меня насквозь, узнал мои наклонности, мой образ мыслей, мою ненависть к людям, злорадство и мстительность. Другой стал бы меня чуждаться, презирать, ненавидеть. Дюмон этого не сделал! Кроткою беседою, родительскими наставлениями он смяг-

чал нрав мой, исторгал плевелы, насажденные дурным примером и сообществом и посеял в сердце семена добра, благородства, человеколюбия, великодушия. Я узнал жизнь его. В пылу революции, в царствование ужаса все его семейство истреблено было страсбургским Робеспьером, расстригою Эвлогием Шнедером; сам он насильно исторгнут был из челюстей смерти другом юности своей. И этот друг был русский, сотоварищ его в Страсбургском университете. Дюмон приехал с ним в Россию, занял место учителя в доме одного эстляндского помещика, воспитал там, в течение пятнадцати лет, все семейство и, получив в награду небольшой капитал, поселился навсегда в Ревеле. Он продолжал заниматься преподаванием французского языка, но жил совершенно как отшельник. Только две мысли наполняли его душу, могли привести его в восторг и в иступление: первая - что во Франции кончится владычество революции и Бонапарта и законная династия взойдет на престол. И этими надеждами питался он в то время, когда Наполеон был на верхней точке своей славы и могущества. Тогда начиналась

война его с Россией. "Видите ли? говорил Дюмон. - Это первый шаг к его падению!" Вторая мысль была о друге-спасителе. Этот друг жил в Петербурге и изредка навещал товарища своей юности. Дюмон ждал его приезда, как дети светлого праздника. "Вы увидите его, - говорил он мне со слезами умиления, - увидите моего Michel Iwan Petroff! Вот человек! Может быть, есть в свете другие такие же люди, но я их не знаю".

В одно утро, являсь к моему наставнику для занятий, я нашел его в необыкновенном движении. В глазах его блистал восторг. "Тише! Тише! - сказал он мне, когда я вошел в комнату. - Он спит; он устал с дороги; не разбудить бы его". - "Кто спит?" - спросил я. - "Кто? - возразил он с нетерпением. - Мой друг, Michel Iwan! Он приехал вчера и теперь еще отдыхает". Мы тихохонько сели за работу. Куда девались старание, внимательность, педантство моего учителя! Он все делал наобум; послышится ли малейший шорох, вскакивал и прислушивался, не встал ли друг его. Я не хотел мешать им моим присутствием и, лишь только прошел час урока, поспешил его оставить,

обещая навестить в тот же день. Я сдержал слово: пришел к нему после обеда и наслаждался зрелищем, о каком дотоле не имел понятия. Оба старика сидели за столиком один насупротив другого, смотрели в лицо друг другу и плакали. Михайло Иванович Петров был человек старинного покроя, но умный, образованный, вежливый. Между тем беседа этих умных людей была вовсе не поучительна для третьего, они вели себя как влюбленные, которые никогда умны не бывают. "Что это такое? - думал я, уходя от Дюмона. - Какая тайная, непостижимая связь соединяет эти души? Благодарность - она со стороны Дюмона. А Петров что в нем нашел?" - "Это дружба! - прошептал мне неизвестный голос. - Дружба, любовь старцев, любовь, искушенная временем и пространством. Слава, знатность, богатство, наслаждения мира, все исчезает перед нею".

Петров провел в Ревеле неделю, в продолжение которой я не мог ни разу заняться уроками. Он уехал, и еще неделя прошла у Дюмона в тоске по единственном друге. Эти явления добродетели, бескорыстия, истинной

дружбы действовали на черствую, дикую душу мою, но не проникали ее насквозь. Для этого нужна была сила сверхъестественная. С тех пор как я узнал гнусность порочной жизни и рачительно занялся делом, я начал еще более чуждаться прежних своих забав и избегать прежних обществ. Кто узнал бы меня ныне, тот почел бы человеком порядочным, благородным, но гнусная репутация была сделана, и в душе все еще таилась искра зла, готовая вспыхнуть при первом случае.

Наступили 1812 и 1813 годы. Многие товарищи мои были откомандированы, кто в Ригу, кто далее, в Пиллаву, Данциг. Я оставался неупотребленным; мне давали тягостные, скучные, сопряженные с большою ответственностью комиссии на берегу. Я не смел жаловаться, не смел просить и ждать лучшего.

Наступила решительная минута моей жизни. Это было зимою, в какой-то большой праздник. Назначен был большой бал у тогдашнего военного губернатора, принца Ольденбургского. Мы, офицеры, явились туда по наряду. Как приятно мне было понимать все,

что вокруг меня говорили! Мне казалось, что я переродился, что перенесен в другой мир, но люди в отношении ко мне не переменялись. Мужчины от приветствий моих отделивались сухими поклонами. Молодые дамы и девицы убегали моего взгляда. Матушки и тетушки их следили меня, как дикого зверя. Многие, не догадываясь, что я теперь их понимаю, называли меня вполголоса шалуном, повесою, негодяем. Удовольствие, которое я ощутил вначале, вскоре исчезло, ненависть к людям, жажда мщения вспыхнули в моем сердце, и я искал только случая придраться к кому-нибудь из гостей, чтоб наделать неприятностей моим вечным злодеям. Случай этот не замедлил представиться. Один белобрысый деревенский недоросль вздумал смеяться надо мною, разговаривая с своими затянутыми кузинами. Они, вероятно, спросили, не знает ли он меня, а он, в двух шагах от меня, выпучив свои серые, стеклянные глаза мне в лицо, отвечал им: "Es ist ein gemeiner Matrose; ein wahrer Zwie-bel-Russe".

Я закипел, двинулся было к нему, но в это самое время кто-то сильно схватил меня за

руку выше локтя. Это был мой капитан Магерманов, детина сильный и решительный. Он слышал суждения обо мне, заметил мое движение и удержал меня от глупости. "Кто из наших сегодня в карауле?" - спросил он, будто невзначай. Я стал припоминать, вспомнил, отвечал. "А, этот! - сказал он. - Я было во все забыл". С этими словами он выпустил мою руку. Я глядь в прежнюю сторону, а мой недоросль уже исчез. От капитана не скрылось и это движение. Он взял меня за руку и пошел прогуливаться по зале, разговаривая чрезвычайно ласково и дружелюбно о вещах самых обыкновенных. Я видел моего враженка, порхающего между разноцветными танцовщицами, и не мог до него добраться. Адское мучение! Часа чрез полтора Магерманов меня выпустил, видно, надеясь, что жар мой простыл. Я кинулся искать моего сопостата и нашел его в одном кадриле. Забыв, где я и что делаю, я занес уже руку, чтоб схватить его за воротник, как мимо меня мелькнуло что-то знакомое, и страшное, и приятное, и ужасное, и восхитительное. Я остановился в недоумении. Вот опять летит! Это она! Это гапсаль-

ская незнакомка! Она танцует в том же кадрили с одним из наших офицеров... Дерзкий недоросль, Магерманов, бал, люди, свечи, говор гостей, звук музыки, предметы и слуха и зрения - все это смешалось в голове моей, все завертелось в хаосе, точно так, как в то мгновение, когда я, упав в детских летах с фрегата в воду, почувствовал общее сотрясение во всем моем составе. Не знаю, как я очутился в холодных сенях, с меня лил пот, мне было то жарко, то холодно. Подле меня стоял один товарищ и тер мне льдом виски. Я узнал от него, что со мною сделался обморок в танцевальном зале. Он стоял в толпе зрителей недалеко от меня; увидев, что я побледнел и зашатался, он подбежал ко мне и вывел меня в сени. "Ступай домой и ляг!" - говорил он. "Нет! - отвечал я. Это... так... ничего... это пройдет! Пусти меня назад в залу... ради бога, пусти!..." - "Как хочешь, - отвечал товарищ, - но если не побережешься, с тобою худо будет".

Я воротился в залу. Прежний танец прекратился. Новый еще не начинался. В толпе, в шуме никто и не приметил моего припадка. Мой недоросль порхал предо мною, но мне

было уже не до него. Я пошел искать ее. Вот она! Вот! В розовом платье, с белыми на голове цветами; на шее нитка жемчугу, сомкнутая богатым бриллиантовым фермуаром. Она разговаривает с другою девицею. Разглядев, по-военному, позицию, я отыскал себе местечко позади собеседниц, между колоннами и стеною, принес стул, сел к ним как можно ближе и притаил дыхание.

Они говорили по-французски (я мысленно благословил Дюмона). Собеседница ее говорила эстляндским наречием; она же выражалась по-французски твердо, чисто с небольшою примесью русского акцента. Мог ли я вообразить, что будет предметом их разговора! "Как вы могли решиться пойти танцевать с офицером?" - спросила эстляндка. "А почему же нет? - возразила она. - И вы танцевали с военным же". - "Это дело другое, - говорит прежняя, - это кирасир, кузен и жених моей подруги, Мальхен Биркез. А ваш танцор русский, флотский офицер! Это ужасные люди. Может быть, они хороши, когда должно драться со шведами и с французами, но в обществе с ними быть нельзя". - "Извините, - от-

вечала она решительно, во-первых, они русские, следовательно, мои земляки, и уж поэтому ближе всех других к моему сердцу. Во-вторых, вы, не зная ни нравов русских, ни языка, крайне ошибаетесь в своих суждениях о наших офицерах. Они привыкли в Петербурге к обращению, которое здесь кажется вольным. Притом же вы окружены одними родственниками, и приближение всякого чужого человека кажется вам дерзостью". - "Как же вы горячо вступаетесь за своих земляков!" - сказала, смеясь, эстляндка. "Это долг мой, - отвечала она, - вы не знаете русских, судите о них по предубеждению". - "Нимало, - продолжала первая, - я только повторяю то, что каждому известно, и долгом почитаю предупредить вас. Здесь особенно один молодой офицер отличается всеми возможными шалостями и самым дерзким поведением. От него никому житья нет, он ни своим, ни чужим проходу не дает. Ограбить в картах товарища, нагрубить почтенному старику, приколотить мирного гражданина, обмануть купца, оскорбить женщину - для него забава и невинное препровождение времени. Он несколько месяцев си-

дел под арестом на флоте, и Ревель был спокоен, а сегодня, к общему ужасу, появился здесь. Только, говорят, его уж вывели; видно, успел напроказничать. Вот каковы эти господа русские!" - "Вы хотели сказать, - прервала она, - вот каков этот офицер. Один человек в сотнях составляет исключение, а не правило. И вы сами говорите, что в его отсутствие Ревель был спокоен: следовательно, все прочие ведут себя тихо и благородно. Если б я следовала вашим правилам, то могла бы так же справедливо сказать: все русские флотские офицеры герои благородства и великодушия, потому что я была свидетельницею подвига самоотвержения одного из них. В Гапсале один морской офицер в моих глазах кинулся в море для спасения крестьянского ребенка".

Что я почувствовал в эту минуту! Она, она меня помнит, уважает, хвалит! Слезы, дотоле неизвестная отрада, полились по моему лицу. Нашлась в свете одна душа, в которой дан приют мысли, чувству обо мне! Я не один в мире! Я жил не даром! Образумившись чрез несколько времени, я устремил глаза на то место, где они сидели, но их уж там не было.

Я встал и решился отыскать ее. Долго ходил я без успеха между густыми толпами. Вдруг стеснили меня в одной двери; я не мог ни отступить, ни податься вперед, и в двух шагах от меня очутились собеседницы. "Вот он!" - сказали они друг другу в одно мгновение, взглянув на меня. Она посмотрела на меня, покраснела, потом вдруг побледнела - и обе они исчезли в толпе... Я уже не видал её во весь вечер.

Этот бал составил в жизни моей резкую черту, которою прежняя жизнь моя решительно отделилась от настоящей. Не знаю, стал ли я лучше или хуже, но только я стал не тем, чем был прежде. И свет дневной, и сумрак ночи, и пыл огня, и волнение моря, и рев бури, и пение ранних птиц - все перемешалось в моих чувствах. Я начал во всем находить радость, утешение, предмет к размышлению, повод к умилению душевному и к тоске сердца. Дюмон не узнавал меня. Теперь я на лету схватывал то, что прежде вбивал в зачерствелую память свою насильно...

Кто же была она? Трудно было узнать это, но невозможного нет для влюбленных; это со-

стояние лунатика, который в глубоком сне порхает как ласточка, там, где бодрствующий на каждом шагу может сто раз сломить себе шею. Я узнал, что она круглая сирота, воспитанница одной графини, которая любит ее, как дочь родную; узнал, что ее зовут Надеждою Андреевною, что она умна, образована, имеет доброе сердце и твердый характер — знал я и прежде. Разумеется, что я искал ее везде, и раза два успел видеть ее мельком. Однажды завидел я ее в театре. Она сидела в ложе нижнего яруса с двумя молоденькими дамами и одним пожилым барином. Я был в креслах и, забыв, что происходит на сцене и вокруг меня, не сводил глаз с прелестного существа: она и для невлюбленного истинная красавица. Она, казалось, меня не примечала. Спектакль кончился: я вышел в сени и глядел на нее издали, пока она, с подругами своими, дожидалась кареты. Только здесь она меня заметила, и на лице ее проглянуло выражение тоски и досады, насильно подавляемое принужденною улыбкою равнодушия. Я увидел, что взгляд на меня возбуждает в ней чувство неприятное... Я в глазах ее злодей и изверг че-

ловечества! Она скрылась у меня из виду, как в глазах утопающего исчезает рука, простертая для подания ему помощи и спасения.

Я впал в безотрадное уныние. Дюмон заметил мои страдания и с отеческою заботливостью стал допытываться о причине. Я не решился ему открыться и говорил, что мысль о судьбе моей, о горьком одиночестве - причина моей печали. Старик представился, что поверил мне, или, может быть, поверил и в самом деле. Только в одно утро я застал и его задумчивым, печальным, угрюмым. На вопрос мой, что с ним сделалось, он отвечал, что одна из прежних его учениц, любимица его, утром уехала из Ревеля. "У меня было их много, - говорил он, - и некоторых я никогда не забуду, но эта мне дороже всех". - "А кто она?" спросил я рассеянно. "Воспитанница графини Лезгиновой, mademoiselle Nadeje, сущий ангел!" - отвечал он с чувством, какое только могло вырваться из семидесятилетней груди. "Вы знаете Надежду?" - спросил я, как громом пораженный. "Знаю ли? Восемь лет сряду, по четыре раза в неделю учил ее и только за год пред сим перестал, когда они поехали в Га-

псаль. Воротясь сюда, она хотела вновь при-
няться за уроки, в которых, признаюсь, более
не имела надобности, но не могла за недосу-
гами; только сообщила мне два, три свои со-
чинения". Он продолжал говорить о ней: рас-
сказывать о ее уме, образованности, о ее доб-
родушии, кротости, любви к добру... Я слушал
в оцепенении: мне казалось, что голос стари-
ка доходит до меня из-за тридевяти земель.
Он знал ее, и мне это не было известно! Дю-
мон умолк от усталости, а не от истощения
предмета. "А кто она такова? Как зовут ее по
прозвищу!" - спросил я, задыхаясь. "Я сказал
вам: она приемыш графини. Зовут ее Nadeje;
по-русски прибавляют Andre. А о фамилии ее
ma foi, я не заботился. Je sais seulement qu'il y a
du Berry la-dedans (знаю только, что она похо-
жа на Берри), и поэтому, я думаю, она еще бо-
лее мне нравилась". Я проклинал француз-
ское легкомыслие, которое заткало и прекрас-
ную душу Дюмона, как паутина драгоценную
картину.

С тех пор этот добрый старик стал мне еще
дороже, еще милее. Мне казалось, что я в него
влюбился. Я воображал, что он раз сто гово-

рил с нею, что она его слушала, глядела ему в лицо, здоровалась с ним, прощалась, благодарила его... Когда только представлялась возможность, я обращал разговор на Надежду. Старик думал, что я хочу угодить ему, заводя речь о его любимице, и не умолкал. Однажды, превознося похвалами ее слог, он вспомнил, что у него осталась тетрадка ее упражнений во французском языке, и отыскал ее в своем комоде среди тысячи истертых, измятых, полинявших бумаг. Я смотрел на эту тетрадку, как на святыню; она была сшита из простой бумаги, но с каким-то изяществом. На обертке надпись: Compositions 1811-1814. Nadeje Veriloff. Почерк ровный, приятный и не педантский. Дюмон начал с восторгом читать изливания души своей питомицы, прибавляя после каждого периода: "Какие чувствования! Какие мысли! Какой слог! Это Севинне!"

Вот первое из этих сочинений.

СИРОТА

Знаете ли вы, что есть сирота? Это цветок, сорванный порывом бурного ветра с родного стебля и рукою сострадания погруженный в

воду, для продолжения его жизни несколькими часами. Он питается чистой водою, красуется в драгоценном сосуде, защищен от пчел и бабочек, слышит похвалы и изливания восторга, возбуждаемые его цветом и запахом. Но голова его томится, унывает, гнется на сторону, склоняется к сырой земле, где скрыты родные его ветви. И он стремится мыслию из позлащенных палат, из драгоценного сосуда, из кристальной воды на ту укромную грядку, где возник и развернулся на черной земле в дыхании весеннего ветра, где кропили его и утренняя роса и дождь небесный, где спокойно и радостно цвели подле него младшие братья, где родные ему, другие дети природы, трудолюбивые пчелы и беззаботные мотыльки, с веселым жужжанием порхали вокруг него на солнце полуденном!

Чувствую всю цену милостей моей благодетельницы. Я готова отдать ей и за нее жизнь мою, только в ее присутствии бываю спокойна и весела, только о ее жизни и здравии и денно и нощно молю моего создателя, но невольно из блистательного, великолепного круга стремлюсь в бедную хижину, где

жили мои родители. Маменька! Ты жила, ты слышала мой младенческий лепет, ты любила меня! Ты звала меня: Наденька! Умирая, ты думала обо мне и меня благословляла!.. А я не знаю и того, как тебя звали! Отец мой, обремененный заботами житейскими и грустью душевною, отдал меня на руки великодушной моей благодетельнице и сам чрез несколько времени слег в могилу. Я одна, одна в этом пространном мире, иду, стремлюсь, не зная куда. Но я к нему не привязана, не боюсь ни страданий, ни смерти. Страдания мои не могут сравниться с страданиями матери, покидавшей меня в этом мире, а смерть соединит меня с теми, кто дорог моему сердцу! Маменька! Я тебя узнаю из тысячи блаженных теней!"

Старик плакал, читая эти строки. Я был в каком-то исступлении. "Это была чувствительность! - сказал он наконец. - Теперь послушайте философии. Вот другая статья".

КАК ЛЕГКО МОЖНО ОШИБИТЬСЯ

два случая

22-го августа. Мы жили в Гапсале беззаботно и весело, ездили ежедневно гулять по

окрестностям города, купались в море. Матап была спокойна и довольна и чувствовала облегчение в своей жестокой болезни. Под конец курса случилось с нами странное происшествие. Мы ездили в море большою компанией. Вместо гребцов сидели в веслах дюжие эстляндки. Однажды на таком странствии вмешался в наше общество незваный гость. Посреди мирной нашей флотилии появилась лодочка и в ней морской офицер. Все мы перепугались и не знали, что делать. Матап была в крайней досаде и хотела вернуться к берегу. У меня не знаю откуда взялась смелость. Я встала в лодке и, когда офицер поравнялся с нами, громко спросила у него, куда он едет. Решительность моего вопроса изумила молодого человека. Он смотрел на меня, не зная, что отвечать. Я повторила вопрос. Он смешался и отвечал, что едет удить рыбу. А мы думали, что он ехал с умыслом мешать нам! Я объяснила ему, что его присутствие нам неприятно, и он, не говоря ни слова, поворотил лодку и отправился назад к берегу. Это понравилось моей матап. "Видишь, Наденька, - сказала она, - как можно

ошибиться! Этот молодой человек, верно, обиделся нашим безрассудным подозрением. И в самом деле, он удвоил с своим гребцом силы, чтоб скорее выйти у нас из виду". Я смотрела вслед за ним. Вдруг вижу: он бросается из лодки в море. Я вскрикнула, но не успела опомниться, как увидела, что он вытащил из воды ребенка, упавшего с плившей за нами лодки, и подал его матери. "Великодушный молодой человек, - думала я, прости, прости мне, что я тебя было обвинила. Мог ли ты иметь намерение пугать и обижать слабых женщин, когда жизни не пожалел, чтоб спасти бедное дитя!" Как легко можно ошибиться! Мне и то еще было приятно, что таким великодушным подвигом отличился мой земляк, русский. Здешние девицы премилые и прелюбезные, только насчет русских и России имеют самые странные и превратные понятия. Они не верят, чтоб в России знали благородство, великодушие, нежность чувствований. Видите ли, говорила я им с гордостью, каковы русские! "Для чего я сирота? - думала я. - Для чего у меня нет хоть брата. Если б у меня был такой брат, как бы я была счастли-

ва! Как бы любила его! Я любила бы его так нежно, так горячо, что он и не вздумал бы жениться!"

13-го декабря. Зачем поехала я вчера на бал! Зачем не послушалась мама, когда она, рассказав мне страшный сон, советовала остаться дома! Ей снилось, что я ласкаю собачку; вдруг эта собачка превратилась в змею и кинулась на меня, высунув ядовитое жало. Мама в ужасе проснулась и утверждала, что меня ожидает бедствие, что мне должно остаться дома. Я шутила над ее сном, над ее предчувствием, уверяла, что если быть со мною беде неминуемой, то она постигнет меня дома, точно так, как и на бале. Она разве-селилась, стала смеяться над грезами своими и отпустила меня.

Сначала было мне очень весело: на бале было много хороших учтивых танцоров. Я не пропускала ни одного танца и охотнее всегда шла танцевать с флотскими офицерами. После одного продолжительного кадрили села я отдохнуть с болтливою баронессою Юлиею. Она стала выговаривать мне за предпочтение моих земляков, а более флотских, и на возра-

жения мои описала их самыми черными красками; особенно же на одного из них излила она всю свою злость: называла его извергом, чудовищем, злодеем. Желая остеречься от этого ужасного человека, я просила показать мне его. Мы пошли с нею по залам. Вдруг встретился мне он, тот офицер, который спас ребенка, и в ту же минуту баронесса объявила мне, что это тот самый злодей, которого она описала. Я была поражена этой вестью, как молниєю. Офицер исчез из глаз моих, а баронесса, в пылу своего усердного злословия, не заметила моего замешательства, не слыхала даже, что и я, в одно время с нею, воскликнула: "Это он!" У меня страшно разболелась голова. С трудом осталась я до окончания бала.

Этот волшебный дворец удовольствий превратился в глазах моих в адский вертеп: мне казалось, что вокруг меня кружатся фурии и сатанинским хохотом смеются над моим легковерием. Я лишилась брата. Исчезла прекрасная мечта, лелеявшая мою душу! И подвиг человеколюбия был минутным порывом, а не следствием благородных чувствава-

ний и помыслов; может быть, и тщеславие заставило его броситься на явную опасность: мы могли видеть его доброе дело. Но он на нас и не оглянулся. Нет! Не тщеславие! Что ж такое? Ах, как счастлива я была вчера! Теперь я вновь осиротела. Я лишилась друга, потеряла и сладостнейшее чувство веры в добродетель человека. Осталось холодное замечание эгоизма: как легко можно ошибиться!"

"Это, конечно, вымысел! - сказал Дюмон, кончив чтение. - Но... какие чувства, мысли, изложение! Nadeje! Nadeje! У меня не было и не будет такой ученицы!"

Что я в это время чувствовал, не помню, не знаю, не постигаю. Я вышел от Дюмона, прибрел домой и с горьким плачем бросился на диван. Слезы облегчили тягость, лежавшую на моем сердце, но не умилили его. Злые духи, отравившие мое младенчество, юность мою, представились моему воображению во всей своей гнусности. Волшебница и Хлыстов в этих страшных мечтаниях зияли на меня гнусными своими личинами. "Исчадия ада и греха! - вопил я в отчаянии. - Чем вы заплатите за погубление моей души, моего счастья!"

Я был уже не тот, что прежде. Не говорю о делах мрака, и самые помышления о них, и самые легкие искушения меня оставили. Но в то время, когда я ни делом, ни словом, ни мыслию не заслуживал внимания, пощады, даже забвения людей, я жил беззаботно, что говорится, счастливо; теперь я чувствовал, что желанием, усердием, волею достоин быть менее несчастливym, и все бедствия разразились над моею головою. Таков порок: он подобен бурной комете, влекущей за собою длинный хвост, вину гибели и разрушения в мирах светлых и покойных...

Отчаяние грозило овладеть моею душою, и я действительно не знаю, что случилось бы со мною, если б внешние, не зависящие от меня обстоятельства не развлекли моего уныния деятельностью. Меня отправили еще по зимнему пути в Свеаборг. Там наряжен я был в члены военно-судной комиссии. Сначала я очень на это досадовал, считая недостойным воина и моряка заниматься письменными и судебными делами. Между тем я принялся за дело и вскоре увидел, что имею случай, сделав добро несчастным, искупить у грозной

судьбы хотя улыбку сожаления. Несколько нижних чинов и крестьян обвинены были в провозе контрабанды и в продаже казенного имущества в частные руки. Подсудимые целый год томились в заключении; семейства их терпели крайность, с трепетом ожидая решения своей участи. Дело было запутанное: улики казались ясными; напротив, беспорочная жизнь подсудимых, решительные ответы пред обвинителями, следователями и судьями, спокойные их лица и прямые взгляды говорили в их пользу. Презусом комиссии был старый капитан, считавшийся в этих делах опытным, потому что решал их скоро и усердно населял нерчинские рудники. И в этом деле хотел он поступить по своей методе. Я ему воспротивился и грозил, в случае малейшего упущения, донести высшему начальству. Он принужден был согласиться. Я переследовал дело и нашел, что подсудимые были совершенно невинны, открыл, что они были жертвами гнусного замысла личных врагов своих, надеявшихся получить награду за открытие злоупотреблений, которых сами были главнейшими виновниками. Я представил мое

мнение суду. Все члены со мною согласились, только презус противился. Наконец успел я победить и его упрямство. Невинных оправдали, освободили; виновных предали заслуженному наказанию.

Я случайно был в карауле в тюремном замке, когда подсудимым объявили приговор и исполнили. Жены, дети, отцы, матери ждали их у ворот. Вдруг закрипели ржавые петли; человек шесть бледных, изможденных, но с блистающими радостью и благоговением к богу глазами вышли оттуда колеблющимися стопами и очутились в объятиях родных и друзей своих! Слезы их смешались. Благословения, русские и финские, в невнятном слиянии звуков поднимались к небесам. Я сам был погружен в неизъяснимо улаждительное чувство, вырывавшееся из груди звуками: "Надежда!"

Весною воротился я в Ревель. Издали приметил я большое движение в порте и на берегу. Получено было известие о взятии Парижа и о падении Наполеона. Корабли расцвечены были флагами. Веселый народ толпился на улицах. В церквах пели благодарственные мо-

лебны. Я поспешил к Дюмону, чтоб поздравить его с этой радостною вестью, но как я огорчился, узнав от его прислужницы, что он опасно болен, уже шесть недель не встает с постеле и ежечасно ждет своей кончины! Я вошел в его спальню. Он лежал в постеле, исхудалый, бледный, закрыв глаза; улыбка играла на его устах. Послышав шорох, он открыл глаза, узнал меня, с радостным выражением подал мне руку и сказал:

"Друг мой! Я умираю, но умираю счастлив и покоен. Франция возвращена Европе и христовой церкви. Потомок святого Лудовика на прародительском престоле. Я дожил до этой сладостной минуты, которой ждал двадцать лет. Радость возвратила бы мне жизнь, если б в лампаде была еще капля елея. Кланяйтесь Михаилу Ивановичу, вы его увидите, он мой наследник. Может быть, увидите вы и Надежду. Скажите ей, как сладостно я умирал. За четверть часа я было заснул. Мне почудилось, что я уж умер, что Надежда ввела меня в сад, похожий на Версальский, что там я нашел короля, королеву; вдруг что-то зашумело; я проснулся и увидел вас". Старик умолк от

усталости: он проговорил все это с большим напряжением, с необыкновенною скоростью, как бы боясь, что не успеет высказать. Я обещал ему исполнить его требование и просил его успокоиться. В это мгновение раздались пушечные выстрелы. Старик вздрогнул, но, догадавшись, что это пальба радостная, сказал: "С торжеством оставляю этот мир! Простите, Мишель, Надежда!"

Глаза его закрылись, по лицу пробежал трепет, улыбка на устах появилась и уже не исчезала. Правая рука поднялась, видно, чтоб перекреститься, но опять упала на одеяло. Дюмон умер. Я послал за полицеймейстером. Кабинет его запечатали. Подле смертного одра его, под молитвенником, лежала какая-то бумага. Я взял ее. Это была тетрадка Надежды. С суеверным благоговением прижал я к устам драгоценные строки и унес с собою, как завещание почтенного старца, как вещественную память об ангеле, который блеснул в глазах моих и скрылся навеки.

Михайло Иванович приехал в тот же вечер: он спешил застать в живых друга и не успел. Мы предали земле тело Дюмона с чув-

ством благоговения к промыслу, который немногими сладостными минутами на краю гроба заплатил в сей жизни добродетельному человеку за годы страданий.

Таким образом, явление веры, добра, правды и чести мало-помалу очищали мою душу, вселяли в меня теплую веру в провидение, любовь к ближним, уважение к добродетели, а началом всему была она!..

Через месяц отправился я на фрегате в поход, в Англию. Деятельная жизнь освежала и укрепляла меня. Кончив данное нам поручение в Лондоне, мы спустились в Грев-сенд, чтобы при первом попутном ветре плыть в Голландию. Несколько русских семейств воспользовались сим случаем, чтоб воротиться на твердую землю. Вечером, накануне отъезда, нахлынуло к нам на катере человек десяти сестер и превосходительств, с женами, детьми, гувернантками, чемоданами и картонами. Я стоял у трапа и помогал дамам всходить на борт. Вдруг смертельная дрожь пробежала по всему моему телу: при блеске фонаря узнал я в числе пассажирок Надежду. Она взшла на корабль вслед за одною пожилую да-

мою, и они обе прямо отправились к капитанской каюте. Она не заметила меня, но я ее видел! Мы очутились на одном корабле! Я принужден ее видеть, сам не могу избежать ее взоров... и как смею явиться ей на глаза! Она считает меня злодеем, извергом человечества. Я не знал, что делать. Случай помог мне от нее укрыться. За ужином между молодежью зашла речь о прекрасных пассажирках. Все радовались любезным спутницам и убеждали друг друга вести себя пред ними как можно скромнее и особенно удерживаться от нескромных восклицаний, вырывааемых у моряка нетерпением и досадою. Подшучивали над товарищами, припоминали прежние приключения. "Теперь раздолье Ветлину, - сказал лихой лейтенант Плащев, истинный моряк, который в течение шести лет не был на берегу и шести дней, есть около кого увиваться. Я чаю, ты, брат, в целые сутки сошканцев не сойдешь. "Тара-бара, бонжур мадам, коман ву порте ву" - это веселее, чем кричать в рупор на рулевых да марсовых". - "Почему так, Петр Иванович? спросил я, будто обидевшись. - Ты и сам не можешь забыть ка-

кой-то кронштадтской констапельши, а службу несешь своим чередом, как храброму и неторопливому офицеру надлежит". - "Это совсем иное, Сергей Иванович! Констапельша делу не помеха, а ваши французские перепелки душу, как старый канат, расщипывают". - "Так я же докажу и тебе и всем, что женщины меня вовсе не привлекают. Выпрошусь у капитана на все ночные вахты, а день весь буду проводить на кубрике, то есть, во все время ни свету божьего, ни лица женского не увижу". - "Изволь, побьемся! Две бутылки шампанского в первом трактире на берегу", - сказал Плащев, протянув руку, и мы ударились. Все офицеры утверждали, что я не выдержу испытания.

На рассвете мы снялись с якоря. Лишь только склянка пробила восемь часов, я, сменясь с вахты, отправился на кубрик. Что я чувствовал, того описать не умею: мне было и приятно, и досадно, и радостно, и страшно. "Вижу, брат Сергей, - сказал Плащев, принимая рупор, - что тебе трудно расставаться с божьим светом и с бабьими глазами. Заклад в сторону. Оставайся с ними". "Нет! Нет! -

вскричал я. - Дело не в том, я хочу доказать, что умею держать слово!" - и поспешил по трапу в царство мрака. Я хотел читать - невозможно; думать о чем-нибудь постороннем - и того менее. Наконец лег в койку и устремил глаза свои в потолок, воображая, что гляжу на свод небесный, над которым витают духи бессмертные, наши ангелы-хранители. День прошел в мечтаниях, в порывах нарушить обет и в раскаянии о моем малодушии. Пробыла полночь. Мне объявили, что моя вахта наступила. Я вышел наверх. "Ну, брат Ветлин! - сказал мне Плащев, подавая рупор. - Если б ты знал, какие хорошенькие у нас гости, то, конечно, ни за миллионы не стал бы биться об заклад. А пуще всех одна. Злодейка! Родятся же на берегу такие женщины! Прости! Желаю приятной ночи".

Я остался один на фрегате. Ночь была тихая, безлунная. Синее небо, испещренное яркими звездами, отражалось на поверхности гладкого моря. Фрегат несся тихо, как лебедь по спокойному озеру. Командовать было нечего. Я присел к дверям капитанской каюты и в ночной тиши, изредка прерываемой

откликом рулевых, прислушивался к тому, что делается в этом святилище. Женский голос читал книгу, голос приятный, нежный, мелодический. Сначала не мог я расслушать, потом различил звуки французские, умеренные русскими устами: это Надежда; наконец стал понимать и слова. Она читала историю о каком-то падшем духе, умоляющем светлого ангела, брата своего, принять его вновь в райскую обитель. Голос читающей становился тише, тише, и наконец умолк совершенно. Водворилось безмолвие. Я носился мыслями не помню где. Телесного моего состава вовсе я не ощущал, а чувствовал, видел, мыслил какими-то иными, дотоле неизвестными мне орудиями: это были струны без скрипки, тоны без воздуха. И время, и пространство, казалось, утратили надо мною свои вечные права: фрегат исчез в глазах моих. Я носился среди безбрежного моря, под огромным наметом вселенной; тишина ночи превратилась в какой-то непрерывный единообразный гул; время текло, и я его не чувствовал.

Что-то грохнуло подле меня. Я открыл глаза, которых, кажется, не закрывал дотоле. Вос-

ходящее солнце обливало пламенным пурпуром и фрегат, и море, и край неба. Свежий ветерок дул мне в лицо. Предо мною стоял один из моих товарищей: забыв о моем закладе, он пришел сменить меня по истечении первой ночной вахты. Я напомнил ему об условии нашем, и он с удовольствием отретировался в койку. Мечты мои исчезли. Я стоял на шканцах, в десяти шагах от того, что мне дороже и священнее всего в мире, но нас разделяли стены непроницаемые. Капитан вышел из каюты и объявил, что барометр быстро понижается. Должно ждать шквалу. Я обрадовался тревоге. Вся команда вышла наверх. При крепком норд-весте мы закрепили паруса и быстро неслись к голландским берегам. В восемь часов закричали с салинга: "Берег!" Склянка пробила, и я вновь спустился в свою подпольную темницу, радуясь, что Надежде при непогоде не вздумалось выйти из каюты ранее этого срока. Не долго пробыл я в своем заточении. В десять часов прибыли мы к Текселю, якорь рухнул в море, гребные суда повалили к берегу. Я вышел на нижнюю палубу и смотрел в порты. Вот спускаются по трапу на-

ши спутницы. Старушку сносят на руках. За нею идет спутница ее. Завистливая мантия скрывает стан, только ножка, маленькая, прекрасно образованная, в черных башмачках, над которыми белеется узенькая полоска нежного чулка, переступает по ступеням трапа. Вы знаете, что с трапов сходят лицом к кораблю. Вдруг милый лик ее мелькнул на полсекунды пред моими глазами. "Ай да Ветлин! раздался голос моих товарищей, спустившихся в палубу. - Лихо выиграл заклад! Плащев именно для того поехал на берег, чтоб купить проигранное шампанское". Не говоря ни слова, вышел я наверх. Шестерка наша, качаемая игривыми волнами, неслась на парусах к берегу. Ветер развевал зеленый вуаль на белой шляпке, но она на нас не смотрела, все старания ее обращены были на старушку, которая, видно, боялась качки. Счастливец Плащев правил рулем. Они пристали к берегу, раскланялись с Плащевым, сели в заготовленную карету и поехали. Я едва не закричал...

Фрегат остался на зимовку в Голландии. Нам, офицерам, позволено было жить на берегу. Меня употребляли на разные посылки: я

ездил в Амстердам, в Кобленц, в Париж. Я был в этом последнем городе, когда пришла туда весть о появлении Бонапарта с острова Эльбы. Наше посольство предписало мне немедленно отправиться к фрегату с секретными предписаниями. Все бежало из Парижа. Я никак не мог получить почтовых, купил верховую лошадь и поскакал по дороге в Брюссель. Я поехал с утра верст пятьдесят благополучно. Вдруг лошадь моя стала. Вероятно, я, непривычный к сухопутной езде, надсадил ее. Нейдет да и только. Я кое-как довел ее до деревни и бросил. Тщетно старался я в деревне купить другую лошадь. Все были забраны проезжими. На меня косо посматривали французские мужики, принимая за шпиона неприятельского или за члена разбойничьих шаек, составившихся на границе из мародеров всех наций. Нечего было делать. При проливном дожде по вязкой дороге пошел я пешком и к ночи пришел на станцию ла-Капелль. Устав до полусмерти, я вошел в постоялый дом и кинулся на пол пред пылавшим очагом. Какая-то добрая старушка попотчевала меня теплым супом. Я ненавижу француз-

ский булион, стуженный размоченным в нем хлебом, но в эту минуту он показался мне амброзиєю. Лишь только я кончил скромный свой ужин, послышался стук остановившейся у ворот кареты, и чрез несколько минут вошел в комнату, с бранью и ругательствами, мокрый кондуктор дилижанса.

"Толкуй, поди, с женщинами! - закричал он. - Боятся разбойников. Нет, сударыни, я вас поставлю в Монс, живых или мертвых. "Если бы с нами был хоть один мужчина". А я-то что? Старый сержан-мажор Самбр-Мёзской армии, *in ille tonnerres!* Так нет! Давай другого!" Я спросил его, откуда и куда он едет. "Из Парижа, сударь, везу целую стаю маркиз и виконтесс, которые перепугались маленького капрала. А чего его бояться? Он малый добрый, правда, не жалуется этих волтижеров Людовика XV, да и любить-то их не за что". Дав ему наговориться, я спросил, нет ли у него места в дилижансе. "Есть одно, - сказал он, - внутри кареты: из Парижа ехал с нами аббат, да вышел на станции и заболтался, видно. Я не мог ждать его. Не угодно ли вам сесть вместо его? Вы не забудете старого солдата, да и

красавицы мои перестанут трусить". Я с благодарностью согласился. Мы вышли к воротам. Лошади уже были впряжены. "Mesdames, - сказал кондуктор, отворяя дверцы, - извольте потесниться: к вам сядет защитник и хранитель". В карете что-то пробормотали спросонья, и потом раздалось: "Entrez, s'il vous plait".

Я с трудом вскарабкался и сел на передней скамье подле чего-то мягкого и теплого. Дверцы захлопнулись, и дилижанс двинулся с места. Путешественники дремали, и я скоро заснул. Сильный толчок экипажа разбудил меня. Светало. Дождь перестал. Солнце вставало без туч. Нас в карете было пятеро. Подле меня, на передней скамье, сидела дородная женщина, по-видимому, служанка; подле нее сухощавая старушка в старомодном чепчике. На задней скамье справа, в первом месте дилижанса, покоилась немолодая почтенного вида женщина; в чертах лица ее выражалось страдание; она часто пугалась во сне и стонала. Подле нее, прямо против меня, сидела четвертая женщина, судя по ее стану, нежному и тонкому, по прекрасной руке ее, выкатив-

шейся из-под шали, молодая и прелестная. На голове у ней повязан был свех легкого чепчика клетчатый платок, из-под платка спускался зеленый креповый вуаль и скрывал черты лица ее. Она спала крепким сном юности и здоровья. Вскоре после меня проснулись мои соседки на скамье и стали меня разглядывать. Они не могли догадаться, кто я таков. На мне был обыкновенный синий сюртук, опоясанный кожаным кушаком, на голове черный картуз. Я молчал, боясь разбудить спящих, но они начали о чем-то перешептываться. Солнце вставало выше и выше. Вот и сидящая насупротив меня просыпается: протянулась, зевнула и - вообразите мое удивление перекрестилась по-русски. Что-то завертелось у меня в голове, что-то застучало в сердце. Я не успел еще дать себе отчета в этом волнении, как она подняла вуаль - и Надежда, Надежда Берилова представилась моим глазам.

Не могу описать, что случилось со мною: мне было страшно, тяжело, мучительно. Я старался всеми силами удерживать движения своего лица, заглушать вздохи, которые тесни-

лись в груди и занимали мое дыхание. Труд этот был напрасен. Она меня не замечала. Первые ее взгляды обратились с любовью и состраданием на спящую подле нее старушку; она смотрела на нее с детским участием, поправила на ней косынку, покрыла ее салопом, который скатился было с колен. Я имел время прийти в себя. Потом поглядела она на прочих женщин, поздоровалась с ними взглядами и обратила глаза на меня. Она вглядывалась в меня, казалось, хотела что-то припомнить себе, но, видно, что я успел собраться с духом и твердо играл роль равнодушного, постороннего, чужого человека; она меня не узнавала. Сначала это меня огорчило, но, раздумав порядочно, я утешился в ее забывчивости: что сказала, что сделала бы она, увидев себя подле человека, которого почитала извергом человечества?

Я приветствовал ее легким наклоном головы, приподняв картуз; она отвечала учтивым, но безмолвным приветствием. Я имел время рассмотреть лицо ее. Мне казалось, что прелестнее, очаровательнее ее нет женщины в свете; поэзия любви расцвечала прекрас-

ный от природы лик небесными красками. Наконец зашевелилась и старушка - это была графиня Лезгинова. Надежда обратилась к ней с детскою нежностью, поцеловала ей руку, поправила под нею подушку, спросила ее по-русски - как она спала, не хочется ли ей чего-нибудь. Графиня, дав ответ на ее вопросы, посмотрела на меня угрюмо и сказала ей с досадою, по-русски же: "Вот удовольствие путешествовать в дилижансе: посадят к тебе в карету какого-нибудь сорванца. Проклятый Бонапарте!" Я не смигнул при этих комплиментах, но также ужимкою, похожею на поклон, пожелал и старушке доброго утра. Она сердито кивнула головою, как бы хотела сказать: не нужно мне твоего поклона. Женщины мало-помалу разговорились между собою. Я узнал из их беседы, что сидевшая подле меня француженка служит камер-юнгферою у графини, а другая, незнакомая им спутница, какая-то бедная маркиза. Графиня пустилась бежать из Парижа по приближении Наполеона и, не достав другого экипажа, при помощи какого-то аббата успела взять четыре места в дилижансе; остальные два заняты были мар-

кизою и самим аббатом, которого неумолимый кондуктор бросил за неявкой на второй станции. Я не разевал рта и притворялся спящим. "Странный француз, сказала графиня, - молчит как стена. Уж не шпион ли он какой, помилуй господи!" - "Ах, нет, тапан! - сказала Надежда. - Он очень учтив и скромен. Мне помнится даже, что я его где-то видала. Только не в Париже. Лицо такое знакомое". "Забыла, - думал я, - забыла! Слава богу. Теперь лицо мое останется у нее в памяти с отметкою: тихий, учтивый человек". Мы приехали на станцию. Дамы вышли освежиться и позавтракать. Я отправился в трактир и позавтракал так, чтоб не нужно было обедать. Я боялся проговориться за столом. Паспорта у меня не спрашивали: кондуктор взял с меня деньги себе, а в списке показан был предместник мой, аббат. Прежним порядком проехали мы еще две станции. Я молчал как статуя. Графиня раза два спрашивала меня кое о чем. Я отвечал: "Qui, madame; non, madame", стараясь всячески подделаться под французское произношение. "Сущий медведь этот француз! - сказала графиня. - Толку не добьешься". - "Не

троньте его, тамап! - возразила Надежда. - У него что-то на сердце. Он часто вздыхает и как будто боится смотреть нам в лицо. Он, конечно, несчастлив. Бог знает, что он оставил в Париже и зачем едет". "Ошибаешься, думал я, - он теперь счастливейший из людей, в Париже ничего не оставлял, но с трепетом ожидает и страшится минуты, в которую расстанется с тобою".

Привал. Дамы вышли, и я также. Они отправились в постоялый дом; я пошел погулять по аллее. По окончании их обеда опять безмолвно сели в дилижанс и потянулись прежним порядком. Стало смеркаться. Мы въехали в лес. Небо затянулось. Стал накрапывать дождик. По временам раздавался по лесу свист будто разбойничий сигнал. Женщины вздрагивали и крестились. Я, признаться, сам был не очень спокоен. После войны дороги сделались крайне опасными. В лесах на голландской границе бродили мародеры и не раз останавливали ехавшие из Франции экипажи, в надежде поживиться богатством, вывозимым бегущими за границу эмигрантами. У меня за поясом были два малень-

кие пистолета, незаряженные, кондуктор храбрился только словами, в карете сидели четыре женщины, на империяле и в кабриолетах - какие-то ободранные мужики и бабы.

Мрак сгустился; дилижанс ехал тихо. Вдруг раздались громкие голоса, и он остановился. Дамы перепугались. В темноте засверкали огни фонарей, и при свете мы увидели, что окружены толпою самого подозрительного народа. В ужасе, который овладел мною, я забыл все предосторожности и, сказав по-французски: "Успокойтесь, сударыня; это, вероятно, ничего не значит!" - готовился отворить дверцы кареты, но меня предупредили снаружи. Какой-то высокий широкоплечий мужик в синем балахоне отворил их и закричал: "Вылезайте, мошенники! Подавайте все, что у вас есть". - "Что вы за люди?" - спросил я. "Вот еще выискался какой таможенный! Не в том дело! Выходите!" - "Не выйдем! - отвечал я твердым голосом, надеясь испугать их. - В двухстах шагах за нами едет разъезд, он освободит меня из ваших рук". - "Не выходите?" - сказал мужик. - Так постойте, я вас отдам на руки капитану. Рускимуски! - закричал он. -

Не хотят выходить! Грозят разъездом! Что тут делать?" К карете подскакал человек ужасного вида с рыжею бородою и закричал дурным французским языком: "Выходите, канальи! Не то я вас всех перебью!" Он навел пистолет в карету, раздался крик, фонарь блеснул ему в лицо - и я узнал в нем Хлыстова! "Помилуй! - закричал я по-русски. Хлыстов? Это ты? Что это значит?" Он опустил пистолет и спросил: "А ты кто?" "Всмотрись!" - отвечал я. Он поднял фонарь, посмотрел мне в лицо, закричал: "Ветлин!" - пошатнулся и зарыдал.

Все были в оцепенении. Разбойники остановились и с изумлением глядели на плачущего атамана. Женщины с нетерпением ждали развязки. "В какую пропасть ты низвергся!" - сказал я ему. "Молчи! - вскричал он, опомнившись. - Не растравляй ран моих. Я злодей, я изверг, бежал из полку, был схвачен, приговорен к смерти, успел опять уйти, и - ты видишь! Ступай с богом! И если услышишь, что повесили русского мародера, вздохни и помолись за него. Кондуктор, почтальон! - прибавил он разбойничьим французским наречием. Садитесь и погоняйте, а

вы, ребята, назад за мною. Прости, Ветлин! Вот до чего доводит разврат молодых лет!" - Он захлопнул дверцы. Дилижанс покатился. Через час мы приехали в Монс.

Далее не могу описывать. На земле есть краски для изображения мрака, для подражания всем постепенностям отражения солнца, но самые лучи небесные неуловимы, неизобразимы. Я узнал Надежду, она узнала меня, узнала мою страсть, пламенную, чистую, безотрадную, узнала мое сиротство, страдания моего детства, заблуждения юных лет и возвращение на стезю добра - ее рукою, ее мыслью. Графиня поселилась в Схевенингене для употребления тамошних морских бань, я был у них ежедневно.

При наступлении осени нам сказан был поход... Я простился с Надеждою. Взаимная клятва - не принадлежать никому другому - была нашим последним словом. Мы переписываемся очень редко, только в самых важных случаях, и то языком холодности, равнодушия и светских приличий. Повторение, подтверждение моей любви заключается в условленном парафе, которым я оканчиваю

подпись своего имени. Думают, что якорь означает мое звание, - нет: он значит Надежду. Вот уже полтора года, что мы расстались. Графиня собиралась приехать в Петербург по своему процессу. Она жила врозь с мужем и пользовалась своим участком в общем имении, не заботясь о формах. Теперь муж ее умер, и его родственники отнимают у нее родовое ее имущество. Я жду ее, жду Надежды, как отсрочки смертного часа. Уверен, что она даст мне знать о своем приезде, однако везде ищу ее: когда бываю в Петербурге, езжу в театры, на балы: авось-либо! Гадаю на картах, но моя дама никак не хочет пасть на мою сторону. Я проиграл на нее в уме целые миллионы. С нелепою мыслию отыскать Надежду отправился я и на бал к Лютнину и нашел - вас! Я слышал о предстоящем вашем возвращении, думал, что вы уже в Петербурге, но не смел отыскивать. Прежняя жизнь набросила темную тень на мое существование. Меня чуждаются, бегают, смешав историю Хлыстова с моею, говорят, что я разбойничал в Голландии на больших дорогах и ограбил одну русскую графиню. Дайте злословию малую точку: лю-

ди распространяют ее на целый круг солнечный. Одна Надежда меня знает: теперь, вероятно, знаете и вы. Благодетель моего детства! Не отриньте меня. Постараюсь быть вас достойным.

Случай наделил вас сокровищем, за которое я отдал бы жизнь свою, если б она еще мне принадлежала. Это изображение младенца-ангела. Поверите ли, что это портрет моей Надежды? Такова она была, конечно, в своем младенчестве; такую преобразится, когда придет ей время улететь в свою небесную отчизну... Простите хитрость, употребленную мною для того, чтоб высказать вам, что у меня лежало на сердце. Изустно я не мог бы передать вам всего этого: при некоторых обстоятельствах моей жизни - я не мог бы взглянуть на вас; при других - не нашел бы слов, чтоб их выразить.

Сергей Ветлин

XLIX

Чтение этой искренней исповеди произвело в Кемском глубокое впечатление. Он долго глядел на подпись, желая удостовериться, точно ли это тот Ветлин, о котором гремит в

свете такая дурная слава, подошел к портрету дочери Берилова, поднял покрывало и долго всматривался в черты лица ее, повторяя в уме прочитанное. Ему теперь этот лик казался знакомым, своим, родным: в улыбке ангельской чудился ему привет давнишнего друга. Он опустил покрывало в раздумье. "Но отец Надежды умер - это точные слова Ветлина, а этот Берилов... может быть, иной! Нет! Не может стать: ее зовут Надеждою Андреевною".

Он горел нетерпением разгадать эту непостижимую тайну. Берилова не было дома уже недели четыре. Кемский велел позвать Акулину Никитичну и стал расспрашивать ее о семейственных отношениях живописца. Никитична разлилась широким и быстрым потоком слов, но в них нельзя было ни до чего добраться. Она поселилась у Берилова за десять лет пред тем, чрез полгода по кончине Настасьи Родионовны, и только от соседок слышала, что у Берилова была дочь, сирота без матери; что Родионовна оставляла ее без всякого призора, что Берилов, наконец, отдал ее в чужие руки и потом получил известие о ее смерти. Никитична не раз допытывалась у

самого хозяина своего о семейных его делах, но, как и во всем ином, не могла добиться толку, знала только, что он бросил свое дитя и никогда о нем не вспоминал. Кемский отпустил Акулину Никитичну: ее слова еще более смешали все его понятия. Бериллов нерассудителен, неосторожен, забывчив, бестолков, но сердце у него доброе: мог ли он бросить, забыть свое дитя? "Всякий человек есть загадка! - думал Кемский. - Мало ли людей, достойных уважения во всех отношениях, платят дань слабости своей природы в одном каком-нибудь пункте!"

Душевное участие в горестной судьбе Ветлина, недоумение и безотрадное чувство невозможности удовлетворить влечению своего сердца - все это подернуло душу Кемского мрачным покровом. Грудь его стеснилась, дыхание сжалось... Весеннее солнце, играя в окнах, манило его на чистый воздух. Он вышел на крыльцо. Это было в один из тех неизъяснимо приятных дней петербургского апреля, когда солнце как будто невзначай лучами благодатными согревает атмосферу и дает предчувствовать наслаждения лета. Воздух

был тих, свеж, но тепел. Птицы пели. Деревья стояли еще обнаженные, но травка на лугах уже пробивалась. Кемский прошел в сад. Подле оранжерей и парников выставлены были цветочные горшки. Заключенные дотоле в душной искусственной атмосфере, нежные растения пили в себя живительное дыхание весны.

Он шел далее и далее, к одному заветному месту, которого не смели касаться ни топор, ни заступ садовника. Один этот уголок из всего обширного сада, посреди которого построен был дом, занимаемый Кемским, оставался в первобытном своем состоянии; два вросшие в землю надгробные камня уцелели на бывшем кладбище. Вокруг них росли густые рябины, посаженные с незапамятных времен. Ветхая деревянная скамья прислонялась к дереву. При уничтожении бывшего тут кладбища новый владелец этого места получил от неизвестного лица записку, в которой просили его не тревожить покойников, лежащих в этих двух могилах. Он свято исполнил требование родственной любви: огородил это место, расчищал, складывал дерном, осыпал

песком и, продавая дом другому, включил в купчую условие о хранении двух могил в прежнем их виде. Между тем никто не приходил на эти могилы, никто о них не осведомлялся. Кемский услышал эту историю зимой, когда переехал в новую квартиру; с горестным чувством смотрел он в окно на опущенные инеем деревья, осенявшие этот укромный уголок. Не прошло полувека с тех пор, как оставлено это кладбище, а уже все следы его изгладились. Вздохи и стоны сетовавших над свежими могилами исчезли в воздухе, слезы плакавших иссыхали на сырой земле, приявшей в себя останки друзей и родных. Только две могилы из тысяч охраняются от общего уравнения, и они исчезнут с памятью тех, которые нашли в них приют и успокоение.

Земля еще не совершенно обсохла, и на тропинке видны были свежие следы. Кемский машинально шел по этим следам и очутился под рябинами. Кто-то сидел на скамье, опершись на трость и вперив глаза в надгробные камни. Кемский, увидев человека, хотел воротиться, но шелест шагов изменил ему.

Сидевший на скамье оборотился в его сторону; серебристые седины сверкнули из-под шляпы.

- Извините, - сказал Кемский, - я думал, что здесь нет никого.

- Ничего-с! - отвечал незнакомец, приподнялся с трудом, и Кемский увидел в нем Алимари.

- Алимари, друг мой! - вскричал он в испуге и кинулся к нему на шею. - Вы здесь! Узнаете ли вы меня? Узнаете ли Кемского?

- Князь! - воскликнул Алимари, и они обнялись в безмолвном восторге.

Когда миновали первые секунды радостного испуга, Кемский всмотрелся в Алимари, которого не видал с лишком семнадцать лет. Казалось, он не устарел с того времени, только высох и сгорбился; глаза его сверкали прежним пламенем, голос его раздавался в слухе и душе собеседника прежнею гармониею. Князь не мог не изъяснить своей радости, что видит его бодрого и здорового.

- Да, - отвечал Алимари. - Девяностотрехлетняя хижина разрушается, но жительница

ее не ветшает. Скажу более: теперь душе моей легче и свободнее: оковы тления не тяготят ее так, как в бывалые годы. Куда не достигнет глаз телесный, туда проникают взоры духа. А вы, князь?

- Я не одинок с некоторого времени и только теперь начинаю благодарить вас за сохранение моей жизни: еще есть люди, которым мое существование в мире может быть полезно и благодетельно.

- Живите для дружбы и добра! - возразил Алимари. - Они усладят ваше существование. Я же, по обету моему, пришел сюда, на север, сложить мои кости подле драгоценного мне праха. Зимой был я в Лиссабоне; теперь я здесь - вот могилы отца моего и матери. Я не плачу. Слезы у меня иссякли; они претворились во внутреннее ощущение тоски, надежды и умиления.

Друзья вошли в дом. Кемский предложил новому своему гостю у него поселиться. Алимари охотно на то согласился. С ближнего постоянного двора принесли его небольшой скарб, чемодан и сундучок, и он чрез час сидел уже дома, на диване, с старинным другом

и слушал повесть жизни его со времени разлуки в Триесте.

- Вот, друг мой, - сказал Кемский наконец, - что ожидало меня в этом свете, где вы заставили меня скитаться. Если б я истек кровью в Ницце, то не испытал бы много горя. Ужаснейшие из терзаний суть одиночество и разочарование в людях. Племянники мои, племянница - люди недостойные моей любви и уважения, и им я никогда не оставлю своего имени. Если б вы знали, как они терзали моих бедных крестьян! О собственном имении, о доходах, о деньгах я не думаю. Понуждаюсь, потерплю несколько времени, чтоб выручить имение из залога, а там - что бог даст! Дети Элимова не заслуживают моей любви; крестник его, Ветлин, один мне друг, родственник... Употреблю все силы, чтоб сделать счастливым хоть его. Злодеи не довольствовались тем, что лишили его всякой помощи, они развратили было его душу!

Никогда еще Кемский не отзывался о своих родственниках так решительно, никогда не дерзал называть их злодеями. Но в прежнее время они действовали против него одно-

го: теперь он вооружался за другого. Он рассказал другу своему о судьбе Ветлина и сообщил недоумения свои о дочери живописца Берилова.

- Вот она! Вот этот ангельский лик, который услаждает меня в минуты страданий и тоски душевной! - сказал он, отдернув покрывало.

Алимари смотрел на нее со вниманием.

- Портрет должен быть похож, - сказал он наконец, - такая выразительность не может быть вымыслом. А это вы? - спросил он, оборотясь к портрету Берилова.

- Видно, зрение ваше притупляется, - сказал Кемский, улыбаясь, - это портрет моего жильца и друга, добрейшего человека в мире, Андрея Федоровича Берилова, с которым я познакомился в Токсове, в тот самый вечер, как в первый раз увиделся с вами. Помните ли? Это было на другой день после странного видения на петербургском небе.

Алимари, вооружась увеличительным стеклом, посматривал на изображение дитяти, на портрет Берилова, на князя и размышлял о чем-то в недоумении...

Свидание с почтенным Алимари преисполнило душу Кемского благоговейною признательностью к Провидению: оно позволило ему увидеть в здешней жизни человека, к которому он был привязан всею душою. Теперь он еще с большим нетерпением ожидал Берилова, чтоб разделить с ним радость этой неожиданной встречи, воображал, как усладительно втроем будут жить во времена прошедших... Алимари душою действительно был прежний, но телом склонялся к земле. Можно было сказать, что он жил с солнцем: доколе благотворные лучи дневного светила озаряли горизонт, он ходил, говорил, действовал, как всегда или еще с большею ясностью, твердостью и силою, но при наступлении сумерек впадал в тихую дремоту и пробуждался не ранее восхода солнечного, тогда мало-помалу просыпалась душа его, и, когда солнце появлялось все на горизонте, исчезала и дремота его совершенно. Душа обновлялась. Все воспоминания в нем воскресали: он жил поспешно, быстро, жадно до нового наступления ночи.

Беседа друзей дня чрез два склонилась на

предмет, который задолго до того занимал их мысли. Кемский поведал другу своему, что прежняя мечта его живет с ним доньше, что она не оставляет его ни в шуме светской жизни, ни в тиши уединения.

- Я уже перестал называть ее черною женщиною, - сказал он. - Это моя Наташа! И прежде, в первые дни знакомства моего с покойною женою моею, я находил в ней поразительное сходство с моею мечтою; теперь обе они слились в одно, теперь появление милого призрака есть для меня награда, утешение, отрада. В зимние вечера она сидит подле меня, склоняясь на плечо мое, она закрывает нежною рукою усталые мои вежды, когда я кончаю дневные труды свои, она отходит от одра моего, когда я поутру открываю глаза. И в эту самую минуту, Наташа, я вижу тебя!

- Вы увидите ее, - сказал Алимари, - не в мечте! И я с священным трепетом помышляю каждый вечер об ожидающем меня блаженстве, думаю, не наступил ли уже час свидания с Антигоною и детьми моими? И погружаюсь в забвение земного существа моего, но воображение мое совершенно истоцилось: ника-

кое видение, никакой призрак не нарушает, не услаждает моего покоя. При восходе солнечном возникаю вновь из ничтожества и думаю: еще день! Боже мой! Чем долее ты меня испытываешь в здешнем мире, тем вернее моей душе залог благодати Твоей в будущем!

Кемский спросил у него, занимается ли он по-прежнему изучением природы.

- Это мое всегдашнее занятие, - отвечал Алимари, - хотя последствие всех моих наблюдений и умозрений одно и то же: знаю, что я ничего не знаю. Многие явления и случаи в жизни и в свете, кажущиеся нам теперь непостижимыми и чудесными, сделаются ясны и понятны со временем, но общие законы, по которым мир и все в нем сущее рождается, живет и преходит, останутся тайною. Успехи наши в течение тысячелетий - это десять шагов человеческих, пройденных муравьем на странствии вокруг земного шара. Но если бранными глазами, слабыми орудиями чувств, не могу проникнуть в глубину земного и небесного творения, мысль моя, не знающая вериг пространства и времени, возлетает к невидимому, но познаваемому средоточию.

К сознанию собственного нашего ничтожества необходимо присоединяется сознание верховного Разума, в котором теряется и мысль моя, и вся огромная видимая вселенная. Изучение природы ныне облеклось для меня светлым лучом духовного мира. Прежде сего удивлялся я, с одной стороны, огромности небесных светил, неизмеримости безвоздушного пространства, с другой - мелкости животных и растений микроскопических, старался истолковать себе восхождение существ от грубого безжизненного камня к совершеннейшему земнородному - человеку. Теперь, наоборот, мыслю низвожу на землю могущество и благость бога, духом его проникаю все, бывшее, сущее и будущее в мире, и дыханием его оживляю как гранитные утесы, так и мысли человеческие. Я удостоверился теперь, более нежели когда-нибудь, что смерти нет в природе, что видимые нами предметы, исчезая в вещественном мире, только принимают другой вид, и дух наш, оставляя бренное тело, стремится неведомыми путями к началу, недоступному в здешнем мире.

- Так вы принимаете общую жизнь во всей

природе, вечное круговращение, непрерывное самоизменение форм ее? - спросил Кемский.

- Принимаю это, - отвечал Алимари, - но причину существования и жизни природы нахожу вне ее, в существе высочайшем, премудрейшем. Нам невозможно вообразить себе в мире что-либо сущее без причины и без последствий. И самые злейшие безбожники согласны в том, что окружающий человека мир разнородных сил, являющийся в своих действиях на пего, должен иметь свою начальную причину. Они говорят, что эта причина всех явлений в мире заключается в таинственных, согласных между собою действиях сил природы, которых существа мы познать не можем. Природа, толкуют они, существует так от века, действовала так всегда, производила явления и перемены, сама того не зная. Следственно, по этому учению, самое совершенное существо в мире есть человек, ибо он сознает свое существование? Следственно, природа произвела существа, которые совершеннее, выше, превосходнее ее самой? Следственно, Вселенная есть мертвая

машина, которая сама себя не знает, а производит существа, достойные, в сравнении с нею, быть божествами? Нелепость этой мысли очевидна. Если, по законам моего разума, должна быть всему общая, начальная причина, то она не может быть несовершеннее меня. Эта чудесная гармония в мироздании, эти рассчитанные, измеренные, взвешенные законы тайных сил природы, движущих Вселенною, суть мысль столь великая, какой ни я, ни другой смертный никогда из себя родить не может. И из этой мысли вывожу я существование произведений ее, соразмерной с нею силы, самодеятельной и познающей, как душа моя, только в высшей, недостижимой, невообразимой степени. Во сколько крат дела рук и ума человеческого слабее, ничтожнее устройства вселенной, во столько крат мудрость и сила человека ниже мудрости и силы всевысочайшего существа. Не разрушая законов разума, не можем изгнать из мира сего всеустрояющей, владычествующей, всеоживляющей силы. Человек, по самопознанию души своей, по отличным своим качествам, стоит на высшей ступени в земном по-

рядке вещей. И важнейшее доказательство превосходства его есть то, что он разумом своим принужден верить в бога: он видит в боге источник своего существа и в душе своей созерцает отблеск вечного, святого виновника всего сущего в мире. Пусть своекорыстный лжемудрец не для убеждения других, а для удовлетворения своему тщеславию сбивает понятия, низет сомнения и мечтает быть великим, доказав, что нет бога! Глас всей природы заглушает его дерзкие слова! И этот глас громче всего раздается в глубине нашей души, которая есть отблеск, искра того духовного светила, вокруг которого вращаются мириады миров видимых. Есть бог всемогущий, всемилосердный - не мертвая природа, без воли, без самопознания! Я создание этого высочайшего, святейшего существа; я духом с ним один. Смерть меня не устрашает: она есть не уничтожение существа моего, а разрешение духа от уз, называемых у нас телом. Дух, исходящий от бога, знает свою родину: он стремится туда, из конечного в бесконечное, из временного в вечное. И в здешней жизни человек начинает воспитание свое для буду-

щей, освобождением себя от чувственного, земного, растительного, животного, пробуждением в себе жизни духовной. Чистота телесная есть охранение нашего тела от прикосновения безжизненной природы; чистота духовная освобождение души от наростов грубых, животных. Добрые дела, заглушение самолюбия, своекорыстия, зависти, гнева суть слабые подражания благодати вышней, мерцающие отблески солнечного луча, преломленного тучами и туманами земной атмосферы.

Изучение окружающей нас природы предшествует исследованию способностей и сил нашей души, и, познав свойство души своей, возносимся мы к вечному ее источнику. И здесь благодать небесная не оставляет нас, слабых и близоруких. Там, где земные наблюдения, сбивчивые умозаключения человека теряют нить в темном лабиринте, - возникает искра божественного откровения и ведет нас к началу света. Религия христианская есть окончание, довершение, освящение наших благоговейных наблюдений, и в ее учении разрешаются все вопросы, какие только могут возникнуть в уме человека о причине и

конечной цели существования мира и души его!

Л

Слова Алимари были прерваны шумом и криком в сенях. Кемский поспешил узнать о причине этого нарушения тишины в укромном его приюте и увидел в передней комнате Берилова, но в каком положении! Он был бледен, расстроен, глаза его сомкнуты; два человека ввели его в комнату под руки и посадили в кресла. Он открыл глаза, томные, мутные, и, увидев князя, сказал прерывающимся голосом:

- Слава богу, что еще вас вижу! Я думал, что живой не доеду. Отпустите этих добрых людей и дайте мне опомниться. Дайте пожить, чтоб я мог рассказать вам все-все!

Он впал в беспамятство от истощения сил этим продолжительным разговором. Его раздели, положили в постель, привели в чувство, напоили теплым чаем. Он заснул, но во сне вздрагивал, как будто от испуга, стонал и произносил невнятные слова.

Князь спросил у провожатых, кто они и откуда привезли Берилова. Один из них отве-

чал, что они служители живущего на петергофской дороге коллежского асессора Лемешева, у которого Бериллов провел несколько дней, занимаясь работою; дня за четыре он занемог, но сегодня утром болезнь его усилилась; он начал бредить и требовал, чтоб его немедленно отвезли домой. Желание его исполнили: дорогою он тосковал и жаловался, что живой до дому не доедет. Более люди ничего сказать не могли. Их отпустили.

Бериллов проснулся чрез несколько времени. Призвали врача. Он нашел, что больной страдает нервами, что болезнь его усилена, вероятно, испугом или каким-либо другим потрясением, что она может сделаться опасною. Это было сказано не в присутствии Бериллова, но он сам догадывался, что находится в сомнительном положении, и, лишь только собрался с мыслями, потребовал, чтоб князь непременно его выслушал. Какая-то сверхъестественная сила оживляла его душу; мысли его были связнее, выражения короче и яснее обыкновенного.

Кемский и Алимари с нетерпением и страхом сели подле его постели и узнали причину

страданий и испуга доброго артиста.

Он жил около месяца в Нарве у одного тамошнего помещика, человека доброго и зажиточного, и перерисовывал старинный альбом, в котором хозяин его на странствиях своих по разным землям Европы и Азии изображал предметы, казавшиеся ему достойными внимания. Работа кончилась. Помещик, привыкший в деревне рассчитывать всякую наличную копейку, впрочем, тороватый на хлеб-соль, заплатил Бериллову очень скудно.

Художник принял плату без возражения, но на прощанье заметил, что едва ли за эти деньги доедет до Петербурга. Тогда помещик взялся доставить ему случай проехать даром и в тот же день нашел попутчика, который согласился довести Берилова без платы с тем, чтоб он по приезде снял с него портрет. Что могло быть лучше этого? Простодушный Бериллов искренно поблагодарил своего хозяина за угощение и попечение и пустился в путь с новым своим знакомцем в покойном дормезе со всеми дорожными удобствами. Этот новый знакомец был Лемешев, один из самых искусных, бессовестных и опасных ябедников во

всей Российской Империи. Он приезжал в Нарву на юридическое совещание к сосланному туда на жительство взяточнику, имевшему надобность в его пособии для того, чтоб низложить и уничтожить врагов своих и доказать правительству и свету свою честность, бескорыстие и усердие к службе.

На первых верстах пути Бериллов, при всей недалёковидности своей, догадался, с кем едет. Коварный, зверский нрав Лемешева, гнусный образ мыслей, самые мошеннические правила, прикрываемые ссылками на законы и набожными возгласами, устроили боязливого художника. Он прижался к углу кареты, рассматривал лицо Лемешева, на котором изображалась яркими чертами черная его душа, и старался затвердить в памяти эту редкую физиономию, чтобы в случае надобности воспользоваться ею для изображения нечистого духа. Он не мог дожидаться приезда в Петербург, считал версты с нетерпением. Оставалось до города семь верст. Бериллов рассчитывал, что чрез час времени будет он в своем приюте, увидит своего ненаглядного князя, закаивался впредь отлучаться так да-

леко и ездить с чужими людьми. Вдруг карета своротила с большой дороги направо. "Что это значит, - спросил Бериллов в испуге, - разве нет прямой дороги?" - "Я живу на даче", - холодно отвечал Лемешев. "На даче, в апреле месяце? - подумал Бериллов. - Странный вкус!" Лемешев действительно жил на даче, но не по вкусу: ему воспрещен был за ябедничество въезд в столицу, и он основал свой разбойничий вертеп в семи верстах от Петербурга. Туда являлись к нему челобитчики за советами и пособием, помощники и поверенные его, практические ходатаи по судам - за наставлениями и приказаниями... Карета остановилась в версте от большой дороги у подъезда огромной дачи, окруженной рощею. Бериллов, вышедши из экипажа, поблагодарил Лемешеву за одолжение и объявил, что дойдет до города пешком. "А условие написать мой портрет?" спросил Лемешев. "Не премину исполнить, Степан Назарьевич, - отвечал Бериллов, - куплю новых красок, да и кисточки мои поистерлись. Не позже недели явлюсь к вам и все исправлю". - "Те, те, те! - захрюкал Лемешев. - Обманешь да в лес уйдешь. Знаю я вас, худож-

ников: вы все плуты, лентяи и пьяницы. Нет, братец! Уговор лучше денег: оставайся у меня, да исполни условие. До окончания портрета тебя не выпущу, а за красками да пензелями сам пошлю в город. Ты еще черт знает какой счет подашь за эту дрянь!"

Бериллов ужаснулся, догадавшись, в какие руки попал, но делать было нечего: он обязан был оставаться. В самом доме ожидали его картины и сцены еще неприятнейшие. У Лемешева была хозяйка, матросская жена, развратная, грубая, пьяная тварь, которой он во всем повиновался, и от этой четы произошли достойные ее исчадия, человек шесть уродов физических и нравственных. Лемешев нянчился с младшими, как орангутанг, и с наслаждением слушал рассказы старших о том, как они убивают собак и кошек, разоряют птичьи гнезда и крадут огурцы в соседних огородах. Бериллов прилежно занялся работою, и она шла с рук очень скоро, потому что вообще зверей писать легче, нежели людей, да и сам художник горел нетерпением вырваться из этой преисподней. Отвратительные явления, которых он был свидетелем, расстроили его

нервы: он чувствовал головокружение и дурноту. Сидя за жирным обедом и ужином Лемешева, который к прочим нравственным качествам своим присовокуплял обжорство и пьянство, он не мог ни есть, ни пить: всякая пища казалась ему там отравленною. В один вечер пьяный Лемешев подрался с нетрезвою своею Венерою и чуть было не прибил гостя, который хотел укрыть детей от его бешенства.

На другой день Бериллов проснулся с зарею и, раздумав о своем положении, чувствуя беспрерывно возрастающее изнеможение, решился собрать все силы и в этот же день кончить портрет, чтобы еще до вечера выбраться домой. Он оделся, сошел из светелки, в которой была отведена ему квартира, в нижний этаж, пробрался в залу, где обыкновенно работал, и тихохонько занялся своим делом. В ближней комнате, отделявшейся от залы досчатую стеною, раздавались голоса, в которых он с отвращением различил хриплый орган своего хозяина. Он продолжал работу, стараясь не слушать, что там говорится, но вдруг был поражен следующими словами, громко

прочитанными Лемешевым: "А вследствие сего и просят, дабы благоволено было помянутого дядю их, отставного полковника князя Алексея, княж Федорова сына Кемского, яко находящегося в сумасшествии, в силу высочайшего указа июля 8-го 1815 года, посадить в дом умалишенных". - "Браво! Лихо!" - закричал другой голос, и кто-то захлопал в ладоши. "Не бывал ли дядюшка ваш в Италии?" - спросил Лемешев. "Был, во время Суворова, - отвечал другой голос, - ранен, отдался в плен и под разными предлогами шатался там несколько лет; от этого и началось расстройство нашего имения". - "Весьма хорошо и прилично, - возразил Лемешев. - К доказательствам его сумасшествия прибавим, что он находится без ума и памяти, в какое беспмятное состояние люди легко приводятся в Италии, как то известно по статистике". "Благодетель, спаситель мой! - закричал второй голос. - Позвольте выпить еще за ваше здоровье!" - Хлопнула пробка, зашипело шампанское, и бокалы чокнулись.

Бериллов, ни живой ни мертвый, подошел к стене, отделявшей его от разговаривавших,

сел на стул, притаил дыхание и, прилежно вслушиваясь, узнал о гнуснейшем заговоре против его друга. У Лемешева сидел Платон Сергеевич Элимов, который за несколько времени до того принужден был выйти из военной службы по поводу пощечины (данной им или полученной - об этом показания разногласят) и теперь занялся устройением фамильных дел. Он объявил матери, что намерен спасти родовое свое имение, доказав, что князь помешался в уме и даже для общественной безопасности должен быть посажен на цепь. Алевтина изумилась, испугалась и умоляла сына бросить это намерение. Даже Тряпицын советовал оставить сии экстренные меры, обнадеживая Платона, что дядя его и без того скоро отправится на тот свет от своих сумасбродных воображений. Платон разбрал свою мать, едва не прибил вотчима и его наставника и обратился с своим иском к Лемешеву, которого ему рекомендовали как человека, весьма искусного в ведении тяжких дел. Платон производил это дело с согласия брата и сестры, которые дали ему совершенное полномочие, и, приезжая к Лемешеву

по вечерам, просиживал ночи с этим достойным помощником. Не было гнусности, которой бы они не вплели в свое прошение: Ветлина объявили они побочным сыном князя, а Хвалынского, управлявшего его именем, обвинили в подлогах, краже и грабежах, вследствие которых князь приведен в совершенную нищету, от чего расстроенный его рассудок еще более повредился. Бериллов слышал все это, потому что нынешнее совещание было окончательное: бумаги были изготовлены, только переписать на гербовой и подать. Когда пробило шесть часов, Лемешев и Элимов расстались с неоднократными лобызаниями и уверениями, с одной стороны, в усердном старании и неминуемом успехе дела, с другой - в чувствительнейшей благодарности.

Бериллов видел из окна, как Платон Элимов в партикулярной шинели, но еще в военной фуражке, сел на парные дрожки, и они полетели со двора. Испуганный, встревоженный артист с трудом взобрался в свою светелку и там, в ужасе и лихорадке, бросился на постель. Его долго дожидались внизу, но видя, что он не сходит, послали за ним слугу. Живо-

писец велел сказать, что он болен, что портрет кончен и что он непременно хочет воротиться в город. Лемешев не поверил слуге, отправился сам к своему гостю и действительно нашел его в величайшем расстройстве. Опасаясь следствий и посещения земского суда в случае скоропостижной смерти человека, забредшего к нему в глушь, он отправил его в Петербург с двумя слугами... Кончив рассказ с напряжением всех сил своих, Бериллов обнял князя и, вскричав:

- Спасайтесь, спасайтесь от этих злодеев! - опять лишился чувств.

- Вот вам, - сказал Кемский другу своему, - свидетельство образа мыслей и дел моих племянников!

- Ради бога, - возразил Алимари, - воспользуйтесь этим случайным открытием и предупредите если не несчастья, то большие неприятности. И одно свидетельствование вас со стороны правительства будет для вас тягостнее самого тяжелого процесса. Поезжайте, куда должно. Я присмотрю за большим.

Кемский обещал последовать этому сове-

ту, но не прежде того, как удостоверится, что Бериллов пришел в себя и успокоился.

LI

Но каким образом предупредить, отклонить исполнение адского замысла? Кемский решился обратиться к Алевтине, образумить, усостить ее. Он поехал к ней.

- Генеральши нет дома, - сказал ему швейцар, - изволили уехать в благотворительный комитет в пользу разорившихся в России французов, а генерал дома-с.

Кемский пошел к зятю. В передней не было никого; в других комнатах также. Князь дошел до кабинета, долго ждал кого-нибудь, чтоб о нем сказали, но потеряв терпение, отворил двери кабинета и вошел.

Фон Драк сидел за столом, подперши руками голову, в глубоком размышлении: он не слышал и не видал вошедшего.

- Иван Егорович, - сказал ему князь тихим голосом, - скажите, ради бога, что вы со мною сделали!

Фон Драк вздрогнул, услышав звуки его голоса, вскочил и бросился в его объятия.

- Так вы все знаете, князь! Простите ли вы

меня? - вскричал он голосом отчаяния.

- Знаю многое, - отвечал князь, - но все ли, не могу сказать.

- Так я вам открою! - возразил фон Драк. - Садитесь, выслушайте меня! Я несчастнейший человек в свете. Вся жизнь моя прошла в трудах, заботах, горе и страхе. Долее не могу терпеть мучений моей совести и обхождения со мною детей Алевтины Михайловны. Если бы вы не пожаловали ко мне, я сам отыскал бы вас избавьте меня от адских мучений. Ведь и у меня есть совесть - да-с, есть вера-с.

Он был действительно в исступлении. Глаза налились у него кровью, подбородок дрожал, все мускулы лица были в движении. Он задыхался и едва мог говорить. Что с ним сделалось? Отчего это раскаяние, эти порывы великодушия?

Фон Драк не был зол и коварен от природы. Лишась в детстве своем отца и матери, заезжих из Баварии в полуденную Россию, он был воспитан чужими людьми, строго и глупо, вступил четырнадцати лет унтер-офицером в армейский полк, вырос посреди безграмотных рапортичек, палок и горелки, нико-

гда не видал ничего далее своей команды, никогда не рассуждал, не смел противоречить другим, считая себя набитым дураком, и плыл в жизни по течению обстоятельств. В нем были начатки добра: трезвость, трудолюбие, бескорыстие, старание исполнить долг свой, вести себя честно и добропорядочно, угождать начальникам и повиноваться их воле, но все это было заглушено чувством своего ничтожества и боязнию, в случае умничанья, быть предоставленным самому себе и вследствие этого умереть с голоду. Иногда, измученный, растерзанный своими приближенными, он выходил из себя, но ненадолго: после бурного излияния внутреннего негодования он впадал в прежнюю бесчувственность и вновь переминал в себе убийственную мысль: что я значу на свете? Если меня бросят - я пропал навеки. По мере приближения старости эти мгновенные вспышки становились реже и реже, но тем тягостнее, томительнее было для него влачить свою безотрадную жизнь. Он мог еще повиноваться Алевтине, считая ее своею благодетельницею, мог слушаться Тряпицына, помня, что этот

человек не раз спасал его от беды, впрочем, обыкновенно им самим накликанной, но обращение пасынков и падчерицы преисполняло дни его горечью и страданиями. Григорий обращался с ним холодно, гордо, грубо. Платон смеялся ему в глаза, дурачил его при всяком случае и не раз при нем спрашивал мать, как она могла выбрать себе в мужа такого болвана. Китти вторила обоим братьям. Англичанин, конюх, взятый в дом для обучения ее верховой езде, к которой она имела страстную охоту, и сделавшийся потом ее задушевным приятелем, обходился с ним как с старою негодною клячею и, что более всего оскорбляло бедного старика, называл его при всех не иначе, как господин Дрек.

Главною виною безотрадности фон Драка было в нем отсутствие всякого возвышенного, духовного, религиозного чувства. Он рожден был в католическом исповедании и находился в детстве своем несколько времени на руках одного ксендза, который, вместо всякого наставления в учении и правилах церкви, заставил его вытвердить наизусть несколько латинских молитв без перевода и пояснения.

В полку он не мог усовершенствовать своего духовного воспитания, говел ежегодно, если случалась в месте стоянки полка католическая церковь, но исполнял это, как служебную обязанность: ежедневно должно быть на разводе, а ежегодно говеть. Вступив в брак с Алевтиной, он часто принужден бывал слушать насмешки над папою, над католическими обрядами и более и более отчуждался своего исповедания, впрочем, не приставая и к другому, ибо воспитатель успел внушить в него мысль, что римская вера одна в мире истинная.

Накануне того дня, в который явился к нему князь, бедный старик был свидетелем и жертвою ужаснейшей сцены между Алевтиной и ее детьми, требовавшими принятия крайних мер для возвращения имения, отнятого, как они говорили, у них князем Кемским. Фон Драк не мог вытерпеть неистовства своих пасынков, не имел и духу удержать их: он выбрался потихоньку из комнаты, надел сюртук, нахлобучил шляпу и вышел со двора. Сердце его было сжато, слезы столпились в глазах, но не могли выступить, дыхание зани-

малось. К счастью, на дворе уже смеркалось, в противном случае его могли бы почтить за сумасшедшего. Он шел по Невскому проспекту, сам не зная куда. Вдруг удары звонкого колокола возбудили его внимание: он посмотрел в ту сторону, откуда несся звон, и увидел себя подле паперти католической церкви. Двери церковные были отперты. Он машинально вошел в церковь. В ней господствовал мрак; вдали, в одном приделе теплилась лампада, и при ее мерцающем свете можно было видеть, что посреди церкви, на катафалке, стоит гроб. Фон Драк сел на скамью. Вдруг раздались тихие, унылые звуки органа и проникли в душу, непривычную к этим впечатлениям, но жестокою горестью к ним приготовленную. Слезы, неведомые дотоле слезы потекли по иссохшему лицу старца: он сам не знал, что с ним делается, что он слышит, видит, чувствует. Влево от него, на перилах кафедры, зажглась свечка, другая. Несколько человек подошли к кафедре, он за ними. На кафедре появился монах, человек не молодой, с кротким, страдальческим лицом, с выражением чувства и ума в томных глазах. Он на-

чал говорить проповедь на немецком языке. Фон Драк слушал со вниманием. Проповедник говорил о ничтожестве благ земных, о сокровище, уготовляемом добрыми делами на небесах, о том, что никогда не поздно принести богу покаяние в грехах своих, что всегда есть время человеку исправить свои проступки, но что надобно спешить, не страшась наветов и гонений света: лучше погубить тело, нежели душу свою.

"Кто из вас, любезные слушатели, - сказал он наконец, - может быть уверен, что завтра в эту пору он не будет мертв, подобно этому усопшему брату?" - и указал на гроб. Фон Драк взглянул в ту сторону и вздрогнул. Мысль о смерти, о Страшном суде возникла в первый раз в его уме и озарила пустыню его воображения. Проповедь кончилась. Он пошел вслед за монахом, заговорил с ним, проводил его в келью и просидел с ним до глубокой ночи. Он открыл свою душу достойному пастырю, просил у него совета и утешения и оставил его, перерожденный и обновленный. Ума у него не было, но было сердце - и это сердце лежало шестьдесят лет под гнетом безверия,

людской злобы и ничтожных земных и светских привычек.

Проснувшись на другой день, он с душевною отрадою припоминал вчерашний случай, повторял слова: "Лучше погубить тело, нежели душу свою" - и сбирался непременно отыскать князя, открыть ему все, испросить у него прощение. Но Алевтина, но дети ее, но Тряпицын? Что скажут они? Эта мысль его остановила и повергла в жестокую борьбу с самим собою. Он велел сказать Алевтине и всем домашним, что он болен, что имеет надобность в отдохновении, и остался весь день в своем кабинете. Никто о нем не заботился. Между тем страдания его дошли до высшей степени; он сбирался отправиться к вчерашнему проповеднику и просить у него совета, помощи, подкрепления: вдруг вошел в его комнату Кемский. Фон Драк обрадовался ему, как ангелу-избавителю, и уверился, что сам бог послал к нему шурина его для разрешения мучительных сомнений.

Кемский сообщил ему о намерении Платона посадить дядю своего в сумасшедший дом.
- Знаю-с, знаю-с, - отвечал фон Драк.

- Знаете и позволяете, Иван Егорович! На что это похоже?

- Да как бы я осмелился? - спросил фон Драк жалобно.

- Как бы вы осмелились быть честным человеком! Подумайте, что вы допускали; вы, глава семейства, человек почтенных лет, одною ногою стоите в гробу.

- Знаю-с, знаю-с, - отвечал фон Драк, - да-с, точно-с, одною ногою.

- Я никогда не имел намерения обижать вашу жену и пасынков: воля отца для меня священна.

- Какая воля-с?

- Вы знаете, Иван Егорович, что покойный мой отец завещал все свое имение, в случае моей смерти, своей падчерице. Если б он знал, каким страданиям и бедствиям меня подвергает!

- Знаю-с, знаю-с, - отвечал фон Драк, - знаю и более-с. Батюшка ваш никогда не оставлял этого завещания: оно подложное.

- Подложное? Помилуйте...

- Точно подложное-с. Вы его никогда не видели - не так ли-с?

- Никогда!

- Так извольте знать, что все это обман и фальшь-с.

Кемский с изумлением выслушал покаяние фон Драка. Отец его, больной, преследуемый настояниями, жалобами и слезами второй жены своей, написал было проект завещания в пользу падчерицы на случай смерти сына, но не подписывал его, не мог решиться на совершение действительного акта. Он умер, и чрез несколько времени появилось его завещание, составленное подложным образом, утвержденное неизвестно где и кем. Некому было оспаривать акт, некому было исследовать его подлинность. Княгиня Прасковья Андреевна и Алевтина Михайловна успокоивали свою совесть тем, что такова была воля покойника, написанная собственною его рукою, а форма-де - вещь посторонняя и излишняя. Элимов женился на Алевтине в той уверенности, что все имение ее вотчима принадлежит ей по закону. После брака стал он требовать крепостных актов, но старуха княгиня не хотела их выдать. Элимов, наскучив ее отговорками, воспользовался однажды

ее отсутствием, вошел в ее спальню, как, бывало, в Туретчине - в неприятельский город, выломал замок в комодѣ и вынул бумаги. Ничтожность этих актов узнал он по первому взгляду и в исступлении гнева хотел было все обнаружить пред правительством. Теща и жена с трудом убедили его не губить их; он обещал молчать с твердым намерением объявить об этом Кемскому, лишь только он выйдет в офицеры. Между тем он по привычке к роскошной жизни и со дня на день отлагал очищение своей совести. Однажды, раздраженный женою, он хотел было описать князю все дело, но в ту самую минуту получил извещение, что пришли свежие устрицы. "Устрицы! Подождем отказываться от имения!" - пробормотал он и поехал на биржу.

При всем том мысль об этом гнусном обмане его не оставляла и превратилась в самое мучительное чувство, когда он, тяжело раненный, увидел необходимость освободить душу от греха на этом свете. Он призвал к себе адъютанта и приказал ему, в случае своей смерти, непременно отправиться в Петербург и объявить жене и теще, чтоб они побоялись

бога и уничтожили воровской акт; в случае же отказа - принудить их к тому сначала угрозою, а потом и доносом правительству. Можно себе представить, каково было их смятение, когда фон Драк явился к ним с этим поручением. Они ужаснулись, увидев, что чужой человек обладает их тайною, уверили фон Драка, что Элимов, вероятно, в бреду выдумал эту историю, показали ему собственноручное завещание покойного князя. Но этого было мало. Фон Драк мог по глупости своей рассказать тайну другим - надлежало связать его неразрывными узами, и Алевтина решилась выйти за него замуж. Впоследствии принуждены были открыть историю завещания Тряпицыну, и от этого происходило, с одной стороны, что Алевтина ужасалась порывов гнева в своем муже, а с другой, что Тряпицын сделался властелином их судьбы: он мог одним словом осрамить, погубить их. Как при этом не вспомнить изречения одного писателя, ныне вышедшего из моды: "Только добрый человек свободен. Злые томятся в цепях, которые они сами на себя сковали!"

Дети Алевтины не знали этих обстоя-

тельств и полагали, что имение Кемского принадлежит им по всем правам, тем более что он, вероятно, умрет бездетным. Они подделывались к нему, чтоб выманить себе кое-что заживо, но когда эти маневры не удались, когда они увидели, по образу жизни князя, что дела его приходят в расстройство, то решились искать своего достояния, как они говорили, путем законов.

Фон Драк, кончив свою исповедь, прибавил:

- Теперь я все открыл вам, князь Алексей Федорович! Душе моей стало легче, но что будет со мною, когда о моей откровенности узнают Алевтина Михайловна, ее дети, Яков Лукич! Мне и так житья в доме нет-с. Ради бога, защитите несчастного от крайней гибели!

Кемский старался уверить его, что приложит все усердие к ограждению его от преследований, и сам в свою очередь просил, чтоб фон Драк подал ему средства к прекращению этого неприятного дела.

- Извольте, ваше сиятельство! - вскричал фон Драк. - Я отдам вам все ваши фамильные

бумаги, все-с! Покойный Сергей Борисович наказывал мне, в случае нужды, обратиться к правительству, давал полную волю: теперь я этим воспользуюсь. Ради бога, снимите с меня грех пред богом, а там (прибавил он с трепетом, смотря на портрет Алевтины, висевший над его письменным столиком) да будет воля божья! Да-с! Лучше погубить тело, нежели душу! Вот-с, - сказал он Кемскому, подавая кипу бумаг, - отчеты по управлению вашим именем. Я составлял их сам, по документам Якова Лукича. Уверяю вас честью, что в них все записано. Ей-богу-с! И они давно готовы, да-с, готовы-с.

- Так что ж вы мне их не доставляли? - спросил князь.

- Не посмел-с, ваше сиятельство! Я человек военный, не законник, не знаю всех счетных форм - так я просил Якова Лукича просмотреть да поисправить-с. Он начал было приводить их в порядок и около половины поочистил, потом же, как вы изволили съехать на Выборгскую сторону-с, так с тех пор ему недосужно было-с. Следовало бы, по надлежащем исправлении, переписать на основании уза-

конении по счетной части, да, ей-богу-с, не могли удосужиться. Извините великодушно-с. Потрудитесь посмотреть, так увидите-с, а я между тем пойду в спальню-с и принесу все прочее-с. Ей-богу, так-с!

Кемский, оставшись один, начал перебирать счета, не думая впрочем, поверять их. Перевертывая листы, он в самом начале остановился на расходах, причиненных родами Наташи, смертью дочери, гибелью матери. С тяжелым вздохом прочитал он имена первейших петербургских врачей, которых, как видно было из счетов, осыпали деньгами для облегчения страданий и сохранения жизни княгини. Бледными чернилами фон Драка поставлены были суммы довольно значительные, дегтем Тряпицына выправлено вдвое. С трепетом сердечным князь следил на безмолвных листах различные эпохи своего бедствия и вовсе не думал огорчаться явным плутовством. Он хотел узнать, когда окрестили дочь его, когда схоронили. Первое он нашел: священнику, дьякону, дьячку и пр. в день разрешения от бремени столько-то, столько-то, но далее след исчезал совершен-

но. Только осталось черновое письмо Алевтины в ответ Хвалынскому на вопрос о обстоятельствах гибели княгини. Она извещала его, что княгиня, испуганная по неосторожности своей собеседницы, разрешилась от бремени дочерью; что дочь эта скончалась через два часа после рождения, а княгиня впала в сумасшествие и по прошествии двух недель, обманув окружавших ее людей, вышла из дому и утопилась в Неве. На другой день полиция нашла на берегу, подле Литейного двора, бывший на ней платок. Тела не могли отыскать. Это письмо было известно Кемскому: Хвалынский сообщил ему подлинник, но ему и страшно и любопытно было видеть черновое: оно было написано Алевтиною, несколько раз выправлено разными руками и сохранилось в бумагах потому, вероятно, что на нем отмечены были некоторые выдачи. Кемский не проронил ни буквы: вдруг поразили его следующие слова, руки фон Драка, написанные карандашом: "Октября 23-го (это был день разрешения Наташи) на отвозение младенца в Воспитательный дом 50 копеек; за труды при сем случае Пелагее - 2 рубля".

- Это что? - спросил он грозным голосом у фон Драка, вошедшего в ту минуту в кабинет с кипюю бумаг под мышкою.

- Что такое-с?..

- Какого младенца отсылали вы в Воспитательный дом? - повторил он, задыхаясь от гнева.

- Ей-богу-с, не помню-с, - отвечал фон Драк с трепетом.

- Как не помните? Чья же это рука? - вскричал он в исступлении, взяв его одною рукою за сюртук и другою показывая ему бумагу.

- Ах, боже мой-с! Откуда вы взяли эту бумагу-с? Бедовое дело-с!

- Откуда взял? Вы сами мне отдали. Скажите, что это значит, или я за себя не отвечаю. - Фон Драк просил князя поуспокоиться и обещал все рассказать. Кемский усмирив в себе на время порыв отчаяния и выслушал его.

Фон Драк признался ему, что дитя, свезенное в Воспитательный дом, было дочь его.

- Вас считали убитым-с, - говорил он, - княгиня лежала в беспомощности-с, и мы ежеминутно ждали ее кончины. Так Алевтина Михайловна и Яков Лукич рассудили отдать

младенца на воспитание-с. Что-де он, то есть ребенок, знает-с? Как прожить ему в свете круглою сиротою-с? Заменят ли чужие люди отца и мать-с! А опекуны и попечители - все плуты-с. К тому же в то время конфирмованы были новые штаты для Воспитательного дома-с, заведены были покойные кареты для кормилиц - этак и решились, как ни жалко было-с, новорожденного младенца, окрестив, отправить на попечение правительства-с. А я, впрочем, ни в чем не виноват-с. Даже не могу сказать, какое было дано имя при крещении-с. Ей-богу-с!

Кемский сидел в забытьи, переминая в руке бумагу. Он не отвечал своему зятю ни слова, вдруг вскочил, схватил шляпу и бросился из дому; сел на дрожки и велел гнать к Воспитательному дому.

Фон Драк изумился: князь перенес равнодушно потерю своего имения, спокойно выслушал историю фальшивого завещания, а от такой безделицы, от того, что новорожденного, бессмысленного ребенка отдали в Воспитательный дом, пришел в бешенство. "Чуть ли не прав Платон Сергеевич!" - думал он, качая

головой.

Кемский приехал к начальнику Воспитательного дома и просил его справиться по книгам, что случилось с младенцем женского пола, принесенным в дом такого-то числа, месяца и года. Желание его исполнили без замедления, но по справке с книгою оказалось, что в тот день не было принесено ни одной девочки. На другой, на третий день принесено было несколько.

- Что значат нули против имен в другой графе? - спросил Кемский.

- Сии дети умерли, - отвечали ему.

Он мял безмолвный лист книги, глядел пристально на имена принесенных около того времени детей и не знал, что делать. В каком он был положении - сказать невозможно. Это было какое-то мертвенное оцепенение: ему казалось, что весь мир вокруг него превратился в ничто, что он носится в беспредельном пустом пространстве, ищет чего-то глазами, слухом и осязанием и ничего найти не может. В наружности это не было заметно, только необыкновенная бледность лица, неподвижность глаз и редкие вздрагивания

изменяли внутреннему борению.

Уверившись в бесполезности своих розысков, он вновь отправился к зятю. Фон Драк сидел в кабинете и приводил в порядок бумаги, раскиданные неистовым князем. Кемский объявил ему, что ребенка в Воспитательный дом не приносили, и требовал подробнейшего объяснения.

- Да не утратились ли книги-с? - спросил фон Драк. - В гражданской службе и в канцелярском порядке это иногда случается-с!

- Нет! Нет! - вскричал князь. - Книги целы, но в них нет того, чего я искал. Объясните мне это дело или я поступлю с вами и со всеми вашими, как с злодеями и смертоубийцами.

- Успокойтесь, ваше сиятельство, - отвечал фон Драк, - мы в скорейшем времени объясним этот казус. Женщина, отвозившая новорожденную княжну в благотворительное заведение, жива и находится у нас в доме-с. Она покажет вам по всей справедливости-с.

- Где она? Позовите ее, ради бога!

Фон Драк отправился и чрез несколько минут воротился с старухой Егоровною, покро-

вительницею Ветлина. Узнав, в чем дело, она бросилась князю в ноги и молила простить ее. Князь умолял ее рассказать, когда и как она отдала ребенка в Воспитательный дом.

- Виновата, батюшка, виновата! Не отдавала.

- Где ж он?

- А бог знает!

Старуха рассказала, что по разрешении княгини от бремени Алевтина призвала ее в свою комнату и, осыпав, против обыкновения своего, ласками, поручила ей снести новорожденную в Воспитательный дом, обещала, в случае исполнения этого дела, отпустить на волю и ее и детей ее, а если она не согласится или не сделает, грозила отдать сына ее в солдаты, а дочь в работу на фабрику. Егоровна слезно просила избавить ее от такого тяжкого греха, но слово было вымолвлено, и Алевтина поклялась ей пред образом, что непременно исполнит свои угрозы. Егоровна согласилась. Алевтина сама вынесла ей ребенка, закутанного в одеяло. Яков Лукич достал, неизвестно откуда, мертвое тельце, и его свезли на кладбище. Егоровна, заглушая в себе вопль сове-

сти и веры, отправилась с ребенком к Красному мосту и искала в обширном здании Воспитательного дома того места, где принимают детей. Нечаянно набрела она на толпу воспитанниц, шедших попарно по двору. На бледных лицах их начертаны были тоска сиротства и одиночества, отсутствие любви родительской и благодарности, которых ничем заменить не можно. Они шли медленно, без всякого выражения детской веселости; одна девочка прихрамывала, другая горько плакала. Егоровна взглянула на них и ужаснулась. Она в эту минуту вообразила, что несчастный младенец, который теперь покоится на руках ее, обречен этой же безотрадной судьбе, что дочь князя Алексея Федоровича и княгини Натальи Васильевны, добрых, кротких, великодушных, вырастет посреди сих несчастных существ, от которых родители отказались в час их рождения. Она решилась не отдавать ребенка, принести его обратно домой и объявить барыне, что не принимает на себя этого греха. Действительно она воротилась домой, но, лишь только вошла во двор, услышала голос Алевтины Михайловны:

- Федька! Дуняшка! Где это запропастилась Пелагея! Всех пересеку, да этого еще мало!

Несчастливая мать опрометью бросилась со двора назад, но в страхе забежала не в ту улицу, не знала, где очутилась, боялась спросить, куда идти: ей казалось, что, с одной стороны, преследует ее полиция, с другой - Алевтина. Начало смеркаться: пора явиться домой. В этом недоумении увидела она дрожки, от которых отошел кучер. На дрожках стояла большая корзина, прикрытая холстиною; глядь под холстину, там лежат какие-то свертки, но есть еще место. Егоровна положила туда спавшего ребенка, а сама опрометью побежала в сторону. Раздался стук дрожек; сердце у ней сжалось; она очутилась пред церковью Спаса на Сенной; шла вечерня. Бедная в отчаянии кинулась в церковь, пала ниц пред алтарем и молила бога сохранить и призреть несчастного младенца.

Дома ожидала ее Алевтина Михайловна с величайшим нетерпением и допытывалась о причинах замедления. Егоровна отвечала, что долго не могла найти дороги, и тем дело кончилось. Ей дали два рубля. Сына ее отда-

ли, по желанию его, в ученье к парикмахеру, а дочь - в модный магазин, и вообще с тех пор начали обходиться с нею человеколюбиво. Егоровна не могла утешиться, проклинала злодейку, виновницу своего греха, но, боясь гнева князя Алексея Федоровича за потерю дитяти, не дерзала ему открыться, как прежде намеревалась...

Кемский был в оцепенении: он не слышал, не видел ничего, что после того вокруг него происходило.

- Этого еще не доставало! - произнес он наконец, поводя себя руками по лбу и как будто сомневаясь еще в своем существовании. Фон Драк отдавал ему отчеты и бумаги.

- На что это? - спросил князь.

- Не прикажете ли доставить их вам после? - молвил фон Драк.

- Очень хорошо, как угодно! - отвечал князь, взял шляпу и, не простившись с хозяином, вышел из комнаты.

Фон Драк, оставшись один, почувствовал всю неосторожность своих поступков. Он сам не знал, как случилось, что он открыл князю все злодеяния жены своей. Старуха Егоровна

стояла еще в его кабинете и плакала. Вдруг раздался под воротами стук Алевтининой кареты.

- Барыня приехала! - вскричала старуха с ужасом и бросилась из комнаты.

- Приехала! - повторил фон Драк с трепетом. - Что будет со мною?

ЛII

Князь воротился домой поздно. Все спали. Он не спрашивал ни о больном, ни об Алимари. Отдав Мише фуражку и шинель, он вошел в спальню, сел в кресла и сказал:

- Поди! Я позову тебя, когда надобно будет.

Миша повиновался, вышел в залу и присел в ожидании зову. Но князь не подавал никакого знака. Несколько раз устрешенный слуга подходил к двери и смотрел в замочную скважину. Князь неподвижно сидел в креслах, уставив глаза на портрет дочери Берилова. В глазах его выражалось внутреннее борение, мускулы лица иногда приходили в движение, но дыхание его было свободно, и ни один вздох не вырывался из груди. Видно было, что тело его здорово и спокойно, а страждет одна душа, и страждет жестоко. Миша долгое вре-

мя бодрствовал, но наконец должен был уступить природе - уснул.

Проснувшись от действия ярких лучей восходящего солнца, он испугался при мысли, что барин, может быть, его не докликался: подошел бережно к дверям и увидел, что князь, все еще сидя в креслах, покоится тихим сном. На лице спящего изображалось спокойствие, даже удовольствие: казалось, сладостные мечтания утешали во сне его утомленную наяву душу. В самом деле, изнеможенный сильными впечатлениями того дня, он долго сидел в каком-то тягостном забвении, но когда силы телесные отказались ему повиноваться, он впал в дремоту, и сон на легких крыльях своих перенес его в отрадный для страдальца мир таинственных мечтаний. И там сначала носился он над бездонными, темными пропастями, во мгле и тумане, разрезаемых молниями, среди страшных чудовищ, зиявших на него кровавыми глазами, но мало-помалу это брожение стихии и враждебных духов улеглось и стихло; воздух очистился; солнечные лучи осветили его на лугу, подле оврага, где он играл во младенчестве. Наташа, в чер-

ном платье, шла подле него, взяв его под руку, и вела за руку прекрасное дитя, лет трех. Вдали, за оврагом, стояли Алимари и Бериллов и, казалось, звали их к себе. Это усладительное сновидение не прекратилось вдруг испугом или внезапным потрясением, а разлилось туманными видениями в глазах мечтателя. Сначала исчезли отдаленные лица друзей его, но тогда Наташа и дитя прижались к нему ближе, ближе, - он давно уже не спал, когда милые лики теснились еще к его сердцу. Опамятовавшись, он встал, подошел к окну, взглянул на землю, оживленную вечным солнцем после временного ночного сна, обратился к портрету дитяти, приподнял покрывало.

- Надежда! - сказал он протяжно. - Не обманяй меня!

Искренняя молитва к богу завершила ожидание души и подкрепление сил его. Когда Алимари вошел к нему в кабинет, князь был тверд и спокоен.

- Что наш больной? - спросил он с участием.

- Не очень хорошо, - отвечал Алимари, - ис-

пуг подействовал на его тело и на душу сильным образом, но - странное дело! - действие этого потрясения является в душе совсем не так, как в теле. Физический состав его ослаблен, расстроен, раздражен до чрезвычайности, но душа его, нежная и прекрасная, теперь является во всей своей чистоте - и это заставляет меня опасаться дурных последствий для его здоровья и для самой жизни. Вчера, после обеда, он заговорил со мною так доверчиво, откровенно, и притом так ясно, так отчетливо, что я усомнился, тот ли это Бериллов, о котором вы мне рассказывали. Он как будто спешит открыть свою душу, боится умереть, не кончив расчета с здешним миром. Я спросил, нет ли у него родственников. "Нет! - отвечал он. - Я вырос в свете круглым сиротою. Меня отдали в академию на седьмом году: как это было, что происходило прежде того, не знаю. Помню только, что чувство сиротства терзало меня с самых нежных лет. Наступало воскресенье, праздник, к товарищам моим являлись родители, родственники, друзья, знакомые. Я был один. Мне дали по экзамену золотую медаль. Как охотно поменялся бы я

этой медалью с моим товарищем: он получил серебряную, но показал ее своей матери; она в радости заплакала и обняла сына своего с горячностью. Когда наступило время выпуска и мне следовало получить свидетельство, я справился в списках воспитанников и увидел отметку подле моего имени: "Неизвестного происхождения, принят по приказанию высшего начальства". Старик швейцар академии сказывал мне, что меня привез туда старичок священник - и только. Эта неизвестность моего рождения, моего звания очень меня огорчала: не знаю почему, я стыдился своей безродности и бог знает что бы дал, если б мне можно было назвать своим отцом первого раба или нищего. Только в те минуты, которые я посвящал занятию художеством, был я свободен от преследования этой тягостной мысли. Я не имел духу сообщить ее никому, даже благодетелю моему, князю, и бегал по свету, чтоб уйти от нее". "Так у вас нет и не было никого родни?" - спросил я. "Было одно существо, отвечал он, - которое меня привязывало к себе, но его уж нет на свете". "Дайте мне взглянуть на нее! - примолвил он. - Велите

принести ко мне портрет ее". Я снял со стены портрет дитяти и подал ему.

"Наденька! - сказал он с глубоким вздохом, - бог дал мне, бог и взял тебя!" - "Так она умерла?" - спросил я. "Умерла - и не на моих руках. Где мне было усмотреть за ребенком! Настасья Родионовна, правду сказать, не очень хорошо и опрятно ее держала. Однажды приехала ко мне для заказа работы графиня Елисавета Дмитриевна Лезгинова, увидела Наденьку и влюбилась в нее. Ребенок в самом деле был прекрасный, умный, ласковый. "Что это, - говорит она, - держите вы дочку так неопрятно?" - "Как мне присмотреть за нею, ваше сиятельство? Работаю весь день, а иногда и по целым дням дома не бываю". - "У меня нет детей, уступите мне дочь вашу. Я буду воспитывать ее, как родную. Давно искала я такого дитяти. Даю вам честное слово, что не упустию ничего для ее воспитания, для ее счастья". Что мне было делать? Я взглянул на Наденьку, подумал: "Ты не вправе мешать ее счастью", - и согласился. Мы ее обмыли, вычесали, принарядили, и на другой день я свез ее к графине. Там ее мигом переодели в тонкое

белье, в новое, щегольское платье, надавали ей сластей, игрушек и всего, что только вообразить можно. Я от души радовался счастью бедной сироты. Графиня оставила меня у себя обедать. В гостях у ней было множество знатных людей. Трудно и неловко было мне в этой компании, но я надеялся как-нибудь высесть. Только, на беду мою, один какой-то барон, недавно приехавший из Италии, вздумал толковать о художествах и понес такой вздор, что у меня уши завяли. Однако я скрепился, молчу. "Что ж вы ничего об этом не скажете, Андрей Федорович?" - спросила графиня. Я почел долгом сказать правду и отвечал, что барон судит, как сторож в академии. Барон рассердился, начал спорить, грубить; я вдвое, и кончилось тем, что нас с трудом разняли. Графиня крайне прогневалась на меня за эту дерзость: барон был ей племянник. И если б она при всех не объявила, что берет к себе дочь мою, то непременно отослала бы ее назад. Я пошел домой, проклиная глупую мою запальчивость. На другой день получил я уведомление, что графиня уехала в Ревель и увезла Наденьку с собою. Признаюсь в слабо-

сти: расставшись с бедным ребенком, я мало о нем заботился. Через год места, получил я от графини письмо, в котором она просила меня, чтоб я отказался от Наденьки, чтоб никогда не предъявлял на нее своих отеческих прав и предоставил ее в полную волю графини. Я, может быть, и согласился бы, да к этому предложению она прибавила обещание дать мне, в случае моего согласия, тысячу рублей. Что ж это значит? Я должен был продать ее, продать этого ангела! Нет, нет, ваше сиятельство! Я написал к ней письмо, то есть написал его, по моим словам, один мой друг, человек умный, ученый. Письмо было написано, вложено в конверт, но не запечатано; я ждал почтового дня. Вдруг получаю от нее, то есть от графини, письмо с черною печатью. Что б это было такое? Она уведомляла меня, что Наденька скончалась. Жаль мне ее было, да делать нечего. Письмо мое к графине осталось неотправленным. Таким образом, лишился я и одного существа, которое бог даровал мне в этой жизни. Портрет этот, написанный мною очень счастливо, - вот все, что осталось у меня после Наденьки. Этот портрет отдал я то-

му, кто мне всех дороже, князю Алексею Федоровичу. Так! Он дороже мне всех людей в свете, и если мне придется умирать, то с ним одним мне тяжело будет расставаться. Благодаритель, утешитель мой!"

Вдруг раздался крик Акулины Никитичны в другой комнате:

- Помогите! Помогите! Кончается.

Алимари и князь бросились к Бериллову. Он лежал в постеле, на высоком изголовье, почти сидя. Руки его были сложены крестом. На бледном лице вспыхивала краска. Глаза выкатились и на что-то глядели пристально.

- Вижу, - говорил он протяжно, - вижу берег, конец. Вижу эту картину, не я писал ее, но я ее помню. Вот они - бегут за нами, злодеи! Нянюшка, спаси меня! Не бросай - ах! Страшно, страшно! Падаю, лечу! - Он умолк, зажмурил глаза. Через минуту открыл их, увидел, узнал князя и сказал тихо: - Ах! Это ты, друг мой! Приди ко мне в последний раз! - Он протянул к нему руки. Князь обнял его. - Как я рад, что еще раз тебя увидел, - слабым голосом произнес Бериллов, теперь все кончено! Прости! - Он покотился на изголовье. Послы-

шалась хрипота предсмертная. Бледность покрыла его лицо.

Князь закрыл ему глаза со слезами искреннего огорчения. Алимари вывел его в другую комнату. Князь, выплакав первое горе, непременно хотел еще раз взглянуть на лицо доброго Берилова, пока перст тления еще его не коснулся. Он вошел к нему. Алимари провожал его. Покойник лежал еще в постеле. На лице его изображались спокойствие и удовольствие. Уста сжаты были с улыбкою: казалось, он глядит на прекрасную картину. Князь смотрел на него с умилением и припоминал жизнь свою, проведенную со времени знакомства с добрым артистом. Крупные слезы катились по его щекам.

- Видите ли, узнаете ли вы его, князь? - спросил Алимари.

- Кого?

- Вашего брата!

- Брата? Вы полагаете...

- Не полагаю, а точно знаю. И при жизни его замечал я необыкновенное сходство с вами, возраставшее с течением лет, а теперь, когда смерть совлекла с лица его случайную

кору обстоятельств, воспитания, привычек - оно приняло свой истинный, первоначальный вид. Если б вы могли сами это видеть!

Князь бросился на мертвое тело и облобызал охладевшие уста.

- И я любил его как брата! - сказал он. - Но для чего судьба не позволила нам при жизни узнать истину?

- Вы знали, вы любили друг друга! - сказал Алимари. - Благодарите Провидение.

LIII

Одно из этих сильных потрясений могло бы взволновать, поколебать, истерзать Кемского, но стечение всех их в одно время произвело в нем какую-то сверхъестественную твердость, усилило в душе его веру во всеблагое, неисповедимое Провидение и дало ему силы перенести испытания еще сильнейшие.

Мысль о дочери наполняла всю его душу, но в душе его был простор и для любви братской, для дружбы и благодарности. Он положил похоронить брата своего на том месте, где его лишился, и над прахом любезным и драгоценным построить храм для принесения богу молитв благодарственных.

По миновании первых минут оцепенения, произведенного неожиданным жестоким ударом, друзья отправились в комнату Берилова, чтоб привести в порядок его имущество, принадлежащее отныне дочери, которую он почитал умершею.

Это имущество состояло из множества рисунков, конченных и неоконченных, которые во всех своих видах запечатлены были гением творческим и пламенным воображением. Душа Берилова жила именно в этих творениях, произведенных им не по заказу других, не по влечению нужды, но по свободному вдохновению, в часы видений божественных.

- Как вы думаете, князь, - спросил Алимари, перебирая прекрасные рисунки с наслаждением знатока, - обрадовало ли бы артиста открытие его породы? В молодые лета, не спорю. Но ныне, когда он свыкся с своим благородным званием, оно было бы ему в тягость и преогорчило бы последние дни его жизни. Он был бы выдвинут из своей сферы, насильно перенесен в другой, чуждый мир, а вы говорите, что он боялся и нового сюртука. Одно утешило бы его - открытие, что вы брат ему,

но это открытие сделал он теперь и так!

- Это что? - спросил князь, подняв из кучи рисунков, которыми был наполнен ветхий сундук, двумя пакета: один, большого размера, запечатанный и надписанный на имя Берилова. Весь он покрыт был глазками, головками, цветками, арабесками руки покойника, набросанными карандашом, и, как видно было, в разные времена. Кемский распечатал этот пакет и нашел в нем похвальные листы воспитаннику академии Бериллову, свидетельство на золотую медаль и еще несколько других бумаг при следующем письме:

"Любезный друг, Андрей Федорович! При выпуске нашем из академии ты, взяв свидетельство из рук президента, вышел в открытые двери на свободу. По окончании акта начали тебя искать, чтоб отдать тебе аттестаты и другие бумаги, может быть, для тебя важные, но не могли доискаться. Я взялся доставить тебе эти бумаги, но вот прошло пять лет, что я не могу найти тебя дома и залучить к себе. Отправляясь завтра в Италию, считаю обязанностью препроводить их к тебе. Остаюсь верный товарищ и друг твой

Василий Рифеев.

18-го мая 1796 года"

- Узнаю моего друга! - воскликнул Кемский. - Он забыл в академии свои аттестаты, получил их чрез пять лет и в двадцать лет не мог удосужиться, чтоб распечатать пакет!

В числе бумаг была копия с прошения священника села Берилова, Вятской губернии, о принятии сироты в академию. Священник говорил, что в 1772 году, спасаясь на пути из Астраханской губернии в Вятку от преследований разбойничьих шаек Пугачева, он где-то, в какой губернии, не помнит, услышал крик младенца, остановился и нашел на дне глубокого оврага мальчика, как казалось, от роду менее году, поднял его, и в ту минуту раздались вопли, крики, выстрелы. Он бросился на повозку и поспешил далее. По прибытии в дом свой он решился воспитать найденныша наравне с своими детьми и действительно содержал его пять лет, но ныне, не имея средств дать ему приличное воспитание, просит о принятии его в Академию Художеств, потому особенно, что ребенок большой охотник рисовать и исписал дома углем

и мелом все стены. Ребенок этот должен быть не из простого звания: на нем было тонкое белье, помеченное словами Анд. Фед., и на шее золотой крест. Его называли, поэтому, Андреем Федоровичем, а прозвище дано ему от села, в котором он воспитан. На просьбе была и резолюция И.И. Бецкого: Принять.

- Теперь нет никакого сомнения, - сказал Кемский, - брата моего звали Андреем, и, странно, когда я называл Берилова по имени, мне иногда чудилось, что брат мне откликается.

Алимари развернул другой пакет, незапечатанный и надписанный: "Ее сиятельству графине Елисавете Дмитриевне Лезгиновой" - и начал читать его вслух:

"Милостивая государыня! Я получил почтеннейшее письмо ваше, в котором вы, описывая чувства любви и привязанности к моей Надежде, изъявляете желание взять ее на место родной своей дочери. Что могло б быть для меня лестнее и приятнее! Я не в состоянии не только дать ей порядочное воспитание, но и присмотреть за нею. И я, конечно, без всякого отлагательства согласился бы на

ваше милостивое предложение, если б вы не присовокупили к тому обещания выдать мне тысячу рублей, в случае моего согласия отречься от моей дочери, не называться отцом ее, уступить вам все права, никогда не видаться с нею. Милостивая государыня! Подумали ль вы, что вы делаете? Можно ли было предлагать сие отцу? Можно ли было вообразить, что найдется человек, который в состоянии взять деньги за уступку своего детища? И вы сделали это предложение художнику, человеку, обрешему себя на служение благороднейшее в мире? Если б вы знали, как этим меня огорчили, то, конечно, почувствовали бы в сердце своем жесточайшие угрызения совести! Оставьте при себе свои деньги! Ради бога, забудьте, что вздумали предлагать их мне! После этого вы, конечно, ожидаете, что я стану требовать у вас возвращения Надежды, что возьму назад слово, которым отдал ее вам на воспитание! Нет, ваше сиятельство! Пусть она останется у вас, пусть пользуется вашими милостями, вашею любовью. Я не имею права лишать ее счастья, которое дано ей провидением, приведшим вас в дом мой и внушив-

шим в вас с первого взгляда сострадание и любовь к несчастной сироте. Я должен открыть вам тайну, которую хотел было сохранить до могилы. Надежда не дочь мне. Важное обстоятельство принуждало меня скрывать это, и только крайность, только мысль о том, что дальнейшее умолчание может быть вредно ей самой, заставляет меня сказать истину. Вообразите мое положение. Когда ей минуло два года, я, в одну из тех счастливых минут вдохновения, которые и у великих артистов не часто случаются, вздумал написать ее портрет - вышло одно из лучших произведений моей кисти, и я выставил это произведение при открытии академии. Президент наш, осматривая выставку предварительно, остановился пред этим портретом, восхитился им и сказал: "Прелестно, несравненно! Это не может быть вымыслом. Конечно, это портрет вашей дочери?" Я был осчастливлен, восторжен приветом этого почтенного любителя художеств и в то же время сердился на одного из его спутников, который, став между картиной и окошком, загородил свет и тем лишил ее половины достоинства. "Это, конечно, дочь

ваша?" - повторил президент. "Точно так-с, ваше сиятельство!" - отвечал я, запинаясь. "Прекрасный ребенок, - сказал он, - но вряд ли в натуре он может быть так мил, как на картине". Я хотел прибавить, что граф ошибается, что именно в этот раз, в первый раз в жизни моей, я не успел поравняться с природою; но он пошел далее и уже не мог бы слышать слов моих. Дня через два государь изволил быть на выставке, отличил мою работу, любовался ею, и чрез неделю я получил бриллиантовый перстень при записке, в которой сказано было, что я награжден за написанный мною портрет моей дочери. Я душевно обрадовался царской милости такого внимания я не надеялся заслужить. Правда, перстень у меня украли из кармана тут же на выставке, но бумага с подписью начальника, за номером, осталась у меня. В ней Надежда именно названа была моею дочерью, названа так от имени государя. Что мне было делать: объявить, что я обманул, оболгал начальство, или молчать? Я решился на последнее. Никто не знал в сем деле истины, кроме покойной моей хозяйки, Настасьи Родионовны, и одно-

го друга моего, который пишет это письмо по моим словам. Теперь, когда нашелся случай дать Надежде приличное воспитание, устроить ее судьбу в будущем, я не смею долее скрывать истины, но прошу вас убедительнейше сохранить тайну мою между нами. Прошло несколько лет с того времени, как я получил хвалу и награду за портрет моей дочери. Если узнают правду, я погиб навсегда в мнении моего почтенного начальника и благодетеля.

Вы теперь захотите знать, чья дочь Надежда: я сам этого не знаю. Года четыре тому назад, осенью, я закупал краски и другие для себя снадобья в одной лавке близ Гостиного двора и все свои закупки сложил в большой корзине. Приехавши домой и отпустив извозчика, я внес корзину в комнату, и, лишь только хотел вынуть оттуда мои покупки, раздался крик младенца. Я перепугался до смерти. Глядь в корзину, а там между свертками лежит спеленутый ребенок. Я призвал на помощь Настасью Родионовну; мы вынули его из корзинки: в свивальнике торчала бумажка, на которой было написано: "Младе-

нец незаконнорожденный, крещен, имя ему Надежда". Видно, ребенка положили в корзину, когда я был в лавке и извозчик отошел от дрожек. Мы, с Настасьей Родионовною..."

Что-то грохнуло об пол. Алимари, прервав чтение, оглянулся. Кемский лежал в обмороке. Алимари бросился к своему другу. В это время вошел в комнату Вышатин и помог ему привести князя в чувство.

- Где я? Что со мною? - спросил Кемский, открыв глаза. - Сон это или в самом деле? Скажите, ради бога, Петр Антонович... и ты, Вышатин, точно ли?

- Что такое? - спросил испуганный Алимари. - Я читал письмо Берилова о его дочери, а вы вдруг...

- Так это точно! - вскричал Кемский. - Так это не мечта? Берилов не отец Надежды? Он воспитал дитя, нечаянно найденное?

- Да! Он это писал к графине. Но давайте кончить...

- Нет-нет! - воскликнул Кемский. - Довольно! Надежда дочь Наташи... дочь моя!

LIV

Прошло три недели. Вышатин, приехав-

ший по первому известию о болезни Берилова и не нашедший его уже в живых, сделался свидетелем открытия, которое возвратило Кемскому жизнь и любовь к жизни. В то же время узнал он и все прочие обстоятельства жизни своего друга, боявшегося дотоле обременять его своим горем: увидел, что большая часть этих неприятностей произошла от излишней кротости, терпеливости и нежности князя, и почел обязанностью вступить за него, быть его помощником и руководителем. Он без труда растолковал и себе и другу своему действия и поступки графини Лезгиновой: муж ее был Вышатину дальний родственник, и двоюродная сестра его, Мария Петровна Василькова, имела право на большую часть наследства, оставшегося после покойного графа. Графиня была женщина добрая, умная, благородная, но в то же время гордая, своенравная, повелительная: уважая внутреннее достоинство человека, она, однако, еще более обращала внимание на внешность. С мужем своим, человеком добрым и почтенным, она разошлась за то, что он дурно говорил по-французски и нюхал зеленый табак. Чтоб не встре-

чаться с ним никогда, хотела она удалиться в чужие край, но, не имея возможности исполнить это предположение, удовольствовалась тем, что жила в Эстляндии. Сердце ее искало пищи, искало существа, с которым могло бы жить, - и нашло его в Надежде. Дитя, прекрасное собою, приветливое, благодарное, вселило в нее, можно сказать, страстную к себе любовь. Неловкое обращение Берилова, грубая его откровенность раздражали строгую чительницу этикета, вежливости и приличий, она непременно хотела освободиться от посещений артиста, порывалась было возвратить ему дитя, но не могла на то решиться: Надежда овладела ее сердцем. Это обстоятельство усилило в ней желание выехать из Петербурга, но и в Ревеле она непрерывно страшилась, чтоб артист не вздумал как-нибудь навестить дочь свою. Привыкнув судить о людях и о вещах по наружности, она не могла вообразить, чтоб человек, небрежно одетый, небритый и нечесанный, который не умеет войти в комнату и управиться за столом с серебряною вилкою, засовывает салфетку за галстух и плюет на паркет и на ковры, мог

быть благороден и нежен в душе своей. Она решилась предложить ему, чтоб он отрекся от своей дочери за хорошее вознаграждение. Он долго не отвечал. Графиня приписала это молчание какому-нибудь с его стороны замыслу: боялась, что он явится сам и, в надежде получить большую плату, станет требовать возвращения ребенка. Что было делать! Графиня употребила последнее средство - написала к нему, что дочь его умерла. Берилов не отвечал и на это: тем дело кончилось.

Между тем графиня тревожилась мыслию, что отец Надежды как-нибудь узнает о существовании своей дочери, но лет чрез пять нашла она в петербургских газетах известие о продаже имения без вести пропавшего живописца Андрея Берилова и успокоилась. Это случилось после одной слишком долговременной отлучки Берилова, в продолжение которой скончалась Настасья Родионовна. Его имение описали и назначили было в продажу. В день аукциона он явился из-за тридцати земель и вступил в свои права. Надежда выросла в той мысли, что она круглая сирота, а у Берилова остались портрет ее и темное о

ней воспоминание. Родственники графа Лезгинова знали, что жена его воспитывает бедную сироту, но имя и порода ее были им неизвестны. Тщеславная барыня подавала вид, что Надежда дочь дворянина, офицера, убитого на войне.

Вышатин взялся уведомить графиню об открытии Кемского и просить ее о возвращении Надежды истинному ее отцу. Кемский хотел известить об этом Ветлина, но не мог написать ничего связного: несколько раз начинал он письмо, и, лишь только доходил до описания счастливого своего открытия, голова, глаза и рука ему изменяли. Между тем получил он от Ветлина уведомление, что его отправляют на эскадре, идущей во Францию. Бедный молодой человек, не получая ответа на свои признания, был в самом мучительном недоумении. Кемский наконец собрался с силами, написал к нему, но уже было поздно: эскадра снялась с якоря накануне прихода письма в Кронштадт.

В это время кончилось, к душевному удовольствию Кемского, дело офицера, за которого он хлопотал с лишком год. Подсудимый по-

лучил прощение в уважение прежней его службы и ходатайства начальства; ему зачли в наказание долговременный арест.

- И знаешь ли, князь, - спросил Вышатин, привезший Кемскому эту радостную весть, - кому ты обязан счастливою развязкою? Никогда не отгадаешь! Волочкову. Жалкий этот лицемер запутался в собственных своих сетях. В сумасбродном исступлении беспристрастия он хотел держать данное тебе слово - судить виновного, не спрашивая о его имени. Что ж вышло? Все члены суда полагали простить офицера, тем более, что после его проступка объявлен был милостивый манифест. Только Волочков и Лютнин стояли на том, что измена в поле против неприятеля не подходит под всепрощение.

- И Лютнин? - спросил Кемский в изумлении.

- Да, Лютнин, то есть Пелагея Степановна. Она, не знаю за что, сердится на тебя и никак не позволяла мужу пристать к большинству. Волочков дал свое мнение, но когда поднесли ему чистое определение для подписания и он прочитал имя подсудимого, с ним сделался

ужаснейший припадок. Вообрази: он стубил было своего родного сына! Бедный офицер этот был плод древних любовных связей лицемера, воспитан в провинции под чужим именем и отдан в военную службу. Надобно было видеть испуг, ужас и отчаяние Волочкова: он никак не хотел признаться в близком родстве с подсудимым и уверял, что только по прочтении определения вник в точное существо дела. Прочие члены обрадовались образумлению Волочкова, но Пелагея Степановна стояла на своем, и он принужден был подарить ей прекрасную картину, которая висела у него в кабинете, но, по соблазнительности изображенных на ней предметов, всегда завешена была покрывалом. Она сжалилась, и Максим Фомич подписал определение вместе с другими.

Ревель

LV

Надежда сидела в своей комнате и с унылым чувством смотрела на письмо Ветлина, прочитанное ею уже несколько раз. Он уведомлял ее, что нашел друга и благодетеля своего младенчества, описывал ей князя Кемско-

го самыми нежными, самыми приятными красками: говорил о его уме и образовании, о его сердце и правилах, о безотрадной, одинокой его старости, услаждаемой утешениями чистой совести и пламенной веры. "Князь Алексей Федорович, - писал он, - осуществил предо мною идеал благородного, великодушного, истинного человека. Основательность суждений, поэтическая мечтательность, равнодушие к благам земным и уважение ко всему духовному, сверхчувственному, строгость к самому себе, кротость к другим, безропотное перенесение всех страданий и искренняя признательность к провидению за малейший дар - все это составляет самое благородное существо, какое только я мог бы себе вообразить. И наружность его являет уже человека необыкновенного: высокое чело, покрытое редкими седыми волосами, глаза томные, но выразительные, остаток юношеской свежести на щеках, свидетельствующий о свежести души его; уста, окруженные каким-то неизобразимым проявлением добродушия, кротости и любви к ближнему; осанка благородная, воинская, не изменившаяся от изнурительных

трудов и тяжких ран; всегдашнее спокойствие, пристойность, вежливость прошлого века. Ах, Надежда Андреевна! Есть еще в свете люди истинно благородные, и человечество не переродилось. Увидев моего благодетеля, вы со мною согласитесь". Далее Ветлин сообщил ей, что решил открыться князю свое положение, свои надежды и ожидания; что послал к нему длинное письмо, но прошло уже десять дней, а нет еще ответа. В заключение он писал, что наряжен в поход, что теперь отправляется неохотно, что будет считать дни и часы до свидания с своим благодетелем. В этих учтивых, равнодушных, холодных выражениях Надежда видела совсем не то, что другие: любовь по-своему читала эти шифры, в которых никакой посторонний дипломат не мог бы доискаться истинного смысла.

- Пожалуйста поскорее к графине, - сказала ей поспешно вошедшая в кабинет горничная.

- Что это значит? Не сделалось ли с нею чего? - спросила Надежда в испуге: графиня несколько дней была очень нездорова.

- Ничего-с, - отвечала девушка, - только

они-с получили какое-то письмо из Петербурга, прочитали и приказали просить вас как можно скорее.

Надежда полетела. Графиня, завидев ее, хотела встать с кресел, но не могла, упала на спинку и залилась слезами. Письмо выпало из рук ее.

- Что это с вами, тата! - вскричала Надежда. - Верно, худые вести из Петербурга.

- Нет, душа моя! Нет, друг мой! Не худые - отрадные, утешительные... Ты не сирота!.. Вот письмо... прочитай, что пишут мне о твоей участи... прежней и будущей. Наденька! Бог наградил тебя за любовь твою ко мне.

Надежда, не зная, что это значит, что с нею делается, взяла письмо и начала читать. Выштин описывал в нем всю историю своего друга, брак его, несчастную кончину жены, судьбу дитяти, обстоятельства, заставившие Берилова назвать Надежду своею дочерью и не позволившие ему открыться графине, наконец открытие Кемского, что Надежда есть дочь его, дочь, оплакиваемая с минуты рождения. Прочитав письмо в первый раз, Надежда не поняла его, стала читать вновь - и заве-

са спала с глаз ее. Она побледнела, задрожала и с громким рыданием пала ниц пред образом.

Чрез несколько часов пришла она в себя: стала припоминать, размышлять, сравнивать, терла себе глаза, думая, что все это происходит во сне, спрашивала графиню, что с нею делается, потом бралась за письмо и повторяла то, что уже знала. Свет в глазах ее изменился; ей казалось, что она сама переродилась. Исчезло томительное чувство сиротства, одиночества, зависимости от людей. Она принадлежит отныне семейству, у ней есть свои, родные, у ней есть отец, и этот отец человек благородный во всех отношениях.

- А маменька? - повторяла она с чувством тоски и умиления. - Маменька! Ты была жертвою любви к моему отцу, ты не хотела пережить меня! Маменька! Теперь я тебя знаю! Я горжусь тобою! Маменька моя была такова, какую я ее себе воображала... нет, какую я не в состоянии была вообразить ее себе. Если б я была на нее похожа! Если б мой отец... - Все эти разнообразные чувствования, помыслы, страсти волновали попеременно и ум ее и

сердце: она была в неописанном исступлении.

Графиня понимала ее восторги, но не могла удержаться от легкой укоризны.

- Теперь я не нужна тебе, Наденька! Теперь у тебя есть отец, есть имя, есть состояние.

- Мaman! - закричала Надежда с выражением отчаяния. - Не говорите мне этого! Вы, вы дали мне жизнь, вы ее облагородили, усладили! Вам обязана я всем своим счастьем, и если теперь мой отец найдет меня не недостойною своего имени, своей любви, кому я этим обязана? Вы будете всегда первою, первою в моем сердце, вы моя мать!

Она бросилась на колени пред графинею, взяла ее руки, осыпала их поцелуями, обливала слезами.

Надежда в тот же день написала к отцу своему: самыми нежными и благородными выражениями описала она ему свое сиротство, которого не могли усладить никакие блага этого мира, изобразила сладостное чувство детской любви, возникшее в душе ее не постепенно, а вдруг, во всем своем объеме, как прекрасный цветок, долго таившийся в

своей оболочке, разверзается в мгновение от первого луча живительного солнца. Она горела нетерпением увидеть своего отца, которого давно уважала и любила, по сказаниям Ветлина, считала минуты до того блаженного мгновения, в которое заплатит этому благородному человеку за целые годы страданий в одиночестве, но не смела показать того своей благодетельнице, и от этого борения священных чувств природы с гласом обязанности и благодарности в ней возникла дотоле неизвестная ей жизнь, восторженная, напряженная; она иногда воображала себе, что лишается рассудка от столкновения разнородных ощущений. "Ах, если б Ветлин был здесь! - думала она. - Он помог бы мне растолковать самой себе это бурное волнение всех моих чувствований и мыслей; он вывел бы меня на чистый, небесный воздух из этой удушливой атмосферы недоумения и борьбы душевной!"

Графиня заметила беспокойство, тоску, принужденность Надежды и сама освободила ее из затруднительного положения. Не имея сил ехать в Петербург с своею питомицею,

она решила отправить ее без себя и объявила ей о том. Надежда отвечала слезами: и со-
вестилась показать свою радость, и не умела
скрыть ее. Напутствуемая благословением
хранительницы своего детства, она поехала в
сопровождении графининой домоправитель-
ницы.

В продолжение дороги она ничего не вида-
ла и не слыхала: не заметила даже, как пере-
ехала из Эстляндии на русскую землю, только
считала станции и версты. На третий день
въехала она в Петербург и остановилась в Ре-
вельской гостинице. С пятилетнего возраста
провела она всю жизнь свою в Эстляндии и за
границею. Огромность, великолепие, блеск и
шум столицы ослепили, оглушили ее, но не
изумили, не восхитили; в ее душе была одна
мысль: я приближаюсь к моему отцу. Отдох-
нув и переодевшись в гостинице, она броси-
лась с проводницею своею в наемную карету
и полетела на Выборгскую сторону. Ей каза-
лось, что она никогда не доедет.

- Скоро ли? Близо ли? - спрашивала она у
старушки.

- Скоро, скоро, барышня! - отвечала та.

Вот Троицкий мост, Петербургская сторона, Самсониевский мост, а тут и есть!

С.-Петербург

LVI

Кемский также терзался сладостным нетерпением: порывался сам ехать в Ревель, но боялся разъехаться с Надеждою, не смел просить графиню, чтоб она привезла или прислала к нему дочь, и желал, чтоб она догадалась сама. Он написал Надежде ответ, в котором отражалась вся душа его, но этот ответ уже не застал ее. В ожидании ее приезда он устроил для ней комнаты, в которых жил Бериллов; над письменною конторкою повесил портрет Наташи, смятый французскою пулею. Графиня предупредила Кемского, что отправляет к нему дочь его, но детская любовь опередила почту.

Алимари сидел в саду на скамье, подле любимых своих могил, и питался живительными лучами солнца. Кемский в раздумье расхаживал по комнате. Раздался на улице звук едущего экипажа. Сердце его сильно забилося. Звук утих, когда карета въехала на немощный двор. Слышится - отворяют двер-

цы, опускают ступеньки. Он остановился с трепетом. Растворяется дверь комнаты. В ней появляется женщина в шляпке и вуале; она останавливается, поднимает вуаль, вглядывается в него.

- Наташа! - восклицает Кемский и заключает дочь свою в объятия.

Годы страданий, жестокие утраты, тяжкие раны сердца - все было забыто в это блаженное мгновение, все заглажено, вознаграждено одним взглядом! Молитва, усердная, общая молитва счастливого отца, счастливой дочери - не красноречивая, но доступная и приятная вечной благодати, заключила торжество отрадного свидания.

Надежда смотрела на отца своего с любовью и благоговением. "Это мой отец, это мой друг, это благодетель, хранитель Ветлина", - повторяла она в уме, не сводя глаз с прекрасного, обновленного радостью мужа. Князь глядел на нее с чувством, которому нет ни имени, ни описания. Он искал в лице, в глазах, в осанке, в поступи ее сходства с Наташею - и находил при каждом взгляде. Только Надежда казалась ему вообще живее, быст-

рее, пламеннее своей матери. Когда же слезы останавливались в ее глазах, они принимали в точности выражение небесного взгляда Наташи.

Кемский познакомил ее с другом своим, Алимари, открыл ей, что ему одному она обязана сохранением отца своего, потом повел ее в комнату, для нее назначенную, указал ей портрет ее матери, бывший неразлучным его спутником, и портрет Берилова, который, действуя во всем по внушению неизвестного ему тайного чувства, призрел сироту, дочь своего брата.

Радостные порывы вскоре уступили место тихому наслаждению счастьем отцовской и детской любви, дням спокойным, богатым воспоминаниями и надеждами. Отец и дочь в один день свыклись, как будто всю жизнь провели вместе. Князь вздумает сказать, сообщить, предложить что-нибудь своей дочери: она об этом уже думала, уже предупредила его. Веселый нрав ее, остроумие и прямота душевная восхищала старика.

- Ты Наташа, - говорил он, - но Наташа девятнадцатого века, беспокойного, торопливо-

го. Мы в старину жили тише, едва успевали за временем, а вы его опережаете. Так, милая Наденька, ты мне сообщила свои сердечные склонности, прежде нежели я тебя увидел.

- Как это? Какие склонности? - спросила она, смутившись.

- Знаю, знаю! Будь спокойна! - отвечал он улыбаясь. - Сердце твое найдет отголосок в моем - ты будешь счастлива!

LVII

Вышатин разделял блаженство своего друга, но не носился с ним в пространствах надзвездных: теперь, более нежели когда-нибудь, был нужен Кемскому твердый защитник и ходатай; сам он, предавшись сладостному чувству своего нового существования, не заботился ни о чем земном, ничего не помнил, ничего не видел. Вышатин взялся привести в порядок дела его.

Сначала отправился он к Алевтине Михайловне. Там успели уже оправиться от первого испуга, причиненного болтливостью Ивана Егоровича. "Показания, признания его были сделаны не при свидетелях, - толковал Тряпичин, следственно, никакого законного дей-

ствия иметь не могут. Свидетельство крепостной женщины равномерно силы не имеет". Вышатин приехал к Алевтине в то время, когда она была окружена всеми своими домашними: мужем, детьми, Тряпицыным и Горсом. Он был принят учтиво и холодно. На извещение его, что князь нашел дочь свою, отвечали улыбкою недоверчивости и жалости, а на воспоминание об отсылке дитяти в Воспитательный дом гордым взглядом оскорбленной добродетели. "Постойте же, - думал он, - вас должно образумить геройскими средствами: нежность здесь не у места".

- Вы, как дама, - сказал он Алевтине, - вероятно, не знаете ни степени преступлений, ни положенных им по законам наказаний. Но вам, Иван Егорович, конечно, известно, что за подделку акта законы определяют ссылку в Сибирь?

Все побледнели.

- Но земская давность, - произнес вполголоса Тряпицын.

- А за продажу и залог чужого имения, за составление фальшивых свидетельств о смерти человека, помнится, положено законами

то же наказание. Не так ли, господин Тряпицын?

- Ей-ей, запамятовал, ваше превосходительство! - сказал Тряпицын трепещущим голосом.

- Вы все в моих руках, - произнес Вышатин твердо и равнодушно. - Князь Алексей Федорович имеет, может быть, побуждения щадить вас, но у меня их нет. Пора кончить ваши злодейские подвиги. Даю вам неделю сроку. Извольте внести все, что вы у него забрали, как это видно из бумаг, полученных князем от Ивана Егоровича, и тогда я даю вам честное слово, если хотите и письменно, что вас оставят в покое. Но малейшее противоречие или замедление повлечет за собою уголовный суд и наказание.

Тряпицын разинул рот:

- Ваше...

- Ни слова! Кончите добром или ступайте в Сибирь! - сказал Вышатин, вышел и хлопнул за собой дверью.

Все были в оцепенении.

- Это что такое? - спросил Горс.

- Сибирь! Ссылка! - закричала Китти. -

Ужасно! Вот что вы наделали, маменька!

- Для кого ж я это делала, как не для вас! - произнесла Алевтина с выражением отчаяния.

- Слуга покорный! - сказал Григорий. - Осрамить всю фамилию, испортить всем нам карьеру! А вы что, Яков Лукич?

- Смею уверить вас, Григорий Сергеевич, - отвечал Тряпицын, - что во всех сих действиях соблюдены законная форма и указный порядок. И если б не откровенность Ивана Егоровича...

Платон расхохотался:

- Нашли виноватого! Это бык, на которого теперь все взваливают свои грехи. Но толковать и медлить нечего. Должно все отдать, чтоб кончить эту неприятную историю. Мне ничего не нужно. Я никого не знаю и знать не хочу: кто плутовал и мошенничал, тот пусть и отвечает.

Он вышел из комнаты. Григорий за ним последовал.

Оставшиеся молчали, глядя друг на друга в недоумении.

Горс прервал это безмолвие вопросом Ива-

ну Егоровичу:

- Господин Драк! Скажите мне, это все равно в России: Сибирь или кнют?

- Ужасно! - возопила Алевтина и кинулась в свою комнату.

Еще до истечения недели Тряпицын явился к Вышатину с настоящим расчетом и банковыми билетами. Вышатин принял его своим манером: взял бумаги, деньги, дал расписку и, позвав слугу, сказал:

- Выпроводить этого господина со двора и впредь не впускать.

Но от чего произошло такое благородное равнодушие Платона к семейственному достоянию? Видя запутанность дел своей фамилии и невозможность ограбить дядю, он взялся за крайнее средство - решился жениться на богатой купеческой дочери, на которой давно его сватали. Глупые родители пожертвовали счастьем своего детища пустому тщеславию выдать ее за благородного. Авдотья Кузьминична, девица миловидная и не глупая, была воспитана в модном пансионе, то есть, выучена всему, чему можно выучить за деньги. Ее взяли оттуда накануне сговора и объявили,

что она выходит замуж. Явился Платон Сергеевич, обошелся гордо и дерзко с тестем, грубо с тещею; но старики воображали, что благородный иначе с ними обращаться не может, и, когда, по отъезде Платона Сергеевича, бедная Дуняша со слезами объявила, что не в состоянии выйти замуж за такого ужасного человека, нравоучительная пощечина, отвешенная рукою нежной матери, заградила ей уста. На другой день был сговор; чрез неделю сыграли свадьбу. Платон взял триста тысяч рублей наличными деньгами и два дома. Тестю и теще объявил он, чтоб они не дерзали являться у него в доме, а жене запретил не только видеться с своими родителями, но и упоминать об них. Не было унижения и оскорбления, которым бы не подвергалась несчастная жертва тщеславия родителей и жадности мужа.

LVIII

Кемский предался всем наслаждениям любви родительской и, как ребенок, радовался поправлению дел своих стараниями Вышатины, имея теперь возможность окружить милую дочь свою всеми удовольствиями све-

та. Явились великолепный экипаж, блистательная прислуга, отборный гардероб, все те разнометальные звенья, из которых составляется электрический столб, приводящий в трепет женское сердце. Надежда плавала в океане развлечений и удовольствий и не так уже часто, как прежде, помышляла о друге сердца, плававшем по морю действительности. Кемский примирился с светом, с его забавами, причудами и предрассудками. При помощи Вышатины свел он знакомство с домами, в которых дочь его могла проводить время приятным образом. Из новых знакомых более всех была ему по сердцу Мария Петровна Василькова, главная участница в процессе с графиней. Надежда воспользовалась этим знакомством, чтоб примирить свою благотворительницу с родственниками ее мужа, и успела в этом лучше всякого мирного судьи, потому что поводом к раздорам и требованиям были не столько жадность к приобретению, сколько гордость и упрямство, не позволявшие уступить имение в чужой род. Надежда подружилась с Мариєю Петровною, познакомила ее заочно с противницею ее, которой она

не знала и никогда не видала, успела уверить, что графиня желает сохранить только законно причитающуюся ей часть имения, а остальное отдаст беспрекословно родне своего мужа. Мария Петровна, полюбив Надежду, убедилась ее доводами и склонила прочих участников к миру и к уступке более против того, что графине причиталось действительно. Надежда, восхищенная мыслию, что успела отчасти возблагодарить своей благодетельнице, привязалась к Марии Петровне, женщине умной, образованной и добродетельной, бывала у ней ежедневно, ездила с нею в общество, проводила с нею и часы уединения. Кемский радовался этому знакомству и с удовольствием душевным следил дочь свою во всех ее делах, помыслах и чувствованиях: во всем проявлялись чистая душа, светлый ум, доброе сердце.

Но эти удовольствия были непродолжительны: посещая светские собрания, князь не мог не встретиться с своими злодеями-родственниками, которые, как дракон Лаокоона, обвили змеиными головами своими его и все его семейство и смертоносным жалом дощу-

пывались сердца, чтоб излить в него весь яд свой. Мучительное свидание произошло в одном большом собрании, на даче, куда Кемский поехал с дочерью в сопровождении Вышатины и Марии Петровны. Погода сделалась ненастной, холодною; молодые люди затеяли танцы, старики расположились за картами. Кемский беседовал с Вышатинным и еще некоторыми приятелями в отдаленной комнате и, слыша веселые звуки фортепиана, порывался отправиться в танцевальную залу, чтоб взглянуть на веселящуюся Надежду. При первом перерыве разговора он исполнил свое желание: вошел в залу, отыскал Надежду, прыгавшую в кадриле, и провожал ее глазами и сердцем. Кончив тур, она села на стул и, оглянувшись назад, с улыбкою отвечала одной даме, которая с нею заговорила. Кемский всмотрелся в эту даму и обмер: это была Алевтина Михайловна. Она давно искала случая видеть Надежду и невзначай нашла ее в этом доме, умела завлечь ее в разговор, заинтересовать ее, не давая знать, кто она сама. Надежде понравились ее тон, образованность, ум, приветливость: она влеклась к ней, как птичка в

пасть удава. Князь, избегая гласной сцены, отыскал Марию Петровну и просил ее, ради бога, увезти Надежду домой; но это было невозможно: надлежало оставаться несколько времени. Кемский, терзаемый самыми мучительными чувствами, стал за стеклянною дверью и наблюдал, что происходит в зале. Алевтина рассказывала Надежде что-то забавное и приятное. Простодушная княжна, слушая ее внимательно, смеялась от души. В противоположном конце залы сидела Китти и с выражением злобы и бешенства на лице смотрела в лорнет на Надежду. Подле нее сидела жена Платона, погруженная в грустную думу, а сам Платон стоял позади стула сестры, посматривая на Надежду, наклонился и говорил что-то сестре на ухо: его замечания производили на устах Китти ядовитую улыбку. Надежда была словно жертва, привязанная очарованием к столбу и служившая целию тупым стрелам свирепых дикарей. При первой возможности Мария Петровна подошла к Надежде и сказала ей, что отец ее хочет ехать домой. Кемский видел, как Алевтина уговаривала их остаться еще несколько времени, как

Надежда извинилась; наконец Алевтина, видя ее непреклонность, простилась с нею, обняла ее; они поцеловались. Удар кинжала в сердце не мог бы поразить Кемского так, как это лобызание невинности, добродетели и простодушия с пороком, злобою и коварством. Надежда вышла из залы и подала руку отцу с словами:

- Как мила эта дама, с которою я познакомилась! Жаль, что я не знаю, кто она!

- Узнаешь! - сказал Кемский голосом, который привел ее в трепет.

Она взглянула на отца, увидела, что он бледен, смущен, расстроен, вообразила, что он нездоров, и спешила отправиться домой. В другой комнате должно было дожидаться Марии Петровны, которая заговорила между тем с хозяйкою. Кемский горел нетерпением бежать из этого дому, как будто за ним гнались неприятели. Надежда молчала, робко поглядывая на отца. Вдруг раздался за ними громкий голос Платона Элимова:

- Не дивитесь, что он, увидевши вас, бежит отсюда! Вообразите, он имел дерзость привести в порядочный, благородный дом свою по-

бочную дочь! И после этого вы спрашиваете, почему мы с ним расстались? Вот добродетели волтеровского века!

Терпение Кемского лопнуло; он оборотился, чтоб дать ответ, но, к счастью, увидел перед собою Вышати́на с сестрою:

- Владимир Павлович! - сказал он с выражением сильнейшего негодования. Вы знаете меня, знаете, с кем я сюда приезжал и почему бегу из этого дому. Вам предоставляю оправдать меня перед хозяином! - Сказав эти слова, он поспешил с Надеждою и Мариєю Петровою из дверей, сел в карету и велел гнать что есть силы.

Дорогою открыл он Надежде, что она сидела подле виновницы ее сиротства и всех бедствий ее родителей. Надежда узнала в эту минуту все подробности страданий своего отца и злобы его родственников, узнала, что на щеках ее горели поцелуи губительницы ее матери!

Ночь была ненастная и бурная, ветер выл, дождь и град били в окна кареты. Князь завез домой Марию Петровну и отправился на Выборгскую сторону, но Воскресенский мост был

разведен, и он должен был дожидаться в карете. Надежда, испуганная и встревоженная неожиданным случаем, не говорила ни слова, прижалась в угол кареты и уснула от утомления. Кемский долго не мог прийти в себя. В тумане, окружавшем его, чудились ему страшные видения, они рассеялись при первом свете утренней зари, и ангельский лик Наташи с улыбкою утешения на устах затрепетал пред усталыми его веждами.

- Готово! - закричал мостовой унтер-офицер; карета полетела по мосту, и мечты исчезли.

По удалении Кемского Вышатин, огорченный и раздраженный до крайней степени, пошел за Платоном Элимовым, но этот гнусный человек, по благому обычаю всех дерзких подлецов и трусов, искал спасения в бегстве. Вышатин громогласно объявил хозяину и хозяйке о причине удаления князя и поспешного бегства Платона, рассказал в коротких словах историю своего друга и просил всех и каждого из присутствующих стараться о разглашении истины, для оправдания добродетели и обличения порока. Все слушали его со

вниманием, как обыкновенно слушают всякую скандалёзную историю; но действие пламенной речи не соответствовало его намерению и ожиданию: половина присутствующих не поняла его, другая нашла, что рассказ Платона Элимова вероятнее и интереснее, и на другой день неприятная для Кемского сцена разошлась по городу в тысяче разных изданий, с переменами, опущениями и прибавлениями. Вышатин, выведенный из терпения, изменил в сем случае всегдашнему своему благоразумию и осторожности и наделал другу своему более вреда, нежели сколько мог сделать пользы.

Платон не унялся этим уроком: напротив того, хотел оправдаться дерзостью и бесстыдством, старался везде встречаться с Кемским и его дочерью, смотрел на нее с гордостью и презрением, смеялся в глаза дяде. К довершению своих преследований вздумал он поселиться подле них, чтоб измучить, истерзать их своим непрерывным присутствием. Вышатин, узнав об этом, поклялся, что проучит негодяя, хотя б это стоило ему собственной его жизни.

Кемский увидел себя в самом неприятном, в самом тягостном положении. Дочь его, жившая сиротою в довольстве и спокойствии, сделалась ныне предметом клеветы и жертвою злодеев. Друг его, Вышатин, подвергался самым жестоким неприятностям. А Ветлин! Счастье, что его не было в Петербурге: он не кончил бы добром с Элимовым. Алимари видел недоумения и страдания своего друга и старался ободрить, успокоить его своим участием, но не успел в том. Наконец подал он ему совет уклониться от своих врагов, оставить Петербург на несколько времени, и если нужно ему жить здесь, то воротиться не прежде замужества своей дочери. Эта мысль понравилась и князю, и Вышатину, и Надежде, которая терзалась страданиями отца своего более, нежели он сам. Кемский решился исполнить давнишнее свое желание - отправиться в симбирскую свою вотчину и провести там лето. Ветлина ждали с часу на час. Кемский оставил письмо к нему у Вышатины: извещал его о своем отъезде, просил взять отпуск и ехать к нему; говорил, что, в ожидании его, останется несколько времени в Москве...

Всего труднее была для Кемского разлука с любезным ему Алимари.

- Увижу ли вас еще в этой жизни? - говорил он, прижимая старца к своему сердцу.

- Это известно богу, - отвечал Алимари, - с радостью увиделся бы я с вами еще раз, но если этого не случится, утешьтесь мыслию, что в то время, когда вы вздохнете о разлуке со мною, буду я у Антигоны и детей моих. Там мы увидимся наверное!

Москва

LIX

Надежда в этих обстоятельствах охотно оставила Петербург; жаль ей было только, что свидание с графинею Лезгиною отлагается на долгое время, и еще, что разлука с Ветлиным продолжится сверх обыкновенного, но все эти сожаления заглушались мыслию, что спокойствие отца зависит от ее доброй воли.

Чрез месяц после неприятной сцены с Элимовым были они уже в Москве. Надежда нашла там еще более пищи своему сердцу и воображению, нежели на берегах Невы. Переселение ее в Петербург произошло так внезап-

но, посреди таких сильных душевных волнений, что она не могла ни подивиться северной столице, ни насладиться ею. В Москве было иное: она приехала туда довольная, спокойная, счастливая. Видеть Москву было давнишнее ее желание. Воспитанная на чужбине, далеко от родной стороны, пламенная патриотка не знала ничего выше, любезнее, святее Руси православной и не понимала, как можно говорить равнодушно о Кремле, об Успенском и Архангельском соборах, о Новодевичьем монастыре, даже о большой московской пушке. Летнее время благоприятствовало ее поэтическим наблюдениям и мечтаниям: никакие собрания, вечеринки, спектакли не развлекали ее наслаждений. С одною знакомою Марии Петровны, всегдашнюю жительницею Москвы, ездила она по городу и его окрестностям и осматривала все их достопамятности. Отец радовался ее развлечениям, но сам не мог разделять их: он хлопотал в московских присутственных местах по запутанным делам своим. Надежда, набожная и благочестивая, начинала все свои прогулки и поездки слушанием обедни в котором-либо

из монастырей московских или загородных. Служба в монастырях женских, которых она дотоле не видала, преисполняла ее душу неизъяснимою сладостью. Когда она была в первый раз у обедни в Вознесенском монастыре, в Кремле, ей казалось, что она перенесена в другой, лучший мир. Тихое пение монахинь настроило душу ее к благоговению; строгие, но спокойные лица стариц, осеняемые флером, выход их пред священником со свечами в руках, падение их ниц пред алтарем в безмолвной молитве - все это возносило ее чувства к небесам и переселяло воображение в давно минувшие времена. В отшельницах от здешнего мира чудилась ей царица Софья Алексеевна, царица Евдокия Федоровна или иная из древних россиянок, испытавших тщету земного величия и в тиши уединения нашедших отраду своим страданиям. Сердце ее трепетало при взгляде на сих жилищ иного мира. Она остерегалась близко знакомиться с монахинями, чтоб не разрушить своего набожного очарования, избегала случаев говорить с ними о предметах жизни обыкновенной и только немногих стариц по-

сецала в их келиях; к двум, к трем питала она душевное уважение и искреннюю дружбу. Но нигде ум, воображение и сердце ее не были так очарованы, как в одном загородном монастыре, верстах в сорока от Москвы. Посреди густого леса возвышается древнее здание, посвященное уединению и молитве; с одной стороны простирается прекрасный вид на несколько верст, внизу, под горою, течет река. Церковь монастырская, сооруженная в средние веки, мрачная и угрюмая, едва освещается скудными лампадами. Кельи инокинь устроены в стене, служившей в старину оградою монастырю, и ныне во многих местах обрушившейся. Игуменья монастыря, почтенная и умная старушка, приняла княжну и ее спутницу ласково и радушно. Пение в церкви было необыкновенно приятное и гармоническое. Надежда не могла удержать слез своих при звуках, которыми отшельницы от мира среди глухой пустыни возвысили хвалы и молитвы к богу-сердцеведцу. Умиление ее не укрылось от монахинь. Одна из них, стоявшая подле клироса, поглядывала на нее с особенным участием, радуясь, как видно, изли-

нию благоговейных чувств в молодой, светской девице. Надежда, заметив это внимание, взгляделась пристально в лицо ее. Монахиня была женщина не молодая, но прекрасная собою; не безусловное обречение себя вечному одиночеству, а глубокое благоговение изображалось в правильных чертах лица ее, в томных глазах, изменявших скрытой повести долголетних страданий. Благородная осанка, величественный взгляд, нежная рука, все приемы и движения обличали женщину светскую, образованную.

Обедня кончилась. Монахиня, выходя с сестрами, взглянула еще раз на княжну с ласкою и любовью. Игуменья пригласила посетительниц в свою келью, где ожидала их трапеза скудная, приправленная искренним гостеприимством и простительным в самых отшельницах любопытством узнать, что делается в свете. Гости удовлетворили этому желанию хозяйки и, в свою очередь, стали спрашивать ее о житье-бытье монастырском. Игуменья подробно описала им немногие достопамятности своей обители, собственную свою жизнь в свете и в монастыре, свойства и

обычай своих стариц и белиц, жаловалась на некоторых, хвалила других. Надежда полюбопытствовала узнать, кто та прекрасная, почтенная монахиня, которая стояла подле нее в церкви.

- Это, к сожалению моему, - отвечала игуменья, - не из моих, гостья. Она приехала издалека в Москву за семейными делами; привыкнув к тишине, не могла оставаться в шумном городе и переехала к нам. Вот уже две недели, что она живет у меня, и с каждым днем я привязываюсь к ней более и более: набожная, добродетельная, скромная, умница. Зовут ее Еленюю, более я о ней ничего не знаю. Несколько раз пыталась я расспросить ее, кто она такова, откуда и зачем приехала, но не могла собраться с духом: она внушает мне такое почтение ко всему существу своему, что я не могу обращаться с нею запросто, как с другою. По всему видно, что она воспитана в знатности и в богатстве, что жестокие потери и страдания заставили ее покинуть свет, но кажется, какая-то надежда на примирение с судьбою еще не совершенно ее оставила.

Словоохотливая старушка, осыпая хвалами сестру Елену, нечувствительно перешла к прежним рассказам о своих монахинях, которые составляли для нее весь мир.

После обеда повела она посетительниц своих в кельи, входила к монахиням; они разговаривали с Надеждою и ее спутницею, но молодая княжна, без ведома своего, стремилась мыслию к сестре Елене.

- Вот ее келья, - сказала вполголоса игуменья, проходя мимо двери, - но я не смею ее беспокоить.

В эту минуту дверь растворилась. Сестра Елена, услышав голос игуменьи, вышла к ним и пригласила их к себе. Надежда с каким-то неизъяснимым трепетом вошла в укромное жилище благочестия и добродетели. Елена приветствовала гостью свою голосом, который проник до глубины ее сердца - так он был нежен, приятен, выразителен.

- Я не думала принимать в этой уединенной обители таких милых гостей, сказала она.

- Ах! Если б вы знали, - с живостью отвечала Надежда, - как меня восхищает это уедине-

ние! Я выросла на чужбине, посреди людей добрых и почтенных, но не русских. Русское Отечество, русская вера, Москва, Волга - с детских лет были предметом всех моих мыслей, могу сказать, моего обожания. И теперь я увидела все это на самом деле. Теперь узнала в отечестве моем людей, с которыми желала бы породниться, если б родилась англичанкою или италиянкою. А они мне свои, родные!

Она бросилась в объятия Елены и с детскою нежностью поцеловала ей руку.

- Там, где я воспитана, - прибавила она, - это назвали бы предрассудком, суеверием; но я чувствую, знаю, уверена, что так быть должно.

- Так быть должно! - сказала Елена своим очаровательным голосом. - Читите эти предрассудки, храните это суеверие! Берегитесь привязываться к тому, что в свете называется существенным. Всего для нас святее религия, отечество, любовь к отцу и матери.

- К матери! - воскликнула Надежда. - У меня нет матери! Я ее не видала, но нет - я ее знаю! Я ношу образ ее в моем сердце; в толпе людей ищу той, которую желала бы иметь ма-

терью, с которой она, невиданная, незабвенная, имела сходство душевное.

- И конечно не находите? - сказала Елена.

- Не находила до нынешнего дня! - воскликнула Надежда, приникла к монахине и покрыла руки ее жаркими поцелуями.

Сестра Елена прижала ее с нежностью к груди своей.

- Милое, милое дитя! - повторяла она, лобзая ее щеки, горевшие пламенем искреннего чувства и орошенные слезами душевного восторга. - Да утешит тебя бог в твоём сиротстве!

И игуменья, и спутница княжны были тронуты этою умилительною сценою. Они пробыли у Елены несколько времени в кроткой усладительной беседе. Наконец спутница напомнила Надежде, что пора ехать в город, что отец ее может потревожиться продолжительным ее отсутствием.

- Ах, точно! - сказала Надежда, испугавшись. - Он не знает, где я. Сохрани меня бог быть причиною его беспокойства!

Елена смотрела на нее с выражением искренней любви.

- Счастлив отец такой дочери! - произнесла

она протяжно.

Надежда простилась с нею, обещаясь посещать ее как можно чаще, и поспешила в город. Во всю дорогу она то говорила о сестре Елене, то задумывалась и мечтала о ней: "И эта почтенная, прекрасная женщина обречена на вечное затворничество! И свет не знает, каким сокровищем обладал в ней!" Спутница заметила, что Елена не пострижена, что она еще не вовсе отреклась от мира.

Приехав домой, Надежда с радостью узнала, что отец ее еще не возвращался домой, следовательно, не мог беспокоиться ее продолжительным отсутствием. Он к вечеру приехал и был встречен приветом милой дочери. Кемский сел у окна, посадил дочь свою себе на колени и с сердечным наслаждением слушал ее рассказы о сестре Елене.

- Ах! Какое прекрасное существо! - сказала Надежда с восторгом. - Такою я воображаю свою маменьку!

Князь поцеловал дочь свою, обратил взоры в окно и вдруг задумался. Что-то грустное, страшное мелькало у него в глазах. Надежда испугалась, смотрела на него пристально, не

смея спросить о причине внезапной его задумчивости. Он встал; не говоря ни слова, вышел из комнаты в сени, с крыльца на улицу... Надежда последовала за ним с трепетом и остановилась в воротах.

Что сделалось с князем? В ту минуту, как Надежда с беспечностью юных лет тронула самую нежную струну его сердца и звук ее глубоко отозвался в душе его, он выглянул в окно на улицу. Что-то знакомое, давно виданное проснулось в душе его. Он стал всматриваться и увидел, что находится в прежнем жилище своих родителей, что сидит у окна, которое с младенческим любопытством отворил в страшное время чумы, что насупротив этого окна дом с балконом, с которого бросилась на мертвое тело черная женщина. Он встал в раздумье и, сам не зная зачем, вышел на улицу, подошел к дому с балконом и смотрел вверх; только балкон, в младенчестве казавшийся ему высоким, теперь представился гораздо ниже. Балюстрада была снята...

Вдруг растворились двери на балконе. В них появилась женщина в черном платье, взглянула на Кемского и бросилась к нему с

громким криком.

Он подхватил ее, взглянул ей в лицо.

В его объятиях лежала Наташа!

С.-Петербург, октябрь 1799

LX

Несколько недель не получали в Петербурге никаких известий из армии нашей: оставив Италию, она двинулась в ущелья Альпийских гор и там боролась с враждебными людьми и стихиями. В это время обнародован был список офицеров, раненных и убитых в разных сражениях знаменитой кампании. В числе последних был князь Кемский. Иван Егорович фон Драк, прочитав список в газетах, приказал навязать флер на шляпу, на эфес шпаги и на левый рукав своего мундира и в траурной форме явился к Алевтине Михайловне за приказаниями.

- Это что? - вскричала она в радостном изумлении.

- К общему сожалению, - начал Иван Егорович, - в цвете лет, храбрый защитник отечества (на этом слове риторика его споткнулась)... то есть отечества-с, - мямлил он в замешательстве.

- Договаривай! - кричала Алевтина. - Братец, что ли?

- Точно так-с! Жребий войны-с...

- Убит?

- Именно-с! - произнес он протяжно.

- Счастливец! - тихо прошептала Алевтина, опустив взоры и выдавливая из глаз слезы. - Желание его свершилось: он пал на поле брани! Мир его праху!

- Еду к княгине-с, - продолжал фон Драк, - к ее сиятельству-с, известить ее-с, что отечество-с...

- Что ты! Что ты! - закричала Алевтина. - Да ты убьешь ее бедную! Такое ли время, чтоб пугать ее? Несчастливая! Предоставь это мне! Ее должно поберечь, приготовить. А то и бог знает что злые люди скажут.

Иван Егорович должен был снять траур и предоставить своей почтенной супруге исполнение печального родственного долга. Алевтина приняла все средства, чтоб жестокий удар нанесен был со всею силою и тяжестью. Княгиню, несколько недель не получавшую писем, известила она о приятной новости: один знакомый ей человек получил из

армии письмо от своего сына, и в этом письме сказано, что князь Алексей Федорович, слава богу, жив и здоров, что он представлен к мальтийскому кресту и не пишет, вероятно, по той причине, что его послали в командировку. Это письмо было отправлено вечером, а на другой день утром Алевтина послала записку, в которой просила у княгини позволения приехать к ней за важным делом. Наташа, восхищенная радостною вестью с вечера, провела ночь в тихом сне, расцвеченном усладительными мечтами, и встала поутру счастливая, оживленная любовью и надеждою. Прочитав записку Алевтины, она вообразила, что ее ожидает еще какое-нибудь приятное известие, что, может быть, хотят ее уведомить о скором приезде мужа; поспешно оделась и отправилась к ней сама. Пошли доложить о ее приезде; она вошла в гостиную и, увидев на столе разложенные в порядке газеты, бросилась к ним, схватила первый лист, начала читать, вдруг закричала и лишилась чувств.

Расчет Алевтины был верен: быстрый переход от радости к печали, от надежды к от-

чаянию сильно поразил Наташу, но злодейка не рассчитала, что в жизни женщины есть минуты, в которые природа бережет ее непостижимым образом назло всем ударам судьбы: Наташе наступило время сделаться матерью, и убийственная весть только несколькими часами ускорила ее разрешение. Она была в беспамятстве: ее снесли в спальню Алевтины. Крик дитяти разбудил ее.

- Что это? - спросила она. - Где я? Что со мною?

- Вы дома, у себя, - сказала ей незнакомая женщина, - а вот дитя, вот дочь ваша!

- Моя дочь! Его дочь! - воскликнула она. - Подайте мне ее. - Она взглянула на дитя темным взором, в котором изображались и страх, и любовь, и вера, и отчаяние.

- Здесь и священник, чтоб дать молитву новорожденной, - сказала женщина, как прикажете назвать ее?

- Надеждою! - произнесла Наташа слабеющим голосом.

С нею сделалась жесточайшая горячка. В течение девяти дней она была без памяти, бредила безостановочно, звала отца, мужа,

дителя... На десятый день она очнулась.

- Где дочь моя? - были первые слова ее.

- Успокойтесь, - отвечал ей печальным голосом врач, сидевший у постели, она спит.

- Нет, не спит! Не обманывайте меня! А если спит, подайте спящую.

- Не тревожьтесь, - примолвила Алевтина Михайловна, - да будет воля божия!

- Так ее нет в живых? - вскричала Наташа, поднявшись с постели.

- Точно так, - отвечал врач, - ради бога, успокойтесь.

Наташа, почувствовав весь ужас своего одиночества, предалась жесточайшему отчаянию, но это отчаяние вскоре превратилось в тихое уныние: она не жаловалась, не тосковала, не плакала, не говорила ни слова. Силы ее возвращались. На пятые сутки, когда уже перестали бдительно присматривать за нею, она встала ночью с постели, оделась кое-как, набросила на себя салоп, повесила себе на шею портрет князя, взяла бумажник с деньгами и тихонько прокралась из дому. С необычайною твердостью дошла она до заставы города: увидела часовых, вообразила, что ее

остановят, отведут домой как сумасшедшую, и воротилась, но не домой, а прошла по всей Литейной улице к берегу Невы. Ночь была темная и бурная; река волновалась; ветер был.

- Не свезти ли куда, барыня? - спросил гребец маленького ялика.

- На Шлиссельбургскую дорогу, к Фарфоровым заводам! - сказала Наташа, оглядываясь. - Вот тебе рубль.

- Извольте садиться! - отвечал гребец.

В эту минуту ей почудилось, что за нею гонятся; она поспешно бросилась в ялик и уронила платок на пристани.

Какое было ее намерение? Что побудило ее к бегству и куда хотела она бежать? В первые часы после открытия всех своих утрат она решила было лишиться себя жизни, умереть с голоду, броситься в воду - только бы не жить одинокою в этом свете. С этою мыслию встала она в одну ночь и молитвою начала готовиться к смерти, но молитва не шла ей на ум, не согревала сердца пред совершением тяжкого греха. И слезы ее остановились, и отрадная надежда, что она свидится на том свете с лю-

безными ее сердцу, ее оставила. В ней возникла мысль:

"Они в райской обители, мой великодушный, благородный, добродетельный друг, моя невинная дочь - а я, самоубийца - отлучена буду навеки от их светлого лика!" Она обратила вопрошающий взгляд на иконы, освещаемые слабым светом лампы, и увидела маленький эмалевый образ, подаренный ей теткою ее, монахиней; вспомнила последние слова отца своего, упоминавшего в час смерти о сестре, и решила удалиться к ней, решила бежать тайком, чтоб никто не мог догадаться, куда она скрылась, чтоб ее сочли погибшею. Не теряя ни минуты, она исполнила свое намерение. И тело и душа ее были в необыкновенном, сверхъестественном напряжении: она едва себя помнила, но твердо стремилась к своей цели. Разными неведомыми ей путями, среди тысячи опасностей и лишений, она достигла конца своего странствия. Монастырь, в который удалилась тетка ее, лежал далеко от больших дорог и жилых мест, среди густых лесов и непроходимых дебрей, на границе Курской губернии. Чрез

три недели по выходе ее из дому Алевтины сверкнула перед нею из-за густого бора золотая маковка монастырской церкви. Она удвоила шаги и вскоре очутилась в келье старицы Екатерины, бросилась к ногам ее и воскликнула:

- Тетушка, примите меня под свой покров! Спасите меня от отчаяния и самоубийства!

Екатерина с любовью и состраданием встретила, призрела, утешила страдальицу. Кроткая беседа, истинное соучастие, тихая общая молитва мало-помалу возвратили Наталию к жизни и рассудку. Она сообщила тетке повесть своего счастья и своих утрат и молила ее о позволении обречь себя монашеству. Екатерина выслушала ее с терпением, но на просьбу ее отвечала:

- Еще не время, дочь моя! Богу не угодны обеты отчаяния и бурных страстей, возмущенных светскою жизнью.

Наталия повиновалась, жила у Екатерины, исполняя все обязанности иночества, и ждала только ее позволения, чтоб постричься. Волнение отчаяния утихло в ее сердце; осталось кроткое, усладительное воспоминание о

предшествовавших друзей и благоговейное чувство благодарения богу: он даровал ей в жизни несколько счастливых дней, недель, месяцев, озаривших своим отрадным светом остальные темные часы ее существования. Прошли три года. Она повторила просьбу свою и получила прежний ответ:

- Рано, дочь моя!

Еще протекло несколько лет. Наталия возобновила вопрос: ответ был тот же.

- Когда ж наступит эта пора? - спросила она.

Екатерина поглядела на нее с горестною улыбкою и отвечала:

- Не знаю. Но доколе сердце твое привязано не только к благам, но и к воспоминаниям о благах здешнего мира, тебе нельзя, по советам, произнести вечного обета. Бог требует сердца чистого, горящего одною любовью к нему, а твое сердце трепещет при мысли о твоём друге, пьёт отраду в воспоминании о прошедших днях любви - может ли оно исключительно принадлежать богу? Не осуждаю твоих чувств и помышлений: помни, люби друзей своих, живи их памятью, насла-

ждайся мыслию о свидании с ними на том свете - но притом не постригайся.

- Так неужели вы, тетушка, забыли свет, забыли друзей своих, забыли блага, которыми провидение наградило вас в жизни, забыли с той минуты, как обрекли себя на служение богу? Нет! ваше сердце бьется еще для ближних, для прежних друзей!

- Так, друг мой! - отвечала Екатерина с глубоким вздохом. - Сердце мое еще привязано к свету, и по этой самой причине, по собственному опыту я не советую тебе спешить обречением себя на вечное затворничество. Годы иссушили мое тело, волосы мои побелели, глаза померкли, сердце бьется тихо, тихо; но есть воспоминания, которые приводят его в волнение, возмущают душу мою, переселяют в мир былой и невозвратный и прерывают нить моих иноческих помышлений и занятий. Тебе скажу я, друг мой: я любила; я лишилась того, кто был мне дороже жизни; заключилась в стенах монастырских, но не ушла от своего одиночества, от своих мучений, и в то время, когда окружающие меня славят мою набожность, мое смирение, ста-

вят меня в пример моим сестрам, я в душе своей чувствую, что не достойна их хвалы. И в сию минуту, когда я говорю с тобою, лик милый и незабвенный, давно истлевший под гробовым покровом, живет в сердце, носится в глазах моих. Знай, Наташа: я любила пламенно, страстно, любила человека, который был достоин моего сердца. Мы были обручены. Совершение брака отложено было на три месяца, до окончания траура по одной моей дальней родственнице. Вдруг открылась в Москве чума. Мой жених, пламенный и усердный к общему благу, сострадательный к бедствующему человечеству, бросился помогать зараженным и сделался жертвою своего великодушия. Ужасная болезнь открылась в нем, когда он сидел у меня, отдыхая от тягостных трудов своих, - и в несколько часов прекрасный юноша превратился в безобразный труп. При самом начале его болезни все домашние меня оставили, дом наш оцепили, и, лишь только он испустил дыхание, вломилась в двери страшные люди, мне дотоле незнакомые, исторгли бездушное тело из моих пламенных объятий и бросили на улицу. Я

кинулась за ним с балкона на грудь мертвых. Бесчувственную, свезли меня в чумной лазарет. Я не заразилась. По миновании опасности меня выпустили. Я скрылась в монастыре и чрез год постриглась. Но страшный обет пред алтарем Божиим не исторг из моего сердца любви к жениху моему. Тридцать восемь лет плачу я по нем в келье моей, откуда должны возноситься к богу молитвы чистые и бесстрастные! Наташа! Не бери на душу свою этого греха! Только тогда, когда угаснет в твоём сердце и воображении последняя искра любви земной, посвяти себя служению неба. А это время ещё далеко!

Наталия повиновалась страдальнице. Не давая вечного обета, она облеклась в одежду монашескую, чтоб забыть имя свое, которое так сладостно для её сердца умел произносить друг её, приняла имя Елены (так называлась тетка её в свете) и проводила дни свои в трудах, посте и молитве. Душа её укрепилась, тело не ветшало, сердце билось тихо, но билось ещё для Кемского, она не постригалась.

Протекли семнадцать лет жизни в этой обители. Елена не знала и не хотела знать ни-

чего, что происходит в свете. В двенадцатом году едва явственный отголосок бури, опустошавшей Россию, коснулся слуха отшельниц в пустынной обители - и уже молебствие благодарственное раздавалось в стенах церкви монастырской. Екатерина скончалась. Пред смертью своею повторила она Елене свои увещания и просила ее поехать в Москву, отыскать дом, в котором умер жених ее, и там, в день смерти его, отслужить по нем панихиду.

Елена, закрыв ей глаза, исполнила ее желание: отправилась в Москву, долго искала этого дома в разрушенной и обновленной столице. Наконец нашла его, нашла там дальних родственников, наследовавших этот дом по пострижении ее тетки. В ожидании наступления заветного дня Елена, отвыкшая от городского шума, удалилась в загородный монастырь, где дочь нашла ее.

Приветливость, любезность, милая откровенность Надежды восхитили Елену; она влеклась к ней непостижимым сочувствием, с непонятною любовью прижимала ее к сердцу, с восторгом слушала из уст ее наименова-

ние матери. По отъезде Надежды она спросила у игуменьи, кто была эта милая и прекрасная девица. Игуменья, знавшая Надежду из бесед с ее спутницею, отвечала, что эта девица долгое время не знала своих родителей, что, лишась матери при самом рождении, была брошена жестокосердыми и жадными родственниками, что отец, давно ее оплакавший, случайно нашел ее.

- А кто она такая? - спросила Елена, не догадываясь об истине.

- Княжна Надежда Алексеевна Кемская! - отвечала игуменья.

Наташа бросилась в Москву, остановилась в доме своих родственников, подошла к дверям балкона...

С.-Петербург, октябрь 1817

LXI

Срок отпуска Ветлина кончился; он возвратился в Петербург с молодою женою.

Надежда, по приказанию отца, поспешила к другу его, Алимари, но уже не застала его в живых: он заснул тихо, за пять дней до ее приезда, и был погребен, по своему желанию, на кладбище за самсониевскою оградю.

На письменном его столике Надежда нашла неконченное письмо его к Кемскому:

"Бог еще в здешнем мире вознаградил вас, друг любезный и единственный! Для человека добродетельного сделалось исключение в обыкновенном порядке дел человеческих. Но истинная, нетленная, достойная награда не здесь нас ожидает...

Чувствую приближение моего пробуждения. Когда вы будете читать эти строки, знайте, что я увидел своих. Отец мой, мать моя, Антигона, дети...

Там найду я конечное решение моих здешних недоумений. Но их не много. И здесь уверился я, что духовное, божественное начало преобладает в мире. Растения привязаны к земле неподвижно и темными корнями пьют жизнь из неведомых недр ее. Одушевленные творения питаются произведениями земли, движутся по ней, но подняться, отторгнуться от ней не могут. Души людей живут пищею небесною, невидимыми узами совокуплены с вечным источником жизни; здесь кажутся они в отдельных телах особыми, разными существами, но незримые нити от родных,

близких душ сходятся там, в таинственном вертограде, ветвями и древами. Ищите здесь родных своих, ищите и подле себя, ищите и отдаленных горами, морями, океанами; любите их здесь любовью неземною - там вы с ними увидите вблизи; там, по пробуждении, скажете: "Какой мне снился страшный, тягостный сон! Слава богу - это была мечта! Вы здесь, со мною, милые моего сердца! Теперь мы никогда не расстанемся".